Анна Ахматова

Листки из дневника
Проза. Письма

Успеть записать одну сотую того, что думается, было бы счастьем!

Дневник моего сердца

Diarium Cordis

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Анна Ахматова прожила семьдесят семь лет. С её уходом закончилась эпоха «Серебряного века». Удивительным образом поэтессе удавалось даже во времена официального (и нарочного) забвения оставаться абсолютной европейкой. «Сказочным козерогом» окрестил её один из конфидентов, ибо ахматовский жизненный круг был очерчен пунктиром дружб и встреч с Мандельштамом и Модильяни, Исайей Берлином и Иосифом Бродским, et cetera… Воспоминания Анны Андреевны, дневниковые заметки, избранные статьи, фрагменты переписки, то, что не всегда для публичности, то, что поэт держит при себе, – наполнение и суть этой книги.

- Анна Ахматова
  -
  - Предисловие
  - Анна Ахматова
  - Проза
    - Слово о Пушкине
    - Пушкин и дети
    - «Каменный гость» Пушкина
    - <Дополнения к статье «“Каменный гость” Пушкина» (1958–1959 гг.) >
    - Заключение
    - Все было подвластно ему
    - Слово о Данте
    - Воспоминания об Александре Блоке
    - Лозинский
    - Амедео Модильяни
    - Листки из дневника[63] (о Мандельштаме)
    - Набросок с натуры
    - О цехе поэтов
    - Цех поэтов 1911–1914
  - Письма
    - С. В. Фон Штейну
    - В. Я. Брюсову
    - А. А. Блоку
    - Н. С. Гумилеву
    - Г. И. Чулкову
    - Ф. К. Сологубу
    - А. И. Гумилевой
    - Л. М. Рейснер

- А. Э. Вакар
- В. К. Шилейко
- О. А. Глебовой-Судейкиной
- Н. И. Харджиеву
- М. Л. Лозинскому
- О. Э. Мандельштаму
- Э. Г. Герштейн
- В. Г. Гаршину
- И. Н. Томашевской
- Н. А. Ольшевской-Ардовой
- В. А. Сутугиной
- Б. Л. Пастернаку
- Н. Я. Мандельштам
- Л. Н. Гумилеву
- В. С. Срезневской
- Э. Г. Бабаеву
- В. Я. Виленкину
- Алексису Ранниту
- К. И. Чуковскому
- М. В. Латманизову
- С. Г. Вейнбергу
- Д. Е. Максимову
- Т. И. Коншиной
- Е. М. Ольшанской
- Жоржу Нива
- В. А. Горенко
- А. Г. Найману
- Ф. И. Малову
- Джанкарло Вигорелли
- Г. П. Корниловой
- И. А. Бродскому
- А. Т. Твардовскому
- М. И. Дикман
- С. И. Четверухину

○ Поэма без героя

-
- Поэма без героя
- Вместо предисловия
- Часть первая
- Посвящение
- Вступление
- Послесловие
- Часть вторая
- Часть третья

        - Поэма без героя
        - Вместо предисловия
        - Посвящение
        - Второе посвящение
        - Третье и последнее
        - Вступление
        - Часть первая
        - Глава первая
        - Через площадку
        - Глава вторая
        - Глава третья
        - Глава четвертая и последняя
        - Послесловие
        - Часть вторая
        - Часть третья
        - Примечания редактора
        - <Строфы, не вошедшие в поэму>
    - Проза о поэме
        - Из письма к NN
        - Глава могла бы называться
        - Может быть из дневника
        - Еще о поэме
        - <Из записных книжек>
        - <Из набросков либретто балета по «Поэме без героя»>
    - Примечания
        - Проза
        - Письма
        - Поэма без героя
        - Проза о поэме
    - Вклейка
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12

- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56

- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100

- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117

Анна Ахматова
Листки из дневника. Проза. Письма

© ООО «Издательство АСТ», 2017
© А. Ахматова, наследники, 2017
© М. М. Кралин, предисловие, примечания, 2017

* * *

Предисловие
Времена Ахматовой [1]

И это станет для людей
Как времена Веспасиана,
А было это – только рана
И муки облачко над ней.

Анна Ахматова

Времена, в которые укладывается земное бытие Анны Ахматовой (1889–1966), и те времена, в которые простираются координаты ее поэзии, разительно несоизмеримы. Первые составляют немногим более семи с половиной десятилетий, а последние уходят корнями в толщу необозримого прошлого – от воспетых ею библейских героинь – Рахили, жены Лота, Мелхолы – до времен великого князя Московского Дмитрия Донского, боярыни Морозовой и легендарных китежан, среди которых она чувствовала себя своей и в чьем светлом граде мечтала обрести последний покой. А вершинами, до наших пор буйно растущими, ахматовские времена уходят в будущее, мимо и помимо нас – ее младших современников, иным из которых довелось еще застать ее гостебу на земле и проводить в последнюю дорогу.

Ахматовское время умирает.
Ахматовская совесть – не по нам.
И только стих горит, не догорает,
Даруя слезы новым племенам[2].

Эти «новые племена» сегодня могут, если захотят, узнать об Анне Ахматовой и ее временах намного больше, нежели ее современники, граждане «этой страны», ныне более не существующей, впервые услышавшие само имя Ахматовой из пресловутого доклада «товарища Жданова», про которого еще напишут в будущих учебниках истории: «партийный деятель эпохи Анны Ахматовой». Но в то время (40-е и 50-е годы XX века), когда Ахматова с мукой душевной говорила друзьям как о главном несчастии ее жизни о том, что ее «не знают», миллионы советских школьников не просто знали, а обязаны были знать стихи Ахматовой, процитированные в докладе «товарища Ж», потому что этот доклад входил в экзаменационные билеты для

всех выпускников советских школ. Так и мое знакомство с Ахматовой началось с этих трех строк, брезгливо отстраняющих все то, что было в докладе перед ними и после них:

> Но клянусь тебе ангельским садом,
> Чудотворной иконой клянусь
> И ночей наших пламенных чадом…[3]

Я и сейчас ощущаю тот «солнечный удар» от этих волшебных строк, так непохожих на все звучащее вокруг, полученный мной в 1962 году, когда мне было 14 лет. Как я счастлив, что моя встреча с ахматовской поэзией началась именно с этих строк! А вскоре наша классная руководительница, учитель математики Надежда Михайловна Сочнева, узнав о моей безнадежной страсти, подарила мне маленький томик в зеленой обложке, (потом я узнал, что сама Ахматова называла его «лягушкой»), изданный в 1961 году. Это было пятьдесят пять лет назад. А в двадцать с небольшим, работая в архиве Ахматовой, я находил немало писем от советских школьников, разглядевших жемчуга ее поэзии в том же мутном источнике, что и я.

Времена Анны Ахматовой явственно распределяются на три эпохи. В символике ее поэтической биографии были числа, имеющие сакральное, судьбоносное значение: тройка, пятерка, семерка. Обратим особое внимание на число «три». Оно действенно присутствует как в стихах, так и в судьбе («Три раза пытать приходила…», «Три осени»; «Поэма без героя», спутница ее жизни, состоит из трех частей, незаконченная трагедия «Энума элиш» – из трех действий). А одна из самых глубоких по смыслу элегий начинается строкой «Есть три эпохи у воспоминаний». И действительно, если обратить внимание на хронологию судьбы поэта, получается трехчастная композиция, состоящая из блистательного пролога (1912–1922), глубоко трагической центральной части (собственно Судьбы) – (1923–1955) и не менее блистательного эпилога, «победы над судьбой», по слову самой Ахматовой. Эпилог охватывает последнее десятилетие ее жизни (1956–1966).

Центральная часть, в свою очередь, делится на три акта. Первый и третий так же зеркальны и симметричны по отношению друг к другу, как пролог и эпилог. Наконец, взятые вместе, вехи судьбы поэта составляют пять действий («Cuinqe»), пять времен года и вызывают в памяти ее стихотворение, в котором дается как бы ключ к разгадке всей судьбы:

> То пятое время года,

Только его славословь.
Дыши последней свободой,
Оттого что это – любовь.

Любовь как «творческий метод проникновения в человека» (по определению Н. В. Недоброво) всегда была для Ахматовой мерою всех вещей и, следовательно, «последней свободой».

Рассмотрим времена Ахматовой в их зеркальных соотношениях. В 60-е годы, работая над книгой автобиографической прозы «Мои полвека», Ахматова так оценила время своих «начал» в очерке «1910-е годы»: «Кто-то недавно сказал при мне: «10-е годы – самое бесцветное время». Так, вероятно, надо теперь говорить, но я все же ответила: «Кроме всего прочего, это время Стравинского и Блока, Анны Павловой и Скрябина, Ростовцева и Шаляпина, Мейерхольда и Дягилева». Она не назвала в этом перечне имен своего, но с полным основанием можно добавить: «и время Анны Ахматовой». За эти первые десять лет ею было выпущено пять поэтических книг, читательский успех которых позволил даже марксистскому критику Н. Осинскому на страницах «Правды» назвать в 1922 году Анну Ахматову «лучшим русским поэтом после смерти Александра Блока»[4]. В течение всего этого десятилетия Ахматова окружена несметной толпой почитателей и поклонников: ей посвящают стихи Блок и Мандельштам, Сологуб и Кузмин, ее портреты пишут Модильяни и Альтман, Петров-Водкин и Анненков. Музыку к ее стихам сочиняют Сергей Прокофьев и Артур Лурье. Она совершает две поездки за границу, и впечатление от итальянской живописи остается в ее творческой памяти на всю жизнь. Она становится козырной дамой акмеизма – специфически русской поэтической школы, вернувшейся на стезю пушкинской ясности, точности и сообразности смысла и слога в стихах.

Последнее десятилетие ахматовской поэтической биографии так же зеркально по отношению к первому, как осень зеркальна по отношению к весне. Ее «плодоносная осень» пришлась на то время, которое принято называть «хрущевской оттепелью». Это время Эренбурга и Солженицына, Шостаковича и Юдиной, Пастернака и Ахматовой. Она снова становится культовой фигурой, знаковым символом эпохи. За эти десять лет, обремененных тяжелыми болезнями, размолвками и разлукой с единственным сыном (что было, несомненно, ее главной бедой и горем), Анна Андреевна приобретает не громкие звания и награды, а прочную и все растущую любовь читателей. Об этом

говорят тысячи благодарных читательских писем в архиве поэта. Она возвращается из «догутенберговской» эпохи: одна за другой выходят книги ее стихов и переводов; за рубежом печатаются на разных языках «Поэма без героя» и «Реквием», гуляющие по России во множестве списков. Анна Ахматова снова, как и в годы молодости, окружена толпами почитателей и поклонниц, и «волшебный круг» их все ширится, включая и многочисленных иностранных посетителей. (Фрост, Стейнбек, Белль, Мигель Отеро де Сильва). Имя Ахматовой появляется в списке кандидатов на Нобелевскую премию, однако вместо «Нобелевки» она получает менее престижную, но почетную премию «Этна-Таормина». Как бы повторяя путешествия молодости, она вновь проезжает на поезде сквозь всю Италию, останавливается на несколько дней в Париже и, наконец, получает в Оксфорде мантию почетного доктора литературы. Эти поездки были для нее окрашены радостью международной славы и горечью встреч с героями ее судьбы и – поэзии. (Борис Анреп, граф В. П. Зубов, Саломея Андроникова, сэр Исайя Берлин). Об этих днях и об этих встречах лучше не сказать, чем написала она сама в стихах, обращенных к Борису Пастернаку:

> Могучая евангельская старость
> И тот горчайший гефсиманский вздох.

Ахматова, как и всякий православный человек, думала о смерти все время, но, похоже, эта мысль только подстегивала ее творческую энергию. Ее рабочие тетради, ставшие достоянием читателей сравнительно недавно[5] показывают, как росли ее замыслы, как мужала и набирала силу ее проза, составившая бы единственную в своем роде книгу, проживи Ахматова еще несколько лет. Но все было отмерено свыше: 5 марта 1966 года сбылось ее старинное предсказание, сделанное на пороге весны 1911-го:

> Он мне сказал: «Не жаль, что ваше тело
> Растает в марте, хрупкая Снегурка!»

В 1922 году Анна Ахматова окончательно утвердилась в своем решении навсегда остаться в Советской России. Знала ли она о том, что ожидает ее? Если судить по стихотворению «Кое-как удалось разлучиться», посвященному уезжавшему за границу Артуру Лурье, то догадывалась:

Как подарок, приму я разлуку
И забвение, как благодать.
Но скажи мне, на крестную муку
Ты другую посмеешь послать?

Артур Лурье, бывший комиссар Музыкального отдела Наркомпроса, воспользовался служебной командировкой в Берлин, чтобы «оставить Россию навсегда». Анна Ахматова была в курсе замыслов своего друга и имела хорошую возможность уехать, но не воспользовалась ею. И даже 14 писем Артура со слезными мольбами о приезде к нему, не подействовали. Что ж, она упустила свой шанс? Да, она сознательно пошла на «крестную муку» и свершила свою Судьбу сама. Как я писал выше, драма ее Судьбы состоит из трех актов, причем первый и третий зеркально отражают друг друга, хотя «странные сближения», возникающие при этом, кажутся иногда почти фантасмагорическими. Первый акт вмещает 1923–1939 годы, третий – 1946–1955 годы. Главное, что позволяет сравнивать между собой эти жизненные этапы, – пресловутое ахматовское «молчание». Было ли оно добровольным, «протестным» или принудительным? Интрига в первом и в третьем актах развивалась на удивление сходным образом. Во время поездки в Москву в апреле 1924 года Ахматова прочитала на вечере журнала «Русский современник» свою «Новогоднюю балладу», где «хозяином» назван вовсе не Генеральный секретарь, а расстрелянный поэт Николай Гумилев.

Выступление Ахматовой вызвало недовольство «наверху» и послужило одной из основных причин закрытой Резолюции ЦК 1925 года, решением которой Ахматова, по ее словам, «была изъята из обращения до 1939 г.». Сходная ситуация повторилась в апреле 1945 года, когда Ахматова, опять же в Москве, выступая с группой ленинградских писателей, вызвала столь бурные овации у слушателей, что якобы удивило Сталина, задавшего вопрос: «Кто организовал вставание?» Эти московские публичные выступления поэта стали одной из причин того, что ее имя оказалось в числе двух главных «фигурантов», осужденных в Постановлении ЦК от 14 августа 1946 года, после обнародования которого две готовые книги стихов были уничтожены, а третья, «Нечет», намертво застряла в издательских недрах. Повлияли ли эти партийные решения на творческую продуктивность Ахматовой? Еще бы! Она хотела печататься и в первом и в третьем актах, но где же было ей справиться со всей мощью государственной бюрократической машины, поставившей на ее пути непреодолимые препоны? И все-таки не стоит проводить

чересчур прямые параллели между творчеством поэта и руководящей партийной линией. У Ахматовой в первом акте были и другие, чисто творческие, причины для временной передышки в писании стихов. А в третьем акте ее молчание, несомненно, носило и протестный, демонстративный характер. Но, при разности причин, следствие было одно – молчание.

Мне молчание стало домом
И столицею немота.

Кроме того, Ахматова, видимо, не сразу поняла, что после статьи К. Чуковского о «двух Россиях» – Ахматовой и Маяковского, она отныне для властей, светских и литературных, стала символом уходящей, «оцерковленной» Руси, с которой можно и должно расправиться без всякой жалости и снисхождения. Эту истину после Корнея Чуковского наперебой старались внушить и самому поэту, и его читателям лефовские, рапповские и прочие критики, упражнявшиеся в выработке классового чутья на обличении ахматовской Музы. Однако пока, по выражению Ахматовой, «ругань шла, как вода по водопроводу», было еще не страшно. Страшно стало тогда, когда «вода» превратилась в кровь.

Водою пахнет резеда
И яблоком – любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь.

Это столь высоко ценимое друзьями поэта стихотворение было написано еще в преддверии «большого террора». Что такое чужая «кровь», Ахматова знала не понаслышке, ее вид преследовал поэта еще в 1921 году:

Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашеный прилечь
И под клики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь.

Или в другом стихотворении 20-х годов, дошедшем до нас не в полном виде:

О Боже, за себя я все могу простить,

Но лучше б ястребом ягненка мне когтить
Или змеей уснувших жалить в поле,
Чем человеком быть и видеть поневоле,
Что люди делают, и сквозь тлетворный срам
Не сметь поднять глаза к высоким небесам.

Может быть, чувство уже раз пережитого ужаса помогло Ахматовой с небывалой для нежной женщины твердостью встретить новые суровые испытания. Если в расстреле Гумилева она могла еще подозревать только козни коварного петроградского диктатора Зиновьева, то в «Эпиграмме», написанной несколько лет спустя, выносится приговор всему правящему режиму:

Здесь девушки прекраснейшие спорят
За честь достаться в жены палачам.
Здесь праведных пытают по ночам
И голодом неукротимых морят.

Если верить данным, опубликованным отставным генералом КГБ О. Калугиным, изучавшим в бытность свою заместителем начальника Ленинградского управления КГБ «наблюдательное дело» Ахматовой, первые документы, отложившиеся в нем, относятся к 1927 году. Ахматову заподозрили в связях с правотроцкистскими элементами. У следственных органов не имелось, по-видимому, достаточно данных, чтобы тогда привлечь подозреваемую к ответственности. Но биографа ее П. Н. Лукницкого заставляют играть двойную роль: он ведет документальную летопись «трудов и дней» поэта и одновременно вынужден составлять отчеты о ее поведении для соответствующих органов. Только покинув Ахматову, Лукницкий с большим трудом избавился от этой «нагрузки». Первый звонок прозвенел после убийства С. М. Кирова. В октябре 1935 года одновременно были арестованы Н. Н. Пунин и Лев Гумилев. Ленинградские чекисты требуют у Ягоды ордера на арест Анны Ахматовой. Теперь мы знаем, что подоплекой этих репрессий были показания О. Мандельштама, сделанные им после ареста. Маховик террора раскручивался с возрастающей силой. Вскоре были взяты и уничтожены Николай Клюев, Владимир Нарбут, Сергей Клычков, Борис Пильняк, Бенедикт Лившиц. Все они были в той или иной степени дорогими и близкими Ахматовой людьми, соратниками ее по «свободному русскому слову», за которое они и приняли крестные муки. В этих условиях ожидающая ареста со дня на день

Анна Ахматова совершает безумный – с точки зрения «здравой» логики – поступок: едет навестить «опального поэта» Мандельштама в Воронеж. Конечно, эта поездка не могла не стать известной ее незримым опекунам. И может быть, в качестве мести за этот шаг вторично, и на этот раз надолго, 10 марта 1938 года забирают ее сына. Начинается бесконечное стояние матери в тюремных очередях – зачинается «Реквием». Первый акт Судьбы развертывался в постепенном нарастании гражданского негодования поэта – и закончился настоящим извержением поэтического вулкана в 1940 году, когда из кратера души поэта вырвались такие обжигающие стихи, как «Клеопатра», «Уложила сыночка кудрявого…», «Один идет прямым путем…», «Стансы».

Отвага Ахматовой подчинила Судьбу: в 1940 году, после пятнадцатилетнего запрета, как будто из небытия возникает чудо – сборник «Из шести книг». Но чудес, как известно, не бывает: и эта книга была обязана своим появлением на свет внезапному расположению товарища Сталина. В письме-отзыве о «Поэме без героя», рожденной в том же 1940 году, Павел Лукницкий по праву свидетеля и соглядатая сумел объяснить особенность, даже уникальность гражданского поведения Ахматовой на протяжении первого акта ее Судьбы: «Даже к Сфинксу наших времен, погрузившему когтистые лапы в опаленные его пристальным и загадочным взором пески бездыханных пустынь, – даже к этому Сфинксу, таинственно-жестокому, но запечатленному историей на тысячелетия, Вы сумели отнестись без предвзятости, сумели бесстрашно взглянуть ему прямо в глаза, с непоколебимой гордостью. И Сфинкс потупил глаза. Это легко делать многим теперь, когда каменные его глаза закрыты навсегда, и все знают, что веки его никогда не поднимутся. А тогда…»[6]

И как страшно все повторяется в зеркале третьего акта Судьбы Ахматовой. Раны, нанесенные солдафонски бесцеремонным докладом Жданова, не сразу, но постепенно начали затягиваться. Друзья, истинную цену которых она узнала в этом испытании, не давали пропасть. Ольга Берггольц и ее муж Георгий Макогоненко, Рыбаковы, Гитовичи, Томашевские – все они, как могли, помогали Анне Андреевне и деньгами, и продуктами, и душевной поддержкой. И не самым страшным было то, что в квартире отключали газ и свет, что ее лишали на какое-то время продовольственных карточек. Этим ее было не сломить – она знавала и худшие годы и «голоды». Самым страшным был очередной арест сына 6 ноября 1949 года – на этот раз – за нее. Молчание вместо публичного покаяния, которого от нее ждали, обернулось сталинской местью, ударившей по самому

больному. «Отними и ребенка, и друга», – писала она когда-то. Тот, кто взял на себя функции Отца Небесного, отнял, вернул, а теперь снова отнял. И этого, второго тура, она не смогла перенести. Готовая поступиться своей литературной и человеческой репутацией, Ахматова пишет и печатает стихи, в которых делает отчаянную попытку пополнить когорту стихотворцев, воспевающих покорение гор и пустынь, борьбу за мир, а главное, разумеется, «доблесть того, / Кто нам и родней, и дороже всего, / Кто – наше победное знамя!», бьется за издание целого сборника под названием «Слава миру!». Насилие над собой не дало того результата, которого она добивалась: сын не был освобожден из лагеря – это произошло только в 1956 году. Но три года, которые тянулась волокита с изданием этого просоветского сборника, не прошли даром – сердце поэта не выдержало изощренной пытки – Ахматова слегла с тяжелым инфарктом в 1951 году. (А годом раньше, в 1950-м, глава НКВД Абакумов опять требовал ордер на арест Ахматовой, но ордер не был подписан и на этот раз. Может быть, все-таки стихами, славящими Вождя, Ахматова заплатила за свою свободу?)

Итак, в третьем акте мы видим новую тактику, тактику компромисса, которую пыталась применить Ахматова в борьбе за выживание, свое и своих близких. Компромисс себя не оправдал, но все-таки она избежала тюрьмы и лагеря, где вряд ли бы долго протянула с ее слабым здоровьем. Об этом, третьем акте трагедии ее Судьбы Ахматова вспоминала крайне редко и скупо. Но мы не можем пропустить эти годы удушья, перечеркнуть эти подъяремные стихи, потому что это тоже – времена Ахматовой. Черные времена.

Удивляйтесь, что была печальней
Между молотом и наковальней,
Чем когда-то в юности была…

(После 1948)

Как это может показаться ни парадоксальным, но самым «плодоносным», а значит, и счастливым в Судьбе поэта был второй акт, который пришелся целиком на годы войны (1939–1945). Этому содействовали и внешние обстоятельства: в 1939 году Сталин на очередном приеме советских писателей задал Фадееву сильно обескуражившй того вопрос: как поживает Анна Ахматова?

Окрыленные вниманием вождя, верноподданные писатели «вспомнили» об Ахматовой, зашевелились, в срочном порядке

пошла подготовка сразу двух сборников поэта. Правда, один из них, который готовился в Гослитиздате, был доведен только до стадии корректуры и запрещен к выходу. Судьба другого, выпущенного ленинградским отделением издательства «Советский писатель», оказалась счастливее. «Весьма просеянный», по словам Ахматовой, сборник «Из шести книг» не только сделался литературной сенсацией года, но и был выставлен Шолоховым на Сталинскую премию. Однако уже через две недели «Из шести книг» была запрещена и, по словам Ахматовой, «выброшена из книжных лавок и библиотек». Причину сталинского гнева Ахматова объясняла тем, что он, прочитав стихотворение «Клевета», принял его на свой счет, «не обратив внимание на дату». Думается, Анна Андреевна в данном случае немного лукавила. В сборнике «Из шести книг» даты под стихами не проставлены вообще, но зато композиция сборника построена задом наперед: время в нем течет как бы в обратном направлении. Тот же прием применен в написанной в том же 1940 году маленькой поэме «Путем всея земли». С почти кинематографической быстротой пролетают в этой «самой авангардной» поэме Ахматовой века и события: ночь штурма Выборга, разорванная на лоскутья старая Европа, Цусима, англо-бурская война и, наконец, древний, легендарный Китеж-град, где Китежанка – героиня поэмы – обретает последний покой.

Еще более раскованной, творчески свободной ощущает себя Ахматова, попав после долгих эвакуационных странствий по дорогам России в далекий Ташкент. Именно там, в этом «Константинополе для бедных», как она его окрестила, Ахматова испытала небывалый поэтический взлет. Несмотря на перенесенные в Ташкенте тяжелые болезни, несмотря на разлуку с любимыми, оставленными в осажденном Ленинграде, здесь она ощутила прилив новой творческой энергии. «Не было бы счастья, да несчастье помогло» – в эвакуации прежнюю «затворницу» окружают как старые друзья (Н. Я. Мандельштам, Е. С. Булгакова, Ф. Г. Раневская, Л. К. Чуковская, А. Н. Тихонов), так и новые (А. Ф. Козловский и его жена Г. Л. Герус, совсем еще юные Валентин Берестов, Эдуард Бабаев, Ася Сухомлинова. И не случайно именно здесь возникли стихи, бесконечно расширяющие поэтическое время Ахматовой:

Я не была здесь лет семьсот,
Но ничего не изменилось…
Все так же льется Божья милость
С непререкаемых высот,

Все те же хоры звезд и вод,
Все так же своды неба черны,
И так же ветер носит зерна,
И ту же песню мать поет.

Он прочен, мой азийский дом,
И беспокоиться не надо…
Еще приду. Цвети, ограда,
Будь полон, чистый водоем.

В Ташкенте были написаны, по существу, все главные произведения Ахматовой: первая редакция «Поэмы без героя», которую ее тогдашние слушатели (да и не только они) и по сей день считают более первозданной, чем окончательная, трагедия «Энума Элиш», поэтические циклы «Ветер войны», «Луна в зените», «Новоселье», лучшие из «Северных элегий»… 8 марта 1942 года в газете «Правда» было напечатано «Мужество», пожалуй, самое знаменитое стихотворение Ахматовой. Это не только вершина гражданской лирики поэта, это еще и ответ на стихотворение Осипа Мандельштама, обращавшегося с просьбой к его сестре «по Музе, по судьбам»:

Сохрани мою речь за привкус несчастья
и дыма…
За смолу кругового терпенья, за совестный
деготь труда…

«Мужество» – стихотворение на все времена. Оно и сегодня, на исходе двадцатого века, звучит ничуть не менее современно, чем в 1942 году:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

У читателей может возникнуть вопрос: почему в периоды относительного житейского спокойствия, например, во второй половине 20-х годов в Ленинграде, Ахматова писала сравнительно мало стихов, а вот в ташкентской нищете, внимая отзвукам войны, она писала столь щедро и безоглядно? Ответ на этот вопрос мы можем найти у того же О. Мандельштама, в его словах, которые сохранила для потомков Э. Г. Герштейн. Вот как определил Мандельштам уникальность поэтического склада Ахматовой: «Она – плотоядная чайка: где исторические события, там слышится голос Ахматовой, и события – только гребень, верх волны: война, революция. Ровная и глубокая полоса жизни у нее стихов не дает, это сказывается, как боязнь самоповторения, как лишнее истощение в течение паузы»[7].

* * *

Время Ахматовой не закончилось с ее последним земным вздохом. Вот уже 50 лет ее поэзия существует сама по себе, без творца, и это победное шествие не закончено. Исполнилось пророчество Мандельштама: поэзия Анны Ахматовой стала «одним из символов величия России».

В своем героическом поединке с тоталитарным режимом Анна Ахматова знала не только победы – она испила до дна и «горчайшую чашу» позора, знала минуты слабостей человеческих. Скрывать это от читателей – значит приукрашивать биографию, не говорить всей правды. А правда, между тем, нисколько не умаляет поэтического подвига, совершенного Анной Ахматовой. Она лишь по-человечески приближает к нам поэта, но не может умалить главное –

Холодное, чистое, легкое пламя
Победы моей над судьбой.

* * *

Мне вспоминается ночь с 23 на 24 июня 1989 года. Поздно вечером я с моими друзьями приехал на электричке в Комарово и пешком пришел к могиле Ахматовой. Она вся была заткана ковром пламенеющих тюльпанов, тускло освещаемых десятками свечей. Я поставил в изножии креста свечу в лампадке, привезенной из слепневского дома. Черный томик стихов лежал,

раскрытый тут же, на могиле. На первой странице черными чернилами было написано:

За меня не будете в ответе,
Можете пока спокойно спать.
Сила – право, только ваши дети
За меня вас будут проклинать.

Мы разожгли костерок невдали от кладбища, соблюдая обычай древней Ивановой ночи. Через огонь мы не прыгали, но он исправно обогревал нас всю эту летучую белую ночь. На рассвете мы пошли к Щучьему озеру, чтобы искупаться на зорьке. Веяло прохладцей, туман плыл низко над озерными водами. По береговой тропе к нам вышел старик в поношенных кедах, с рюкзаком за плечами, с охотничьим ножом за поясом. «Откуда вы, дедушка?» – спросили мы его. «Издалека, – ответил он, – из Сибири. Да нас тут много – поглядите, вон костерки жгут, греются». Мы поглядели – по берегам озера тут и там дымили невысокие костры. «А зачем вы приехали сюда?» – спросил я. «Как это зачем, – удивился старик, – надо нашу Аннушку помянуть. Ведь она всю жизнь за правду стояла, как же не приехать, не помянуть…» Я понял, что это съехались, сошлись со всех концов Руси для поминания Анны Ахматовой в ее столетнюю годовщину, ревнители старой веры. И вспомнились ее стихи, написанные в 1937 году:

Я знаю, с места не сдвинуться
Под тяжестью Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.
С душистою веткой березовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать,
А после на дровнях в сумерки
В навозном снегу тонуть…
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

Тогда я понял, что времена Анны Ахматовой имеют и еще одно измерение – они тайно живут в неистребимой душе народа, с которым она породнилась навеки великим русским словом.

Сборник, который предлагается вниманию читателей, объединяет произведения разных жанров: «Поэму без героя» (в двух редакциях), Прозу о Поэме, мемуарные очерки, исследовательские работы о Пушкине, письма. Возникает вопрос: а что объединяет, роднит все эти столь разножанровые произведения?

Что позволяет безоговорочно решить: да, все это создано рукой и сердцем одного человека, владеющего единым творческим методом. В основе всего, о чем бы ни писала Анна Ахматова, лежит

Души высокая свобода,
Что дружбою наречена.

В основе творческого метода поэта два главных источника, из которых она черпает свое вдохновение: любовь и дружба. Любовь для нее – «творческий метод проникновения в человека», «последняя свобода»:

Дыши последней свободой,
Оттого, что это любовь

Однако интересно, что эти традиционные для любого поэта понятия – любовь и дружба – объединяются у Анны Ахматовой третьим и, быть может, важнейшим: свобода.

И в этом смысле Анна Ахматова, конечно, наиболее достойная наследница и продолжательница гуманистических традиций Пушкина. Все ее творчество можно объединить под эпиграфом пушкинского «Послания в Сибирь»:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы

Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

«Любовь и дружество» – вот две важнейших составляющих творческого метода поэта.

Недаром в «Посвящении» к «Реквиему» Ахматова не только в кавычках упоминает «каторжные норы», но, как Пушкин к своим сосланным на каторгу товарищам, она обращается к своим сосланным на каторгу подругам. «Посвящение» к «Реквиему» – это ее, Анны Ахматовой, «Послание в Сибирь»:

Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Имя шлю прощальный мой привет.

Важнейшее свойство Ахматовой – это конкретная адресатность всех ее текстов.

Читайте все – мне все равно,
Я говорю с одним,
Кто был ни в чем не виноват,
А впрочем, мне ни сват, ни брат.

Каждое ее произведение, будь то стихотворение или поэма, мемуарный набросок или дневниковая запись, заметка из записной книжки или письмо, – обращено к кому-то, к одному человеку или сразу к нескольким, но непременно обращено и обязательно – к человеку. Быть может, именно в этом и кроется разгадка того, почему так интересно спорить на тему того, кому посвящено то или иное стихотворение Ахматовой. Но вопрос этот касается далеко не только и не столько личных привязанностей или симпатий Анны Ахматовой, он намного шире. Произведения ее – часто воображаемые беседы, («Дружбы светлые беседы», как сказала она сама в одном из стихотворений).

«Поэму без героя» Анна Ахматова посвятила «памяти ее первых слушателей, погибших в Ленинграде во время осады», а в

Ташкенте ей казалось, что она пишет ее вместе с читателями. «Реквием» написан в ответ на просьбу «женщины с голубыми губами», стоявшей в одной тюремной очереди с Анной Андреевной. Имя ее не названо (да, быть, может, Ахматова и не спросила имени). Важно ведь не столько имя, сколько первотолчок «от сердца к сердцу».

А я говорю, вероятно, за многих:
Юродивых, скорбных, немых и убогих,
И силу свою мне они отдают,
И помощи скорой и действенной ждут.

Анну Ахматову до последних дней не баловала вниманием критика, книги ее выходили редко и малыми тиражами, отсюда ее постоянные сетования о том, что ее «не знают». Но ее связи с читателями были прочными и постоянными. В архиве поэта хранятся многие сотни писем ее читателей; на многих из них пометка «отвечено». Когда-нибудь лучшие чтательские письма будут опубликованы, как и ответные письма самой Ахматовой, и тогда станет ясно, насколько живой и действенной была ее дружба с читателями. Однажды Анна Андреевна получила письмо от Петра Лобасова, заключенного. Оно ее поразило поразительно точным определением ее поэзии (на основании только одного стихотворения «Мартовская элегия»).

П. И. Лобасов писал: «Каким-то холодком несет от раненого чувства простоты». Анна Андреевна горячо откликнулась на это письмо, послала автору телеграмму, а вслед за ней свой сборник стихотворений 1958 года, где сделала рукописные пометы и проставила некоторые даты. Но мало того: в стихотворении «Ты стихи мои требуешь прямо…» слова П. И. Лобасова нашли уже стихотворный отклик:

Мы сжигаем несбыточной жизни
Золотые и пышные дни,
И о встрече в небесной отчизне
Нам ночные не шепчут огни.

Но от наших великолепий
Холодочка струится волна…

Существует мнение, что Анна Ахматова не любила писать писем. Это отчасти верно, но если бы сохранились все письма, написанные ею за ее долгую жизнь, то их набралось бы не так уж

мало. К сожалению, многие ее письма погибли, будучи уничтоженными самой Анной Ахматовой (ранняя переписка с Н. С. Гумилевым была сожжена по их взаимному согласию), письма к В. Г. Гаршину были возвращены Ахматовой по ее требованию и, вероятно, уничтожены ею. Письма к Н. В. Недоброво могли быть уничтожены ревнивой супругой Николая Владимировича после его ранней смерти; письма же Н. В. Недоброво были сожжены Ахматовой после обыска у нее в квартире 7 ноября 1949 года.

Об этих невосполнимых потерях нельзя не пожалеть, но и то, что сохранилось, свидетельствует о необыкновенном внимании Анны Ахматовой к своим друзьям даже после расставания с ними (таковы случайно сохранившиеся письма к В. К. Шилейко, в которых проявляется ее трогательная забота о сенбернаре Тапе). Необходимо отметить и то, что Анна Ахматова зачастую не отвечала своим читателям из осторожности, из боязни повредить им, – ведь ее имя на протяжении многих лет после партийной хулы А. А. Жданова было чем-то вроде красной тряпки, а чтение ее стихов могло повлечь за собой крупные неприятности.

Во всех жанрах, образцы которых вошли в эту книгу, Анна Ахматова предстает писателем, заведомо предполагающим равновеликого собеседника.

За это и любят ее благодарные читатели.

Михаил Кралин

Анна Ахматова
Коротко о себе

Я родилась 11 (23) июня 1889 года под Одессой (Большой Фонтан). Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я была перевезена на север – в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет.

Мои первые воспоминания – царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «Царскосельскую оду».

Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний Херсонес, около которого мы жили.

Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже научилась говорить по-французски.

Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина («На рождение порфирородного отрока») и Некрасова («Мороз, Красный нос»). Эти вещи знала наизусть моя мама.

Училась я в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно.

В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году.

Я поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна, когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела.

В 1910 (25 апреля ст. ст.) я вышла замуж за Н. С. Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж.

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдиссона, показал мне в «Taverne de Pantéon» два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы, тут – большевики,

а там – меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-cullottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravées). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

Переехав в Петербург, я училась на Высших историко-литературных курсах Раева. В это время я уже писала стихи, вошедшие потом в мою первую книгу.

Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете.

В 1910 году явно обозначился кризис символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие – в акмеизм. Вместе с моими товарищами по Первому Цеху поэтов – Мандельштамом, Зенкевичем, Нарбутом – я сделалась акмеисткой.

Весну 1911 года я провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета. В 1912 году проехала по Северной Италии (Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция). Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь.

В 1912 году вышел мой первый сборник стихов «Вечер». Напечатано было всего триста экземпляров. Критика отнеслась к нему благосклонно.

1 октября 1912 года родился мой единственный сын Лев.

В марте 1914 года вышла вторая книга – «Четки». Жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе.

Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, в пятнадцати верстах от Бежецка. Это не живописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, «воротца», хлеба, хлеба… Там я написала очень многие стихи «Четок» и «Белой стаи». «Белая стая» вышла в сентябре 1917 года.

К этой книге читатели и критика несправедливы. Почему-то

считается, что она имела меньше успеха, чем «Четки». Этот сборник появился при еще более грозных обстоятельствах. Транспорт замирал – книгу нельзя было послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде. Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому в отличие от «Четок» у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются.

После Октябрьской революции я работала в библиотеке Агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов «Подорожник», в 1922 году – книга «Anno Domini».

Примерно с середины 20-х годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских штудий были три работы – о «Золотом петушке», об «Адольфе» Бенжамена Констана и о «Каменном госте». Все они в свое время были напечатаны.

Работы «Александрина», «Пушкин и Невское взморье», «Пушкин в 1828 году», которыми я занимаюсь почти двадцать последних лет, по-видимому, войдут в книгу «Гибель Пушкина».

С середины 20-х годов мои новые стихи почти перестали печатать, а старые – перепечатывать.

Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде. В конце сентября, уже во время блокады, я вылетела на самолете в Москву.

До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий жар древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела.

В мае 1944 года я прилетела в весеннюю Москву, уже полную радостных надежд и ожидания близкой победы. В июне вернулась в Ленинград.

Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Тогда же возникли очерки «Три сирени» и «В гостях у смерти» – последнее о чтении стихов на фронте в Териоках. Проза всегда казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи – я никогда ничего не знала о прозе. Первый мой опыт все очень хвалили, но я, конечно, не верила. Позвала Зощенку. Он велел кое-что убрать и сказал, что с остальным согласен. Я была рада. Потом, после ареста сына, сожгла вместе со всем архивом.

Меня давно интересовали вопросы художественного перевода. В послевоенные годы я много переводила. Перевожу и

сейчас.

В 1962 году я закончила «Поэму без героя», которую писала двадцать два года.

Прошлой весной, накануне дантовского года, я снова услышала звуки итальянской речи – побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и познакомилась с новыми, еще раз посетила Париж.

Я не переставала писать стихи. Для меня в них – связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных.

Анна Ахматова

1965[8]

Проза

Слово о Пушкине

Мой предшественник П. Е. Щеголев кончает свой труд о дуэли и смерти Пушкина рядом соображений, почему высший свет, его представители ненавидели поэта и извергли его, как инородное тело, из своей среды. Теперь настало время вывернуть эту проблему наизнанку и громко сказать не о том, что они сделали с ним, а о том, что он сделал с ними.

После этого океана грязи, измен, лжи, равнодушия друзей и просто глупости полетик и неполетик, родственничков Строгановых, идиотов-кавалергардов, сделавших из дантесовской истории une affaire de régiment (вопрос чести полка), ханжеских салонов Нессельроде и пр., высочайшего двора, заглядывавшего во все замочные скважины, величавых тайных советников – членов Государственного совета, не постеснявшихся установить тайный полицейский надзор над гениальным поэтом, – после всего этого как торжественно и прекрасно увидеть, как этот чопорный, бессердечный («свинский», как говаривал сам Александр Сергеевич) и уж, конечно, безграмотный Петербург стал свидетелем того, что, услышав роковую весть, тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались.

«Il faut que j'arrange ma maison <Мне надо привести в порядок мой дом>», – сказал умирающий Пушкин.

Через два дня его дом стал святыней для его Родины, и более полной, более лучезарной победы свет не видел.

Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и не-аншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с перевранными датами рождения и смерти) пушкинских изданий.

Он победил и время и пространство.

Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое. В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда навсегда. Про их великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин – или: здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не интересно. Государь император Николай Павлович в белых лосинах очень величественно красуется на стене Пушкинского музея; рукописи, дневники и

письма начинают цениться, если там появляется магическое слово «Пушкин», и, что самое для них страшное, – они могли бы услышать от поэта:

За меня не будете в ответе,
Можете пока спокойно спать.
Сила – право, только ваши дети
За меня вас будут проклинать.

И напрасно люди думают, что десятки рукотворных памятников могут заменить тот один нерукотворный, aere perennius.

26 мая 1961

Комарово

Пушкин и дети

Хотя Пушкин сам меньше всего представлял себя «детским писателем»[9], как теперь принято выражаться, хотя его сказки вовсе не созданы для детей, и знаменитое «Вступление» к «Руслану» тоже не обращено к детскому воображению, этим произведениям волею судеб было суждено сыграть роль моста между величайшим гением России и детьми.

Нет и не было ни одной говорящей по-русски семьи, где дети могли бы вспомнить, когда они в первый раз слышали это имя и видели этот портрет.

Но все мы бесчисленное количество раз слышали от трехлетних исполнителей «Кота ученого» и «Ткачиху с поварихой» и видели, как розовый пальчик тянулся к портрету в детской книге: и это называлось – «дядя Пускин»[10].

Стихи Пушкина дарили детям русский язык в самом совершенном его великолепии, язык, который они, может быть, никогда больше не услышат и на котором никогда не будут говорить, но который все равно будет при них как вечная драгоценность.

В 1937 г., в юбилейные дни, соответственная комиссия постановила снять неудачный памятник Пушкину в темноватом сквере на П<ушкин>ской ул. в Ленинграде[11]. Послали грузовик-кран – вообще все, что полагается в таких случаях.

Но затем произошло нечто беспримерное. Дети, игравшие в сквере вокруг памятника, подняли такой вой, что пришлось позвонить куда следует и спросить: «Как быть?» – Ответили: «Оставьте им памятник», и грузовик уехал пустой.

Февраль 37 г. – расцвет ежовщины. Можно с полной уверенностью сказать, что у доброй половины этих малышей уже не было пап (а у многих и мам), но охранять дядю Пускина они считали своей священной обязанностью.

1965

«Каменный гость» Пушкина

1

Известно, что в первый период своего творческого пути (когда вышли «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» и ранняя лирика) Пушкин был любим своими современниками, литературный путь его был прям и блистателен. И вот где-то около 1830 года читатели и критика отшатнулись от Пушкина. Причина этого лежит прежде всего в самом Пушкине. Он изменился. Вместо «Кавказского пленника» он пишет «Домик в Коломне», вместо «Бахчисарайского фонтана» – «Маленькие трагедии», затем «Золотого петушка», «Медного всадника». Современники недоумевали, враги и завистники ликовали. Друзья отмалчивались. Сам Пушкин в 1830 году пишет:

> И альманахи, и журналы,
> Где поученья нам твердят,
> Где нынче так меня бранят,
> А где такие мадригалы
> Себе встречал я иногда…
>
> *(VI, 183)*[12]

В чем же и как изменился Пушкин?

В предисловии, предполагавшемся к VIII и IX главам «Онегина» (1830), Пушкин полемизирует с критикой: «Век может идти себе вперед», но «поэзия остается на одном месте… ‹…› Цель ее одна, средства те же» (VI, 540, 541).

Однако в том же году в набросках статьи о Баратынском Пушкин совершенно иначе рисует отношения поэта с читателем: «Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близки и сродны всякому, молодые читатели понимают его и с восхищением в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, выраженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут – юный поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от них и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит – для самого себя и если изредка еще обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит

отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он уединенных, затерянных в свете» (XI, 185).

Странно, что до сих пор нигде не отмечено, что эту мысль подсказал Пушкину сам Баратынский в письме 1828 года, где он так объясняет неудачу «Онегина»: «Я думаю, что у нас в России поэт только в первых, незрелых своих опытах может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большою обдуманностью, с большим глубокомыслием: он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза. Не принимай на свой счет этих размышлений: они общие» (Пушкин, XIV, 6).

Из сравнения этих двух цитат видно, как Пушкин развил мысль Баратынского.

Итак, не поэзия неподвижна, а читатель не поспевает за поэтом.

В герое «Кавказского пленника» с восторгом узнавали себя все современники Пушкина, но кто бы согласился узнать себя в Евгении «Медного всадника»?

2

К числу зрелых произведений Пушкина, не услышанных не только современниками, но и друзьями поэта[13], относятся его «Маленькие трагедии». Быть может, ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко и сложно, как в «Маленьких трагедиях» Пушкина. Сложность эта бывает иногда столь велика, что в связи с головокружительным лаконизмом даже как будто затемняет смысл и ведет к различным толкованиям (например, развязка «Каменного гостя»). Мне кажется, объяснение этому дает сам Пушкин в заметке о Мюссе (24 октября 1830 года), где он хвалит автора «Contes d'Espagne et d'Italic» за отсутствие морализирования и вообще не советует «ко всякой всячине приклеивать нравоучения» (XI, 175–176). Это наблюдение дает отчасти ключ к пониманию якобы шутливой концовки «Домика в Коломне» (9 октября 1830 г.):

Да нет ли хоть у вас нравоученья?
Нет… или есть: минуточку терпенья…
Вот вам мораль…

и далее следует явно вызывающая пародия на нравоучительную концовку («Больше ничего // Не выжмешь из рассказа моего»).

Понятно, что для поэта, так поставившего вопрос о морализировании, многие обычные пути изображения страстей были закрыты. Все сказанное выше в особенности относится к «Каменному гостю», который все же является обработкой мировой темы возмездия, а у предшественников Пушкина, касавшихся этой темы, не было недостатка в прямом морализировании.

Пушкин идет другим путем. Ему надо, с первых же строк и не прибегая к морализированию, убедить читателя в необходимости гибели его героя. Что и для Пушкина «Каменный гость» – трагедия возмездия, доказывает уже само выбранное им заглавие («Каменный гость», а не «Дон Жуан»). Поэтому все действующие лица – Лаура, Лепорелло, Дон Карлос и Дона Анна – только и делают, что готовят и торопят гибель Дон Гуана. О том же неустанно хлопочет и сам герой:

> Все к *лучшему*: нечаянно убив
> Дон Карлоса, отшельником смиренным
> Я скрылся здесь…
>
> *(VII, 153)*

А Лепорелло говорит:

> …Ну, развеселились мы.
> *Недолго* нас покойницы тревожат.
>
> *(VII, 140)*

После проделанной пушкинистами работы мы знаем, чем похож пушкинский Дон Гуан на своих предшественников. И теперь имеет смысл определить, в чем он самобытен.

Характерно для Пушкина, что о богатстве Дон Гуана упомянуто только раз и вскользь, в то время как для Дапонте и для Мольера это существенная тема. Пушкинский Гуан и не дапонтовский богач, который хочет «наслаждаться за свои деньги», и не мольеровский унылый резонер, обманывающий кредиторов. Пушкинский Гуан – испанский гранд, которого при встрече на улице не мог не узнать король. Внимательно читая «Каменного гостя», мы делаем неожиданное открытие: Дон Гуан – поэт. Его стихи, положенные на музыку, поет Лаура, а сам Гуан

называет себя «Импровизатором любовной песни» (VII, 153).

Это приближает его к основному пушкинскому герою: «Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа…» – говорит в «Египетских ночах» Чарский, повторяя излюбленную мысль Пушкина (VIII, 1, 266). Насколько знаю, никому не приходило в голову делать своего Дон Жуана поэтом.

Сама ситуация завязки трагедии очень близка Пушкину. Тайное возвращение из ссылки – мучительная мечта Пушкина 20-х годов. Оттого-то Пушкин и перенес действие из Севильи (как было еще в черновике – Севилья извечный город Дон Жуана) в Мадрид: ему была нужна столица. О короле Пушкин, устами Дон Гуана, говорит:

> Пошлет назад.
> Уж верно головы мне не отрубят.
> Ведь я не государственный преступник.
>
> *(VII, 138)*

Читай – политический преступник, которому за самовольное возвращение из ссылки полагается смертная казнь. Нечто подобное говорили друзья самому Пушкину, когда он хотел вернуться в Петербург из Михайловского[14]. А пушкинский Лепорелло по этому поводу восклицает, обращаясь к своему барину: *«Сидели б вы себе спокойно там»* (VII, 138).

Пушкин, правда, не ставит своего Дон Гуана в самое смешное и постыдное положение всякого Дон Жуана – его не преследует никакая влюбленная Эльвира и не собирается бить никакой ревнивый Мазетто; он даже не переодевается слугой, чтобы соблазнить горничную (как в опере Моцарта); он герой до конца, но эта смесь холодной жестокости с детской беспечностью производит потрясающее впечатление. Поэтому пушкинский Гуан, несмотря на свое изящество[15] и свои светские манеры, гораздо страшнее своих предшественников.

Обе героини, каждая по-своему, говорят об этом: Дона Анна – «Вы сущий демон»; Лаура – «Повеса, дьявол».

Если Лаура, может быть, просто бранится, то «демон» в устах Доны Анны точно передает впечатление, которое Дон Гуан должен был производить по замыслу автора.

В отличие от других Дон Жуанов, которые совершенно одинаково относятся ко всем женщинам, у пушкинского Гуана находятся для каждой из трех, таких разных женщин, разные слова.

Герой «Каменного гостя» так же ругается со своим слугой, как

и Дон Жуаны Моцарта и Мольера; но, например, буффонская сцена финала оперы – обжорство слуги и хозяина – совершенно невозможна в трагедии Пушкина.

Первоначально Пушкин хотел подчеркнуть то обстоятельство, что Гуан предполагает встречаться с вдовой Командора около его памятника, но затем возмущенная реплика Лепорелло: «Над гробом мужа… Бессовестный; *не сдобровать ему!*» (VII, 308, 309) показалась Пушкину слишком нравоучительной, и он предоставил читателю самому догадаться, где происходят эти встречи.

В «Каменном госте» ни в окончательном тексте, ни в черновиках нигде ни одним словом не объяснена причина дуэли Дон Гуана с Командором. Это странно. Я полагаю, что причина этого необъяснимого умолчания такова: у всех предшественников Пушкина, кроме Мольера, где, в противоположность «Каменному гостю», Командор дан как совершенно отвлеченная фигура, ничем не связанная с действием, Командор гибнет, защищая честь своей дочери Доны Анны. Пушкин сделал Дону Анну не дочерью, а женой Командора и сам сообщает, что Гуан ее прежде никогда не видел. Прежняя причина отпала, а придумывать новую, которая могла бы отвлечь внимание читателя от самого главного, Пушкин не захотел. Он только подчеркивает, что Командор был убит на дуэли –

> Когда за Эскурьялом[16] мы сошлись…
>
> *(VII, 153)*

а не в ночной безобразной драке (в которой принимает участие и Дона Анна)[17], что не соответствовало бы характеру его Гуана.

Если сцена объяснения Гуана с Доной Анной и восходит к «Ричарду III» Шекспира, то ведь Ричард – законченный злодей, а не профессиональный соблазнитель, и действует он из соображений политических, а отнюдь не любовных, что он тут же и разъясняет зрителям.

Этим Пушкин хотел сказать, что его Гуан может действовать по легкомыслию как злодей, хотя он только великосветский повеса.

Второе, никем до сих пор не отмеченное и, по-моему, более значительное восхождение к Шекспиру находится в заключительной сцене трагедии «Каменный гость»:

> **Дона Анна**

…Но как могли придти
Сюда вы; здесь узнать могли бы вас,
И ваша смерть была бы неизбежна,

В черновике:
узнать могли бы люди.

(VII, 169, 315)

Juliet
How cam'st them hither, tell me, and
wherefore?..
And the place death, considering who thou art,
If any of my kinsmen find thee here.

(«Romeo and Juliet», act II, sc. 2)[18]

Даже сцена приглашения статуи, единственная совпадающая с традицией, открывает настоящую бездну между пушкинским Дон Гуаном и его прототипами. Неуместная шутка моцартовского и мольеровского Дон Жуанов, вызванная и мотивированная тем, что он прочел на памятнике оскорбительную для себя надпись[19], превращена Пушкиным в демоническую браваду. Вместо нелепого и традиционного приглашения статуи к себе на ужин мы видим нечто беспримерное:

Я, командор, прошу тебя придти
К твоей вдове[20], где завтра буду я,
И стать на стороже в дверях. Что? будешь?

(VII, 162)

т. е. Гуан говорит со статуей, как счастливый соперник. Пушкин оставил своему герою репутацию безбожника, идущую от Ateista fulminado (героя духовной драмы, которая представлялась в церквах и монастырях).

Бессовестным, *безбожным* Дон Гуаном (монах)
Твой Дон Гуан *безбожник* и мерзавец (Дон Карлос)
…Я вам представлен… без совести, без веры (сам Гуан)
Вы, говорят, *безбожный* развратитель (Дона Анна)

(VII, 141, 145, 315, 169)

Обвинения в атеизме были привычным аккомпанементом в жизни молодого Пушкина.

Зато другую характерную черту всех Дон Жуанов – странствия – Пушкин совершенно изгнал из своей трагедии. Вспомним хотя бы Дон Жуана Моцарта и знаменитую арию Лепорелло – каталог побед (в Италии – 641, в Германии – 231, сто во Франции, 91 в Турции, а вот в Испании – так тысяча и три). Пушкинский гранд ведет (кроме, разумеется, своей ссылки) совершенно оседлый столичный образ жизни в Мадриде, где его могут узнать каждая «Гитана» (было: цыганка) или пьяный музыкант (VII, 137)[21].

3

Пушкинский Дон Гуан не делает и не говорит ничего такого, чего бы не сделал и не сказал современник Пушкина, кроме необходимого для сохранения испанского местного колорита («вынесу его под епанчою и положу на перекрестке»; VII, 151). Точно так же поступает Дальти, герой «Portia» Мюссе, с трупом соперника, которого находят на другой день «le front sur le pavé» («лицом на мостовой»).

Гости Лауры (очевидно, мадридская золотая молодежь – друзья Дон Гуана) больше похожи на членов «Зеленой лампы», ужинающих у какой-нибудь тогдашней знаменитости, вроде Колосовой, и беседующих об искусстве, чем на знатных испанцев какого бы то ни было века. Но автор «Каменного гостя» знает, что это ему совсем не опасно. Он уверен, что коротким описанием ночи он создаст яркое и навеки неизгладимое ощущение того, что это Испания, Мадрид, юг:

> Приди – открой балкон. Как небо тихо;
> Недвижим теплый воздух – ночь лимоном
> И лавром пахнет, яркая луна
> Блестит на синеве густой и темной…

(VII, 148)

Гуан резвится с Лаурой, как любой петербургский повеса с актрисой, меланхолично вспоминает погубленную им Инесу, хвалит суровый дух убитого им Командора и соблазняет Дону Анну по всем правилам «адольфовской» светской стратегии.

Однако затем случается нечто таинственное и до конца не осмысленное. Последнее восклицание Дон Гуана, когда о притворстве не могло быть и речи:

Я гибну – кончено – о Дона Анна!

(VII, 171)

убеждает нас, что он действительно переродился во время свидания с Доной Анной, и вся трагедия в том и заключается, что в этот миг он любил и был счастлив, а вместо спасения, на шаг от которого он находился, пришла гибель. Заметим еще одну подробность: «Брось ее», – говорит статуя. Значит, Гуан кинулся к Доне Анне, значит, он только ее и видит в этот страшный миг.

В самом деле, ведь если бы Дон Гуана убил Дон Карлос, никакой трагедии бы не было, а было бы нечто вроде «Les Marrons du feu» Мюссе, которыми Пушкин так восхищался в 1830 году за отсутствие нравоучения и где донжуановский герой («Mais c'est du don Juan») гибнет случайно и бессмысленно. Статуя Командора – символ возмездия, но если бы еще на кладбище она увлекла с собой Дон Гуана, то тоже еще не было бы трагедии, а скорее театр ужасов или I'Ateista fulminado средневековой мистерии. Гуан не боится смерти. Мы видим, что он нисколько не испугался шпаги Дон Карлоса и даже не подумал о своей возможной гибели. Потому-то Пушкину и нужен поединок с Дон Карлосом, чтобы показать Гуана в деле. Совсем не таким мы видим его в финале трагедии. И вопрос вовсе не в том, что статуя – потустороннее явление: кивок в сцене на кладбище тоже потустороннее явление, на которое, однако, Дон Гуан не обращает должного внимания. Гуан не смерти и не посмертной кары испугался, а потери счастья. Оттого-то его последнее слово: «о Дона Анна!» И Пушкин ставит его в то единственное (по Пушкину) положение, когда гибель ужасает его героя. И вдруг мы узнаем в этом нечто очень хорошо нам известное. Пушкин сам дает мотивированное и исчерпывающее объяснение развязки трагедии. «Каменный гость» помечен 4 ноября 1830 года, а в середине октября Пушкин написал «Выстрел», автобиографичность которого никто не оспаривает. Герой «Выстрела» Сильвио говорит: «Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем… Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!» (VIII, I, 70).

Из этого можно заключить, что Пушкин считал гибель только тогда страшной, когда есть счастье. То же говорит Гуан на вопрос

Доны Анны – «И любите давно уж вы меня?»:

Давно или недавно, сам не знаю,
Но с той поры лишь только знаю цену
Мгновенной жизни, только с той поры
И понял я, что значит слово Счастье… –

(VII, 157)

т. е. с тех пор, как он счастлив, он узнал цену мгновенной жизни. И в «Выстреле», и в «Каменном госте» при расплате присутствует любимая женщина, что противоречит донжуановской традиции. У Моцарта, например, там находится только буффонящий Лепорелло, у Мольера – Сганарель.

В то время (1830) проблема счастья очень волновала Пушкина: «В вопросе счастья я атеист; я не верую в него», – пишет он П. А. Осиповой на другой день по окончании «Каменного гостя» (XIV, 123; подлинник по-французски); «Черт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан», – Плетневу (XIV, 110); «Ах, что за проклятая штука счастье!» – Вяземской (XIV, 110; подлинник по-французски). Легко привести еще ряд подобных цитат и можно даже, рискуя показаться парадоксальным, сказать, что Пушкин так же боялся счастья, как другие боятся горя. И насколько он был всегда готов ко всяким огорчениям, настолько же он трепетал перед счастьем, т. е., разумеется, перед перспективой потери счастья.

4

Однако это еще не все. Кроме аналогий с автобиографическим «Выстрелом», необходимо привести цитаты из переписки Пушкина. Первая – из письма к будущей теще, Н. И. Гончаровой (5 апреля 1830 года): «Заблуждения моей ранней молодости представились моему воображению; они были слишком тяжки и сами по себе, а клевета их еще усилила; молва о них, к несчастию, широко распространилась» (XIV, 75–76; подлинник по-французски). Как это близко к признанию Дон Гуана:

Молва, быть может, не совсем права,
На совести усталой много зла,
Быть может, тяготеет… Так, разврата
Я долго был покорный ученик.

(VII, 168)

А также: «Бедная! Она так молода, так невинна, а он такой ветреный, такой *безнравственный*» (VII, 1, 408; автобиографический отрывок, 13 мая 1830 года). Здесь «безнравственный», – конечно, смягчение «развратный». А это как раз передает голос молвы.

В тот же год Пушкин говорит то же самое в ненапечатанном при жизни стихотворении «Когда в объятия мои…»:

Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья…
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей…

(III, 1, 222)

В этом стихотворении подразумеваются все реплики Доны Анны. Только что женившийся Пушкин пишет Плетневу: «Я… счастлив… Это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился» (XIV, 154–155); ср. с «Каменным гостем»:

Мне кажется, я весь переродился.

(VII, 168)

Про Командора Гуан говорит: «Вкусил он *райское* блаженство!» (VII, 164); ср. с письмом к А. П. Керн: «Как можно быть вашим мужем? Этого я так же не могу себе вообразить, как не могу вообразить рая» (XIII, 208; подлинник по-французски).

В «Онегине» Пушкин обещает, что когда будет описывать любовные объяснения, то вспомнит

…речи неги страстной,
Слова тоскующей любви,
Которые в минувши дни
У ног любовницы прекрасной
Мне приходили на язык…

(VI, 57)

Сходство этих цитат говорит не столько об автобиографичности «Каменного гостя», сколько о лирическом начале этой трагедии.

5

Если «Скупого рыцаря» Пушкин не печатал шесть лет, боясь, как тогда говорили, «применений», то что же подумать о «Каменном госте», которого он вовсе не напечатал (в скобках замечу, что «Пир во время чумы» был напечатан в 1832 году, т. е. почти сразу по написании – и не потому ли, что «Пир» – простой перевод). Как бы то ни было, «Каменный гость» – единственная из «Маленьких трагедий», не напечатанная при жизни Пушкина. Действительно, можно легко себе представить, что то, что мы теперь раскапываем с превеликими трудностями, для самого Пушкина плавало на поверхности. Он вложил в «Каменного гостя» слишком много самого себя и относился к нему, как к некоторым своим лирическим стихотворениям, которые оставались в рукописи независимо от их качества. Пушкин в зрелый свой период был вовсе не склонен обнажать «раны своей совести» перед миром (на что, в какой-то степени, обречен каждый лирический поэт)[22], и я полагаю, что «Каменный гость» не был напечатан потому же, почему современники Пушкина не прочли окончания «Воспоминания», «Нет, я не дорожу…» и «Когда в объятия мои…», а не потому, почему остался в рукописи «Медный всадник».

Кроме всех приведенных мною сопоставлений, лирическое начало «Каменного гостя» устанавливается связью, с одной стороны, с «Выстрелом» (проблема счастья), с другой – с «Русалкой», которая вкратце (как и подобает предыстории) рассказана в воспоминаниях Гуана об Инесе. Свидания Гуана с Инесой происходили на кладбище Антониева монастыря (что явствует из черновика):

> Постойте: вот Антоньев монастырь –
> А это монастырское кладбище…
> О, помню все. Езжали вы сюда…
>
> *(VII, 307)*

Гуан так же, как князь в «Русалке», узнает место, вспоминает погубленную им женщину. И там и тут это дочь мельника. И Гуан не случайно говорит своему слуге: «Ступай же ты в деревню,

знаешь в ту, где мельница» (VII, 309). Затем он называет это место проклятой вентой. Окончательная редакция стихов отчасти стерла это сходство, но теперь, когда черновики разобраны, для нас нет сомнения, что трагедия Пушкина начинается с глухого упоминания о преступлении героя, которого рок приводит на то самое место, где это преступление было совершено и где он совершает новое преступление. Этим предрешено все, и призрак бедной Инесы играет в «Каменном госте» гораздо большую роль, чем это принято было думать.

6

Все сказанное выше относится к донжуановской линии трагедии «Каменный гость». Но в этой вещи есть, очевидно, и другая линия – линия Командора. Здесь у Пушкина тоже полный разрыв с традицией. У Моцарта – Дапонте Дон Жуан так не хочет вспоминать о Командоре, что когда Лепорелло просит разрешения что-то сказать, его хозяин отвечает: «Хорошо, если ты не будешь говорить о Командоре».

А пушкинский герой сам почти непрерывно говорит о Командоре.

Но что всего существеннее, так это то, что и в легенде, и во всех ее литературных обработках статуя является усовещивать Жуана, чтобы он раскаялся в грехах. В трагедии Пушкина это бы не имело смысла, потому что Гуан без всякого принуждения сам только что покаялся:

> Вас полюбя, люблю я добродетель
> И в первый раз смиренно перед ней
> Дрожащие колена преклоняю.
>
> *(VII, 168)*

Командор приходит в момент «холодного, мирного» поцелуя, чтобы отнять у Гуана свою жену. Везде у других авторов Командор – ветхий старик, оскорбленный отец. У Пушкина он ревнивый муж («А я слыхал, покойник был ревнивец. Он Дону Анну взаперти держал») (VII, 307–308), и ни из чего не следует, что он старик. Гуан говорит:

> Не мучьте сердца
> Мне, Дона Анна, страстным поминаньем
> Супруга…

(VII, 312)

– на что Дона Анна возражает:

«Так вы ревнивы»

(VII, 163).

Мы имеем все основания рассматривать Командора как одно из действующих лиц трагедии «Каменный гость». У него есть биография, характер, он действует. Мы даже знаем его внешность: он «мал был, худощав» (VII, 310). Он женился на не любившей его красавице и сумел своей любовью заслужить ее расположение и благодарность. Из всего этого нет ни слова в донжуановской традиции. С первой минуты мысль о его ревности приходит в голову Дон Гуану (в черновике – даже когда он еще не знает Дону Анну); и тогда-то Лепорелло и говорит о своем господине: «Над гробом мужа… Бессовестный; не сдобровать ему!» (VII, 308, 309).

И пушкинский Командор больше похож на «разгневанного ревнивца» юношеского стихотворения Пушкина «К молодой вдове», где мертвый муж чудится неверной его памяти вдове (и где покойник тоже называется счастливцем, как в «Каменном госте»), чем на загробное виденье, призывающее героя отречься от нечестивой жизни.

Темы загробной ревности касается Пушкин в седьмой главе «Онегина» в связи с могилой Ленского и изменой Ольги:

Смутится ли певец унылый
Измены вестью роковой…

(VI, 143)

По крайней мере, из могилы
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая Тень.
И в поздний час, Гимену милый,
Не испугали молодых
Следы явлений гробовых…

(VI, 422)

– как бы разочарованно говорит Пушкин и ищет сюжет, где бы разгневанная и ревнующая тень могла бы явиться. Для этого он изменяет сюжет Дон Гуана и делает Командора не отцом Доны Анны, а ее мужем.

Трогательная невеста-вдова Ксения Годунова, плачущая над портретом мертвого жениха, которого она никогда в жизни не видела, говорит: «Я и мертвому буду ему верна» (VII, 42).

Знаменитая отповедь Татьяны:

> Но я другому отдана;
> Я буду век ему верна –
>
> *(VI, 188)*

только бледное отражение того, что утверждают Ксения Годунова и Дона Анна («Вдова должна и гробу быть верна»; VII, 164).

Но что всего удивительнее, это то, что в цитированном выше письме к матери Н. Н. Гончаровой от 5 апреля 1830 года Пушкин пишет: «Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее; но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, – эта мысль для меня – ад». И еще разительнее: «… если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца» (XIV, 76; подлинник по-французски)[23]. Ср. в «Каменном госте»:

> Нет, мать моя
> Велела дать мне руку Дон Альвару
>
> *(VII, 164)*

– и дальше вся ситуация – как в письме, так и в трагедии.

Итак, в трагедии «Каменный гость» Пушкин карает самого себя – молодого, беспечного и грешного, а тема загробной ревности (т. е. боязни ее) звучит так же громко, как и тема возмездия.

Так, внимательный анализ «Каменного гостя» приводит нас к твердому убеждению, что за внешне заимствованными именами и положениями мы, в сущности, имеем не просто новую обработку мировой легенды о Дон Жуане, а глубоко личное, самобытное произведение Пушкина, основная черта которого определяется не сюжетом легенды, а собственными лирическими переживаниями

Пушкина, неразрывно связанными с его жизненным опытом.

Перед нами – драматическое воплощение внутренней личности Пушкина, художественное обнаружение того, что мучило и увлекало поэта. В отличие от Байрона, который (по оценке Пушкина) «бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя» (XI, 51), Пушкин, исходя из личного опыта, создает законченные и объективные характеры: он не замыкается от мира, а идет к миру.

Вот почему самопризнания в его произведениях так незаметны, и обнаружить их можно лишь в результате тщательного анализа. Откликаясь «на каждый звук», Пушкин вобрал в себя опыт всего своего поколения. Это лирическое богатство Пушкина позволило ему избежать той ошибки, которую он заметил в драматургии Байрона, раздавшего «по одной из составных частей» своего характера своим персонажам и, таким образом, раздробившего свое создание «на несколько лиц мелких и незначительных» (XI, 51).

1947

< Дополнения к статье «“Каменный гость” Пушкина» (1958–1959 гг.) >

1

Головокружительная краткость, о которой я говорила в начале этой статьи, очень характерна для Пушкина. В 1829 году («Роман в письмах») он писал: «Я и в Вальтер Скотте нахожу лишние страницы». Это стремление к краткости очень сильно сказалось и в «Маленьких трагедиях», в частности в «Каменном госте»[24]. Эта маленькая трагедия подразумевает очень большую предысторию, которая благодаря чудесному умению автора умещается в нескольких строках, там и сям вкрапленных в текст. Этот прием в русской литературе великолепно и неповторимо развил Достоевский в своих романах-трагедиях: в сущности, читателю-зрителю предлагается присутствовать только при развязке. Таковы «Бесы», «Идиот» и даже «Братья Карамазовы». Все уже случилось где-то там, за границами данного произведения: любовь, ненависть, предательство, дружба. Таков же и «Каменный гость» Пушкина: буйная столичная жизнь молодого гранда, его трагический роман с мельничихой, ссылка и продолжение любовных похождений в стране, где «небо… точный дым», вся биография Доны Анны, ее великолепное испанское вдовство, своей суровостью изумляющее даже монаха, и т. д.

И не случайно, конечно, появляются «лавры и лимоны» «Дядюшкиного сна» при описании пародийной Испании в самом начале творческого пути Достоевского, а в своей предсмертной (1880 г.) речи о Пушкине Достоевский называет «Каменного гостя» как образец и доказательство всемирности Пушкина и как одно из величайших произведений.

2

В какой-то мере все первые персонажи маленьких трагедий Пушкина чем-то похожи друг на друга. Гуан, Моцарт и Альбер – это один и тот же человек в разных костюмах и в разных положениях. Они веселы, добры, беспечны, благородны… но Моцарт, кроме того, одарен несравненным талантом.

3

На примере того, как Пушкин изображает Дону Анну, можно еще раз изумиться, с каким искусством он отделяет свое к ней отношение (авторский голос[25]) от отношения к ней Дон Гуана, что, казалось бы, в этом жанре почти невозможно. Для Дон Гуана – Дона Анна ангел[26] и спасение, для Пушкина – это очень кокетливая, любопытная, малодушная женщина и ханжа. NB. Типичная католическая дэво́тка под стать Каролине Собаньской:

О Дон Гуан, как сердцем я слаба.

Пушкин не прощает ей посмертной измены Командору, который был безупречен по отношению к ней и даже

Не принял бы к себе влюбленной дамы,
Когда б он овдовел.

(Снова та же тема.)

Мы даже не знаем ее судьбу – умерла она или упала в обморок, это совершенно неважно, ведь это не Татьяна, не Русалка, которых надо возвеличить, а нечто вроде Ольги Лариной.

Насколько она противна автору, явствует из сравнения тона, каким он говорит о двух других женщинах. От Лауры автор в восторге – ей все разрешено, вплоть до любовного свидания при трупе убитого из-за нее Дона Карлоса; так и кажется, что автор сам готов тешить ее серенадами и убивать соперников на перекрестках. Она – в сиянии бессмертного искусства. Это – юность Пушкина, это – музыка.

Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает…

Она – «милый демон». (Замечу вскользь, что Демон – было прозвище Собаньской и так называл ее Пушкин в письме от 2 февраля 1830 г.)

4

Еще замечательнее отношение автора к Инезе (по донжуанской традиции Церлина – крестьяночка лукавая и простоватая, невеста такого же простачка Мазетто), и хотя Гуан

говорит о ней вскользь, всего один раз, и как бы случайно, и как бы только в связи с местом, на котором неожиданно оказался, т. е. чуть ли не на ее могиле, – какие слезы отчаяния и раскаяния проливает над ней автор:

Муж у нее был негодяй суровый,
Узнал я поздно… Бедная Инеза!..

И таких глаз он, Гуан, уже не видел никогда больше в жизни. И от нее расходятся стрелки ко всем покаянным стихам Пушкина («Черты далекой бедной девы», «Русалка») (см. статью Берковского).

5

Еще одно могло попасть в «Каменного гостя» из «Города Чумы». Кто-то говорит о прячущем свое лицо Незнакомце (с. 158) – преступнике:

В тряпье до глаз и в шляпе до бровей
Широкополой…

Ср. в «Каменном госте» о скрывающемся Дон Гуане:

Усы плащом закрыв, а брови шляпой…
Испанский гранд как вор…

6

В конец III главы

Очевидно, получив согласие родителей невесты на брак, Пушкин понял, что попал в совершенно безвыходное положение. При этом мы вправе ждать стихов от лирического поэта на так мучившую его тему. Однако таких стихов нет[27].

Зато к вопросу о счастии при самых невероятно неблагоприятных обстоятельствах, когда уже ни на что ни рассчитывать, ни надеяться нельзя, Пушкин подходит в другом жанре – в прозаической повести. Этим, по моему твердому убеждению, объясняются все happy end'ы или, вернее, «игрушечные развязки» «Повестей Белкина».

Созданные в дни горчайших размышлений и колебаний[28], они представляют собою удивительный психологический памятник. Автор словно подсказывает судьбе, как спасти его, поясняя, что нет безвыходных положений и пусть будет счастье, когда его не может быть, вот как у него самого, когда он задумал жениться на 17-летней красавице, которая его не любит и едва ли полюбит. Об этом Пушкин прямо написал несколько раньше (12 мая 1830 г.): «Я никогда не хлопотал о счастии – я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих – а где мне взять его». Автобиографичность этого отрывка («Участь моя решена. Я женюсь…») Пушкин задумал скрыть под заголовком «С французского», но, по всей вероятности, тут же отказался от этой мысли[29].

Автор поэм со страшными и кровавыми развязками («Цыганы», «Полтава») и якобы жизнерадостного романа («Евгений Онегин»), где герой и героиня остаются с непоправимо растерзанными сердцами, внезапно с необычным тщанием занимается спасением всех героев «Повестей Белкина».

Тут же я должна оговориться. Образ обиженного «маленького человека» – родоначальника стольких несчастных героев, трогательного и величественного в своем горе, – не должен все же заставить нас забыть о «благополучной развязке» повести «Станционный смотритель». К тому же сам Вырин погибает именно потому, что он не верит в возможность этой счастливой развязки.

Счастливые концы вовсе не характерны для прозы Пушкина. Нет ничего более траурно-мрачного и фатально-торжественного, чем развязка «Пиковой дамы»[30] (сумасшедший дом Германна, немилый брак Лизы и будущая мученица – девочка-воспитанница). Итак, дело не в прозе, а в том, как глубоко Пушкин запрятал свое томление по счастью, свое своеобразное заклинание судьбы, и в этом кроется мысль: так люди не найдут, не будут обсуждать, что невыносимо (см. «Ответ анониму»). Спрятать в ящик с двойным, нет, с тройным дном: 1) А. П. 2) Белкин. 3) Один из повествователей. Так вернее. И пусть это будет тихая нестилизованная провинция, которую всегда так любил и так хорошо знал Пушкин. Тихая пристань!

И пусть это будет совсем как в жизни (проблема правдоподобия). Все детали, которые он выписывает с необычайным стараньем и con amore <с любовью> (вплоть до полосатого бланманже – «Барышня-крестьянка»), должны убедить читателя, что иначе и быть не может, что все это в высокой степени достоверно. От этого, естественно, возникает забота о языке: говор девичьей («Барышня-крестьянка»), почтовой станции

(«Станционный смотритель»), мещан-ремесленников («Гробовщик»), захолустных офицеров («Выстрел»), мелких помещиков («Метель»), – при этом изысканные эпиграфы – Жуковский, Вяземский, Фонвизин, Марлинский, Державин – все русские…

Пушкин, наверно, не хуже нас знал, как кончалась любовь барчука к крепостной девке (Ольга Калашникова), знал, что Дуня, несомненно, должна была мести мостовую «с голью кабацкой» (полицейское наказанье проституток) и что героине «Метели», обвенчанной неведомо с кем, предстояло влачить одинокие дни.

Простейший случай («Гробовщик»), когда все ужасы оказываются сном.

Несколько выбивается «Выстрел», где развязка псевдоблагополучная, потому что Пушкин приводит к ней своего героя через страх и срам, но почему он так поступает – объяснено до конца выше сравнением со стихами «Каменного гостя», в которых совершенно совпадает взгляд на ценность жизни.

1957. Весна

Москва

7

В заключение

А то, что в «Каменном госте» Пушкин как бы делит себя между Командором и Гуаном, явление совсем другого порядка, что, как я надеюсь, доказано в этой статье.

8

Заключение

«Каменный гость» важен еще тем, что он показывает Пушкина родоначальником великой русской литературы XIX века, как моралиста. Это – столбовая дорога русской литературы, по которой шли и Толстой и Достоевский. «Нет правды на земле!» – Дона Анна свободна выбрать нового мужа, Командор не отомщен, брошенная девушка утопилась («Русалка»), героиня «Метели» обречена остаться одинокой, убежавшая с гвардейцем дочь станционного смотрителя стала проституткой. Нет, нет, нет! Пушкин бросает Онегина к ногам Татьяны, как князя к ногам дочери мельника. У Пушкина женщина всегда права – слабый всегда прав. Пушкин видит и знает, что делается вокруг – он не хочет этого. Он не согласен, он протестует – и борется всеми доступными ему средствами со страшной неправдой. Он требует высшей и единственной Правды. И тут Пушкин выступает (пора уже произнести это слово) как моралист, достигая своих целей не прямым морализированием в лоб, с которым, как мы только что доказали, Пушкин вел непримиримую войну, а средствами искусства.

9

С другой стороны, моя работа помогает установить до сих пор не уловленные комплексы Пушкина: боязнь счастья, т. е. потери его (т. е. неслыханного жизнелюбия), и загробной ревности = загробной верности (примеры: Ленский, Командор, Ксения Годунова, Дона Анна).

Однако гораздо существеннее всего этого, что после работы Берковского оказывается, что мы (совершенно независимо друг от друга) каким-то образом и различными методами пришли к сходному выводу. Так можно решить задачу и арифметическим и алгебраическим способом. То, что говорит Берковский о «Русалке», я говорю о «Каменном госте». (И еще, как я знаю, это можно и должно сказать о «Повестях Белкина»). Корень, очевидно, в жадной и неистребимой жажде Пушкина *Истины* (справедливости), самой высокой и самой сокровенной. Поэтому он отдает князя во власть погубленной им девушки, Дон Гуана во власть убитого им Командора. И так как ни то, ни другое не может случиться естественным образом, то в первом случае он пользуется фольклором, во втором легендой о <El> Burlador <de> Sevilla <Севильский озорник>, и «бедная Инеза»

оказывается мостиком, связавшим оба эти произведения, и дело не в том, что она дочь или жена мельника (мельница могла быть и ветряной из Дон Кихота…).

10

В статью

1

Строго говоря, Пушкин в «Каменном госте» сделал для своего героя то же, что Гете сделал для народного мифа – «Фауст» и Байрон для своего Фауста – «Манфреда». Во всех трех случаях «миф» (комплекс моральных черт) получает некую реальную биографию, кроме контрастного слуги, который находится во всех мифах.

Байрон совершенно явственно приближает Манфреда к своему постоянному герою, т. е. к себе (напр., воспоминание об Астарте).

Полагаю, что и Гете уступил своему герою большую часть своей души и биографии (напр., всю линию Гретхен, естественно, отсутствующую в мифе, где Фауст просто развратник и некромант, любовник призрака Елены Троянской).

2

Мог ли Лессинг, заставляя своего Фауста выбирать из семи бесов самого «скоростного», думать, что примерно через 150 лет скорость станет идолом человечества. Очевидно, она ею всегда была (см. миф о Фаусте, его постоянные полеты и мгновенные возвращения).

Все было подвластно ему

Это было странное, загадочное существо – царскосельский лейб-гусар, живший на Колпинской улице и ездивший в Петербург верхом, потому что бабушке казалась опасной железная дорога, хотя не казались опасными передовые позиции, где, кстати говоря, поручик Лермонтов был представлен к награде за храбрость. Он не увидел царские парки с их растреллиями, камеронами, лжеготикой, зато заметил, как «сквозь туман кремнистый путь блестит». Он оставил без внимания знаменитые петергофские фонтаны, чтобы, глядя на Маркизову Лужу, задумчиво произнести: «Белеет парус одинокий…»

Он, может быть, много и недослушал, но твердо запомнил, что «пела русалка над синей рекой, полна непонятной тоской…».

Он подражал в стихах Пушкину и Байрону и вдруг начал писать нечто такое, где он никому не подражал, зато всем уже целый век хочется подражать ему. Но совершенно очевидно, что это невозможно, ибо он владеет тем, что у актера называют «сотой интонацией». Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до молитвы. Слова, сказанные им о влюбленности, не имеют себе равных ни в какой из поэзии мира.

Это так неожиданно, так просто и так бездонно:

Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Если бы он написал только это стихотворение, он был бы уже великим поэтом.

Я уже не говорю о его прозе. Здесь он обогнал самого себя на сто лет и в каждой вещи разрушает миф о том, что проза – достояние лишь зрелого возраста. И даже то, что принято считать недоступным для больших лириков – театр, – ему было подвластно.

…До сих пор не только могила, но и место его гибели полны памяти о нем. Кажется, что над Кавказом витает его дух, перекликаясь с духом другого великого поэта:

Здесь Пушкина изгнанье началось

И Лермонтова кончилось изгнанье…

<1964>

Слово о Данте

Sopra candido vel cinla d'uliva
Donna m'apparve, sotto verde manlo
Vestita di color di fiamma viva[31].

Гвельфы и гибеллины давно стали достоянием истории, белые и черные – тоже, а явление Беатриче в XXX песни «Чистилища» – это явление навеки, и до сих пор перед всем миром она стоит под белым покрывалом, подпоясанная оливковой ветвью, в платье цвета живого огня и в зеленом плаще.

Я счастлива, что в сегодняшний торжественный день могу засвидетельствовать, что вся моя сознательная жизнь прошла в сиянии этого великого имени, что оно было начертано вместе с именем другого гения человечества – Шекспира на знамени, под которым начиналась моя дорога. И вопрос, который я осмелилась задать Музе, тоже содержит это великое имя – Данте.

…И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Для моих друзей и современников величайшим недосягаемым учителем всегда был суровый Алигьери. И между двух флорентийских костров Гумилев видит, как

Изгнанник бедный Алигьери
Стопой неспешной сходит в ад.

А Осип Мандельштам положил годы на изучение творчества Данте, написал о нем целый трактат «Разговор о Данте» и часто упоминает великого флорентийца в стихах:

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Подвиг перевода бессмертных терцин «Божественной

комедии» на русский язык победоносно завершил Михаил Леонидович Лозинский. Эта работа была в моей стране высоко оценена критикой и читателями.

Все мои мысли об искусстве я соединила в стихах, освященных тем же великим именем:

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, –
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, нежной, долгожданной…

<1965>

Воспоминания об Александре Блоке

В Петербурге осенью 1913 года, в день чествования в каком-то ресторане приехавшего в Россию Верхарна, на Бестужевских курсах был большой закрытый (то есть только для курсисток) вечер. Кому-то из устроительниц пришло в голову пригласить меня. Мне предстояло чествовать Верхарна, которого я нежно любила не за его прославленный урбанизм, а за одно маленькое стихотворение «На деревянном мостике у края света».

Но я представила себе пышное петербургское ресторанное чествование, почему-то всегда похожее на поминки, фраки, хорошее шампанское, и плохой французский язык, и тосты – и предпочла курсисток.

На этот вечер приехали и дамы-патронессы, посвятившие свою жизнь борьбе за равноправие женщин. Одна из них, писательница Ариадна Владимировна Тыркова-Вергежская, знавшая меня с детства, сказала после моего выступления: «Вот Аничка для себя добилась равноправия».

В артистической я встретила Блока.

Я спросила его, почему он не на чествовании Верхарна. Поэт ответил с подкупающим прямодушием: «Оттого, что там будут просить выступать, а я не умею говорить по-французски».

К нам подошла курсистка со списком и сказала, что мое выступление после блоковского. Я взмолилась: «Александр Александрович, я не могу читать после вас». Он – с упреком – в ответ: «Анна Андреевна, мы не тенора». В это время он уже был известнейшим поэтом России. Я уже два года довольно часто читала мои стихи в Цехе поэтов, и в Обществе Ревнителей Художественного Слова, и на Башне Вячеслава Иванова, но здесь все было совершенно по-другому.

Насколько скрывает человека сцена, настолько его беспощадно обнажает эстрада. Эстрада что-то вроде плахи. Может быть, тогда я почувствовала это в первый раз. Все присутствующие начинают казаться выступающему какой-то многоголовой гидрой. Владеть залой очень трудно – гением этого дела был Зощенко. Хорош на эстраде был и Пастернак.

Меня никто не знал, и, когда я вышла, раздался возглас: «Кто это?» Блок посоветовал мне прочесть «Все мы бражники здесь». Я стала отказываться: «Когда я читаю «Я надела узкую юбку», – смеются». Он ответил: «Когда я читаю «И пьяницы с глазами кроликов», – тоже смеются».

Кажется, не там, но на каком-то литературном вечере Блок прослушал Игоря Северянина, вернулся в артистическую и

сказал: «У него жирный адвокатский голос».

В одно из последних воскресений тринадцатого года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: «Ахматовой – Блок». (Вот «Стихи о Прекрасной Даме».) А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: «Красота страшна, вам скажут…» У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро. И в последнюю нашу встречу за кулисами Большого драматического театра весной 1921 года Блок подошел и спросил меня: «А где испанская шаль?» Это последние слова, которые я слышала от него.

* * *

В тот единственный раз, когда я была у Блока, я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лившиц жалуется на то, что он, Блок, одним своим существованием мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой».

Летом 1914 года я была у мамы в Дарнице, под Киевом. В начале июля я поехала к себе домой, в деревню Слепнево, через Москву. В Москве сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то, у какой-то пустой платформы, паровоз тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором неожиданно вырастает Блок. Я вскрикиваю: «Александр Александрович!» Он оглядывается и, так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, спрашивает: «С кем вы едете?» Я успеваю ответить: «Одна». Поезд трогается.

Сегодня, через 51 год, открываю «Записную книжку» Блока и под 9 июля 1914 года читаю: «Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной. – Меня бес дразнит. – Анна Ахматова в почтовом поезде».

Блок записывает в другом месте, что я вместе с Дельмас и Е. Ю. Кузьминой-Караваевой измучила его по телефону. Кажется, я могу дать по этому поводу кое-какие показания.

Я позвонила Блоку. Александр Александрович со свойственной ему прямотой и манерой думать вслух спросил: «Вы, наверное, звоните, потому что Ариадна Владимировна Тыркова передала вам, что я сказал о вас?» Умирая от

любопытства, я поехала к Ариадне Владимировне на какой-то ее приемный день и спросила, что сказал Блок. Но она была неумолима: «Аничка, я никогда не говорю одним моим гостям, что о них сказали другие».

«Записная книжка» Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвения и возвращая даты полузабытым событиям: и снова деревянный Исаакиевский мост, пылая, плывет к устью Невы, а я с моим спутником с ужасом глядим на это невиданное зрелище, и у этого дня есть дата – 11 июля 1916 года, отмеченная Блоком.

И снова я уже после Революции (21 января 1919 г.) встречаю в театральной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, и он говорит мне: «Здесь все встречаются, как на том свете».

А вот мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 г.) на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме). Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

А через четверть века все в том же Драматическом театре – вечер памяти Блока (1946), и я читаю только что написанные мною стихи:

Он прав – опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит…
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит –
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.

1965

Лозинский

Завтра лень молитвы и печали.

Меня познакомила с ним Лиза Кузьмина-Караваева в 1911 на втором собрании Цеха поэтов[32] (у нее) на Манежной площади. Это была великолепная квартира Лизиной матери (Пиленко), рожденной чуть ли не Нарышкиной. Сама Лиза жила с Митей Кузьминым-Караваевым по-студенчески. Внешне Михаил Леонидович был тогда элегантным петербуржцем и восхитительным остряком, но стихи были строгие, всегда высокие, свидетельствующие о напряженной духовной жизни[33]. Я считаю, что лучшее из написанных тогда мне стихов принадлежит ему («Не забывшая»).

Дружба наша началась как-то сразу и продолжалась до его смерти (31 января 1955 г.). Тогда же, т. е. в 10-х годах, составился некий триумвират: Лозинский, Гумилев и Шилейко. С Лизой Гумилев играл в карты, они были на «ты» и называли друг друга по имени-отчеству. Целовались, здороваясь и прощаясь. Пили вместе так называемый «флогистон» (дешевое разливное вино). Оба, Лозинский и Гумилев, свято верили в гениальность третьего (Шилея) и, что уже совсем непростительно, – в его святость. Это они (да простит им Господь) внушили мне, что равного ему нет на свете. Но это уже другая тема.

Лозинский кончил два факультета СПБ университета (юридический для отца и филологический для себя) и был образованнее всех в Цехе. (О шилейкинском чаромутии не берусь судить). Это он при мне сказал Осипу, чтобы тот исправил стих «И отравительница Федра», потому что Федра никого не отравляла, а просто была влюблена в своего пасынка. Гуму он тоже не раз поправлял мифологические и прочие оплошности[34].

Шилейко толковал ему Библию и Талмуд. Но главное, конечно, были стихи.

Гумилев присоветовал Маковскому пригласить Лозинского в секретари в «Аполлон». Лучшего подарка он не мог ему сделать. Бездельник и болтун Маковский (Parà Masó, или «Моль в перчатках») был за своим секретарем, как за каменной стеной. Лозинский прекрасно знал языки и был до преступности добросовестным человеком. Скоро он начал переводить, счастливо угадав, к чему «ведом»[35]. На этом пути он достиг великой славы и оставил образцы непревзойденного совершенства. Но все это гораздо позже. Тогда же он ездил с Татьяной Борисовной в оперу, постоянно бывал в «Бродячей

Собаке» и возился с аполлоновскими делами. Это не помешало ему стать редактором нашего «Гиперборея»[36] (ныне библиографическая редкость) и держать корректуры моих книг. Он делал это безукоризненно, как все, что он делал[37]. Я капризничала, а он ласково говорил: «Она занималась со своим секретарем и была не в духе». Это на «Тучке», когда мы смотрели «Четки»[38], и через много, много лет («Из шести книг», 1940): «Конечно, раз Вы так сказали, так и будут говорить, но может быть лучше не портить русский язык?» И я исправляла ошибку. Последняя его помощь мне: чтение рукописи «Марьон Делорм». Смотрел он и мои «Письма Рубенса», для чего заходил в Фонтанный Дом после работы в Публичной библиотеке.

Во время голода М. Л. и его жена еле на ногах держались, а их дети были толстые, розовые с опытной и тоже толстой няней. М. Л. был весь в фурункулах от недоедания…

* * *

В 30-х годах – тяжелые осложнения в личной жизни: он полюбил молодую девушку. Она была переводчицей[39] и его ученицей. Никаких подробностей я не знаю, и, если бы знала, не стала бы, разумеется, их сообщать, но на каком-то вечере во «Всемирной литературе» (Моховая, 36) она потребовала, чтобы он на ней женился, оставив семью. Все кончилось тем, что М. Л. оказался в больнице[40]. Она вышла замуж, но скоро умерла. Когда она умирала, он ходил в больницу – дежурил всю ночь.

Хворал он долго и страшно. В 30-х годах его постигло страшное бедствие: разрастание гипофиза, исказившее его. У него так болела голова, что он до 6-ти часов не показывался даже близким. Когда наконец справились с этим и с горловой чахоткой, пришла астма и убила его.

В прошлогодней телевизионной передаче (которую все же имеет смысл найти) я вспомнила много мелочей о Лозинском, кот. не следует забывать (о методе перевода «Divina Comedia» и др.).

В моей книге должна быть глава о моем дорогом незабвенном друге, образце мужества и благородства. (Это развить).

* * *

Последней его радостью были театральные постановки его переводов. Он пригласил меня на «Валенсианскую вдову». В

середине действия я шепнула ему: «Боже мой, Михаил Леонидович, – ни одной банальной рифмы. Это так странно слышать со сцены». – «Кажется, – да», – ответил этот чудодей.

«Собака на сене» всегда имела оглушительный успех.

1. О переводе «Гамлета» и испанцев (с цитатой). Мелкие завистливые и невежественные люди уверяют, что «Гамлет» – тяжел, темен и т. п. Им не приходит в голову, что он *именно* таков в оригинале, а что Лозинский умел быть легким, прозрачным, летучим, как никто, мы знаем хотя бы из испанских комедий:

……..
……..
……..(цитата)

2. О его советах (не читать чужой перевод, пока не кончишь свой), «Иначе память может сыграть с вами злую шутку».

* * *

Он был с нами в первые дни войны 1914 г. Ему я всегда давала Колины стихи с фронта (для «Аполлона»). Наша переписка сохранилась.

Мой рисунок Судейкина, который всегда висел в кабинете М. Л., возник так. Я пришла с Судейкиным в редакцию «Аполлона». К Лозинскому, конечно. (У Макó я никогда не была.) Села на диван. Сергей Юрьевич нарисовал меня на бланке «Аполлона» и подарил Михаилу Леонидовичу.

* * *

Как все люди искусства, Лозинский влюблялся довольно легко. К моей Вале (она одно время работала в Публичной библиотеке) относятся «Тысячелетние глаза // И с цепью маленькие руки»[41] (браслет). И как истинный поэт предсказал свою смерть:

И будет страшное к нетлению готово.

Это про свое тело. Еще молодой и здоровый, он словно видит себя искаженным грозным недугом. (Стихи от нач. 20-х годов)[42].

* * *

Лозинский до тонкости знал орфографию и законы пунктуации чувствовал, как люди чувствуют музыку: «Точка-тире – такого знака нет по-русски, а у Вас есть», – говаривал он, когда держал корректуру моих стихов.

Ах! одна в семье умеет
Грамоте она, –

постоянно говорил про него Гумилев.

Нечего говорить, что «Гиперборей» весь держался на Лозинском. Он, вероятно, почти всегда выкупал номер в типографии (кажется, 40 рублей), держал корректуру и совместно с синдиками приглашал сотрудников.

В другом месте я уже писала («Листки из дневника»), что когда был прокламирован акмеизм (1911), Лозинский (и В. В. Гиппиус) отказались примкнуть к новой школе. Кажется, даже от Бальмонта М. Л. не хотел отречься, что, на мой взгляд, уже чрезмерно.

* * *

«Многомятежно ремесло твое, о Царица», – часто говорил мне Лозинский, а я так и не знаю, откуда это. Очевидно из каких-то древних русских письменных источников.

* * *

Когда Шилейко женился на мне, он почти перестал из-за своей сатанинской ревности видеться с Лозинским. М. Л. не объяснялся с ним и только грустно сказал мне: «Он изгнал меня из своего сердца».

* * *

Ивановский, ученик и секретарь М. Л., сказал мне, что Лозинский ни одно письмо не отправлял, не оставив себе копии. Таким образом я могу быть уверена, что все его письма ко мне существуют, несмотря на то, что оригиналы большинства из них погибли у меня, потому что все, что у меня, неизбежно гибнет.

* * *

Чем больше я пишу, тем больше вспоминаю. Какие-то дальние поездки на извозчике, когда дождь уютно барабанит по поднятому верху пролетки и запах моих духов (Avia) сливается с запахом мокрой кожи, и вагон Царскосельской железной дороги (это целый мир), и собрания Цеха, когда М. Л. говорил своим незабываемым голосом. (Как страшно мне было услышать этот голос на вечере Его памяти в Союзе, когда откуда-то сверху М. Л. стал читать которую-то песнь «Ада»).

* * *

О гражданском мужестве Лозинского знали все вокруг, но когда на собрании (1950) Правления, при восстановлении меня в Союзе ему было поручено сказать речь, все вздрогнули, когда он припомнил слова Ломоносова о том, что скорее можно отставить Академию от него, чем наоборот. А про мои стихи сказал, что они будут жить столько же, как язык, на котором они написаны.

Я с ужасом смотрела на потупленные глаза «великих писателей Земли Русской», когда звучала эта речь. Время было серьезное…

* * *

Теперь, когда я еду к себе в Будку, в Комарове, мне всегда надо проезжать мимо огромного дома на Кировском проспекте, и я вижу мраморную доску («Здесь он жил…») и думаю: «Здесь он жил, а теперь он живет в сердцах тех, кто знал его и никогда не забудет, потому что доброту, благородство и великодушие нельзя забыть».

1966

Амедео Модильяни

Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала, и вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности (сияющую) – ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка; во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся.

В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне[43]. Что он сочинял стихи, он мне не сказал.

Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: «On communique»[44]. Часто говорил: «Il n'y a que vous pour réaliser cela»[45].

Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его – очень короткой, моей – очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Амедее только искрилось сквозь какой-то мрак.

У него была голова Антиноя и глаза с золотыми искрами, – он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.

Жил он тогда (в 1911 году) в Impasse Falguiere. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом.

Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него

ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. Очевидной подруги жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа.

В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской (в пустынном тупике был слышен стук его молоточка) в обличии рабочего. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины (как мне теперь кажется – от пола до потолка). Воспроизведения их я не видела – уцелели ли они? – Скульптуру свою он называл la chose[46] – она была выставлена, кажется, у Indépendents[47] в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография этой вещи.

В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (tout le reste) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют Période nègre[48].

Он говорил: «Les bijoux doivent être sauvages»[49] (по поводу моих африканских бус) и рисовал меня в них. Водил меня смотреть le vieux Paris derrière le Panthéon[50] ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал: «J'ai oublié qu'il y a une île au milieu»[51]. Это он показал мне настоящий Париж.

По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях.

В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал le vieux palais à l'Italienne[52], а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи.

Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на Модильяни оказала Беатриса X[53], та самая, которая называет его «perle et pourceau»[54]. Могу и

считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Амедей был уже задолго до знакомства с Беатрисой Х., т. е. в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить. Первый иностранец, увидевший у меня мой портрет работы Модильяни, в ноябре 1945 года в Фонтанном Доме, сказал мне об этом портрете нечто такое, что я не могу «ни вспомнить, ни забыть», как сказал один неизвестный поэт о чем-то совсем другом.

Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен, с оравой почитателей, из «своего кафе», где он ежедневно витийствовал, шел в «свой ресторан» обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре, с ленточкой «Почетного легиона», – а соседи шептались: «Анри де Ренье!»

Для нас обоих это имя никак не звучало. Об Анатоле Франсе Модильяни (как, впрочем, и другие просвещенные парижане) не хотел и слышать. Радовался, что и я его тоже не любила. А Верлен в Люксембургском саду существовал только в виде памятника, который был открыт в том же году. Да, про Гюго Модильяни просто сказал: «Mais Hugo – c'est déclamatoire?»[55]

* * *

Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла.

Когда мы встретились, он выразил недоумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть, – они так красиво лежали…»

Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я, оторвавшись от стола, подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами…

То, чем был тогда Париж, уже в начале двадцатых годов называлось «vieux Paris' или «Paris avant guerre»[56]. Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались «Au rendez-vous des cochers»[57], и еще живы были мои молодые современники, которые скоро погибли на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни,

были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили «Пикассо и Брак». Ида Рубинштейн играла Соломею, становились изящной традицией дягилевские Ballets Russes (Стравинский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Бакст).

Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к десятым годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа XX века. Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 1910 года была поставлена «Жар-птица». 13 июня 1911 года Фокин поставил у Дягилева «Петрушку».

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в Taverne de Panthéon два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы – тут большевики, а там меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes entravées). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

Рене Гиль проповедовал «научную поэзию», и его так называемые ученики с превеликой неохотой слушали мэтра.

Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк.

> Et Jehanne, la bonne Lorraine,
> Qu'Anglois brûlerent à Rouen…[58]

Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой. Они были весьма сомнительного вкуса, и их начали продавать в лавочках церковной утвари.

* * *

Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в «Аполлоне» 1911 г.). Над «аполлоновской» живописью («Мир искусства») Модильяни откровенно смеялся.

* * *

Меня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже

тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы.

Во всяком случае, то, что в Париже называют модой, украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.

Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, – эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел один, в нем, к сожалению, меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню»…

Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера.

Данта он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка.

Как-то раз сказал: «J'ai oublié de vous dire que je suis juif»[59]. Что он родом из-под Ливорно – сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему двадцать шесть…

Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему – летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?).

В это время ранние, легкие[60] и, как всякому известно, похожие на этажерки, аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей (1889) – Эйфелевой башней.

Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское.

* * *

…а вокруг бушевал недавно победивший кубизм, оставшийся чуждым Модильяни.

Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило – Чарли Чаплин. «Великий немой» (как тогда называли кино) еще красноречиво безмолвствовал.

* * *

«А далеко на севере»… в России умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская, символисты объявили себя в

состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал в стихах:

«О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней…»

и

«Земле несущий динамит…»

и в прозе:

«Когда Великий Китай двинется на нас…»

(1911 г.).

Три кита, на которых ныне покоится XX век, – Пруст, Джойс и Кафка – еще не существовали как мифы, хотя и были живы как люди.

* * *

В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слыхали[61].

Только раз Н. С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 г.) и я упомянула имя Модильяни, назвал его «пьяным чудовищем» или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно три года, и обоих ждала громкая посмертная слава.

К путешественникам Модильяни относился пренебрежительно. Он считал, что путешествия – это подмена истинного действия. «Les chants de Maldoror»[62] постоянно носил в кармане; тогда эта книга была библиографической редкостью. Рассказывал, как пошел в русскую церковь к пасхальной заутрене, чтобы видеть крестный ход, так как любил пышные церемонии. И как некий, «вероятно очень важный господин» (надо думать – из посольства) похристосовался с ним. Модильяни, кажется, толком не разобрал, что это значит…

Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу… А я услышала о нем очень много…

* * *

В начале нэпа, когда я была членом Правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая, 36, издательство «Всемирная литература»). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла – фотография Модильяни… Крестик… Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он – великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски. Потом, в тридцатых годах, мне много рассказывал о нем Эренбург, который посвятил ему стихи в книге «Стихи о канунах» и знал, что в Париже, позже, чем я. Читала я о Модильяни и у Карко, в книге «От Монмартра до «Латинского квартала», и в бульварном романе, где автор соединил его с Утрилло. С уверенностью могу сказать, что это существо на Амедея десятого-одиннадцатого годов совершенно не похоже, а то, что сделал автор, относится к разряду запрещенных приемов.

Теперь у нас его знают все люди, интересующиеся современным искусством. А за границей он так знаменит, что ему посвящен фильм «Монпарнас, 19».

Болшево, 1958 – Москва, 1964

18 апреля 1964

Листки из дневника [63] (о Мандельштаме)

1

…28 июля 1957 г.

…И смерть Лозинского каким-то образом оборвала нить моих воспоминаний. Я больше не смею вспоминать что-то, что он уже не может подтвердить (о Цехе поэтов, акмеизме, журнале «Гиперборей» и т. д.). Последние годы из-за его болезни мы очень редко встречались, и я не успела договорить с ним чего-то очень важного и прочесть ему мои стихи тридцатых годов (т. е. «Реквием»). Вероятно, потому он в какой-то мере продолжал считать меня такой, какой знал когда-то в Царском. Это я выяснила, когда в 1940 году мы смотрели вместе корректуру сборника «Из шести книг».

……..

Нечто похожее было с Мандельштамом (который, конечно, все мои стихи знал), но по-другому. Он вспоминать не умел, вернее, это был у него какой-то иной процесс, названия которому сейчас не подберу, но несомненно близкий к творчеству. (Пример – Петербург в «Шуме времени», увиденный сияющими глазами пятилетнего ребенка.)

Мандельштам был одним из самых блестящих собеседников: он слушал не самого себя и отвечал не самому себе, как сейчас делают почти все. В беседе был учтив, находчив и бесконечно разнообразен. Я никогда не слышала, чтобы он повторялся или пускал заигранные пластинки. С необычайной легкостью О. Э. выучивал языки. «Божественную комедию» читал наизусть страницами по-итальянски. Незадолго до смерти просил Надю выучить его английскому языку, которого совсем не знал. О стихах говорил ослепительно, пристрастно и иногда бывал чудовищно несправедлив, например, к Блоку. О Пастернаке говорил: «Я так много думал о нем, что даже устал» и «Я уверен, что он не прочел ни одной моей строчки». О Марине: «Я – антицветаевец».

В музыке О. был дома, и это крайне редкое свойство. Больше всего на свете боялся собственной немоты, называя ее удушьем. Когда она настигала его, он метался в ужасе и придумывал какие-то нелепые причины для объяснения этого бедствия. Вторым и частым его огорчением были читатели. Ему постоянно казалось, что его любят не те, кто надо. Он хорошо знал и помнил чужие

стихи, часто влюблялся в отдельные строки, легко запоминая прочитанное ему. Например:

На грязь горячую от топота коней
Ложится белая одежда брата-снега…

(Я помню это только с его голоса. Чье это?) Любил говорить про то, что называл своим «истуканством». Иногда, желая меня потешить, рассказывал какие-то милые пустяки. Например, стих Малларме «La jeune mère allaitant son enfant» он будто бы в ранней юности перевел так: «И молодая мать, кормящая со сна». Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на «Тучке» и хохотали до обморочного состояния, как кондитерские девушки в «Улиссе» Джойса.

Я познакомилась с Мандельштамом на «Башне» Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком, с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, [с пылающими глазами и] с ресницами в полщеки. Второй раз я видела его у Толстых на Старо-Невском, он не узнал меня, и А<лексей> Н<иколаевич> стал его расспрашивать, какая жена у Гумилева, и он показал руками, какая на мне была большая шляпа. Я испугалась, что произойдет что-то непоправимое, и назвала себя.

Это был мой первый Мандельштам, автор зеленого «Камня» (изд. «Акмэ») с такой надписью «АннѢ Ахматовой – вспышки сознанiя в беспамятствѢ дней. Почтительно – Авторъ».

Со свойственной ему прелестной самоиронией Осип любил рассказывать, как старый еврей, хозяин типографии, где печатался «Камень», поздравляя его с выходом книги, пожал ему руку и сказал: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше».

Я вижу его как бы сквозь редкий дым – туман Васильевского острова и в ресторане бывш. «Кинши» (угол Второй линии и Большого проспекта; там теперь парикмахерская), где когда-то, по легенде, Ломоносов пропил казенные часы и куда мы (Гумилев и я) иногда ходили завтракать с «Тучки». Никаких собраний на «Тучке» не бывало и быть не могло. Это была просто студенческая комната Николая Степановича, где и сидеть-то было не на чем. Описания файфоклока на «Тучке» (Георгий Иванов, «Поэты») выдуманы от первого до последнего слова. Н. В. Н<едоброво> не переступал порога «Тучки».

Этот Мандельштам – щедрый сотрудник, если не соавтор «Антологии античной глупости», которую члены Цеха поэтов сочиняли (почти все, кроме меня) за ужином. («Лесбия, где ты была», «Сын Леонида был скуп».

Странник! Откуда идешь? – Я был в гостях у Шилея.
Дивно живет человек, за обедом кушает гуся,
Кнопки ль коснется рукой, – сам зажигается свет.
Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
Странник, ответствуй, молю, кто же живет на Восьмой?)

Помнится, это работа Осипа. Зенкевич того же мнения. Эпиграмма на Осипа:

Пепел на левом плече, и молчи –
Ужас друзей! – Златозуб.

(Это – «Ужас морей – однозуб»).

Это, может быть, даже Гумилев. Куря, Осип всегда стряхивал пепел как бы за плечо, однако на плече обычно нарастала горка пепла.

Может быть, стоит сохранить обрывки сочиненной «Цехом» пародии на знаменитый сонет Пушкина («Суровый Дант не презирал сонета»):

Valère Brussoff не презирал сонета,
Венки из них Иванов заплетал.
Размеры их любил супруг Анеты,
Не плоше ль их Волошин лопотал.

И многие пленялись им поэты,
Кузмин его извощиком избрал,
Когда, забыв воланы и ракеты,
Скакал за Блоком, да не доскакал!

Владимир Нарбут, этот волк заправский,
В метафизический сюртук <его> облек,
И для него Зенкевич пренебрег
Алмазными росинками Моравской.

Вот стихи (триолеты) об этих пятницах (кажется, В. В. Гиппиуса):

1

По пятницам в «Гиперборее»

Расцвет литературных роз.
……
Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
Рукой лаская исполинской
Свое журнальное дитя.

2

У Николая Гумилева
Высоко задрана нога,
Для романтического сева
Разбрасывая жемчуга.
Пусть в Царском громко плачет Лева,
У Николая Гумилева
Высоко задрана нога.

3

Печальным взором и манящим
Глядит Ахматова на всех.
Был выхухолем настоящим
Ее благоуханный мех.
Глядит в глаза гостей молчащих
……
……

4

…Мандельштам Иосиф,
В акмеистическое ландо сев…

Недавно найдены письма О. Э. к Вячеславу Иванову (1909). Это письма участника Проакадемии (по «Башне»). Это Мандельштам-символист. Следов того, что Вяч. Иванов ему отвечал, пока нет. Их писал мальчик 18-ти лет, но можно поклясться, что автору этих писем – сорок. Там же множество стихов. Они хороши, но в них нет того, что мы называем –

Мандельштамом.

Воспоминания сестры Аделаиды Герцык утверждают, что Вяч. Иванов не признавал нас всех. В 1911 году никакого пиетета к Вячеславу Иванову в Мандельштаме не было. Цех бойкотировал «Академию стиха». См., например:

Вячеслав, Чеслав Иванов,
Телом крепкий как орех,
Академию диванов
Колесом пустил на Цех…

Когда в 191 [5] году Вяч. Иванов приехал в Петербург, он был у Сологубов на Разъезжей. Необычайно парадный вечер и великолепный ужин. В гостиной подошел ко мне Мандельштам и сказал: «Мне кажется, что один мэтр – это зрелище величественное, а два – немного смешное».

В десятые годы мы, естественно, всюду встречались: в редакциях, у знакомых, на пятницах в «Гиперборее», т. е. у Лозинского, в «Бродячей собаке», где он, между прочим, представил мне Маяковского, о чем очень потешно рассказывал Харджиеву в 30-х годах. Как-то раз в «Собаке», когда все шумно ужинали и гремели посудой, Маяковский вздумал читать стихи. Осип Эмильевич подошел к нему и сказал: «Маяковский, перестаньте читать стихи. Вы не румынский оркестр». Это было при мне (1912–1913). Остроумный Маяковский не нашелся что ответить. [Встречались и] в «Академии стиха» (Общество ревнителей художественного слова, где царил Вячеслав Иванов) и на враждебных этой «Академии» собраниях Цеха поэтов, где Мандельштам очень скоро стал первой скрипкой. Тогда же он написал таинственное (и не очень удачное) стихотворение про черного ангела на снегу. Надя утверждает, что оно относится ко мне.

С этим черным ангелом дело обстоит, мне думается, довольно сложно. Стихотворение для тогдашнего Мандельштама слабое и невнятное. Оно, кажется, никогда не было напечатано. По-видимому, это результат бесед с Вл. К. Шилейко, который тогда нечто подобное говорил обо мне. Но Осип тогда еще «не умел» (его выражение) писать стихи «женщине и о женщине». «Черный ангел», вероятно, первая проба, и этим объясняется его близость к моим строчкам:

Черных ангелов крылья остры,
Скоро будет последний суд,
И малиновые костры,

Словно розы, в снегу растут.

(«Четки»)

Мне эти стихи Мандельштам никогда не читал. Известно, что беседы с Шилейко вдохновили его на стихотворение «Египтянин».

Гумилев рано и хорошо оценил Мандельштама. Они познакомились в Париже. (См.: конец стихотворения Осипа о Гумилеве. Там говорилось, что Н. Ст. был напудрен и в цилиндре).

Но в Петербурге акмеист мне ближе,
Чем романтический Пьеро в Париже.

Символисты никогда его не приняли.

Приезжал О. Э. и в Царское. Когда он влюблялся, что происходило довольно часто, я несколько раз была его конфиденткой. Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица-художница. Она написала его на синем фоне с закинутой головой (1914, на Алексеевской улице). Анне Михайловне он стихов не писал, на что сам горько жаловался – еще не умел писать любовные стихи. Второй была Цветаева, к которой были обращены крымские и московские стихи; третьей – Саломея Андроникова (Андреева, теперь Гальперн, которую Мандельштам обессмертил в книге «Tristia» – «Когда, Соломинка, не спишь в огромной спальне…». Там был стих: «Что знает женщина одна о смертном часе…». Сравните мое – «Не смертного ль часа жду». Я помню эту великолепную спальню Саломеи на Васильевском острове).

В Варшаву О. Э. действительно ездил, и его там поразило гетто (это помнит и М. А. З.), но о попытке самоубийства его, о которой сообщает Георгий Иванов, даже Надя не слыхивала, как и о дочке Липочке, которую она якобы родила.

В начале революции (1920), в то время, когда я жила в полном уединении и даже с ним не встречалась, он был одно время влюблен в актрису Александрийского театра Ольгу Арбенину, ставшую женой Ю. Юркуна, и писал ей стихи («За то, что я руки твои…» и т. д.). Рукописи якобы пропали во время блокады, однако я недавно видела их у Х.

Замечательные стихи обращены к Ольге Ваксель и к ее тени – «В холодной стокгольмской постели…» Ей же: «Хочешь, валенки сниму».

Всех этих дореволюционных дам (боюсь, что, между прочим,

и меня) он через много лет назвал «нежными европеянками»:

> И от красавиц тогдашних, от тех европеянок нежных,
> Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

В 1933–34 гг. Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение «Турчанка» (заглавие мое), на мой взгляд, лучшее любовное стихотворение 20 века («Мастерица виноватых взоров…»). Мария Сергеевна говорит, что было еще одно совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, по-видимому, пропала. Несколько строк М. С. знает на память.

Надеюсь, можно не напоминать, что этот донжуанский список не означает перечня женщин, с которыми Мандельштам был близок.

Дама, которая «через плечо поглядела», – это так называемая Бяка (Вера Артуровна), тогда подруга жизни С. Ю. Судейкина, а ныне супруга Игоря Стравинского.

В Воронеже Осип дружил с Наташей Штемпель.

Легенда о его увлечении Анной Радловой ни на чем не основана.

> Архистратиг вошел в иконостас…
> В ночной тиши запахло валерьяном[64].
> Архистратиг мне задает вопросы,
> К чему тебе …. косы
> И плеч твоих сияющий атлас… –

т. е. пародию на стихи Радловой – он сочинил из веселого зловредства, а не par dépit[65] и с притворным ужасом где-то в гостях шепнул мне: «Архистратиг дошел!», т. е. Радловой кто-то сообщил об этом стихотворении.

Десятые годы – время очень важное в творческом пути Мандельштама, и об этом еще будут много думать и писать. (Виллон, Чаадаев, католичество…) О его контакте с группой «Гилея» – см. воспоминания Зенкевича.

Как воспоминание о пребывании Осипа в Петербурге в 1920 г., кроме изумительных стихов к О. Арбениной, остались еще живые, выцветшие, как наполеоновские знамена, афиши того времени – о вечерах поэзии, где имя Мандельштама стоит рядом с Гумилевым и Блоком.

Все старые петербургские вывески были еще на своих местах,

но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В Гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов. Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон «Крафта» еще пахло шоколадом. Все кладбища были разгромлены. Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность. Но стихи люди любили (главным образом, молодежь), почти так же, как сейчас, т. е. в 1964 г.

В Царском, тогда – «Детское имени товарища Урицкого», почти у всех были козы; их почему-то всех звали Тамарами.

[Царское в 20-х годах представляло собою нечто невообразимое. Все заборы были сожжены. Над открытыми люками водопровода стояли ржавые кровати из лазаретов Первой войны, улицы заросли травой, гуляли и орали петухи всех цветов… На воротах недавно великолепного дома гр. Стенбок-Фермора красовалась огромная вывеска: Случной пункт. Но на Широкой так же терпко пахли по осеням дубы – свидетели моего детства, и вороны на соборных крестах кричали то же, что я слушала, идя по соборному скверу в гимназию, и статуи в парках глядели, как в 10-х годах. В оборванных и страшных фигурах я иногда узнавала царскоселов. Гостиный двор был закрыт.

Все каменные циркули да лиры… –

мне всю жизнь кажется, что Пушкин это про Царское сказал. И еще потрясающее:

В великолепный мрак чужого сада –

самая дерзкая строчка из когда-нибудь прочитанных или услышанных мной (однако неплохо и «священный сумрак»)].

Набросок с натуры

Что же касается стихотворения «Вполоборота», история его такова. В январе 1914 г. Пронин устроил большой вечер «Бродячей собаки» не в подвале у себя, а в каком-то большом зале на Конюшенной. Обычные посетители терялись там среди множества «чужих» (т. е. чуждых всякому искусству) людей. Было жарко, людно, шумно и довольно бестолково. Нам это наконец надоело, и мы (человек 20–30) пошли в «Собаку» на Михайловской площади. Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из залы стали просить меня почитать стихи. Не меняя позы, я что-то прочла. Подошел Осип: «Как вы стояли, как вы читали» и еще что-то про шаль (см. о Мандельштаме в воспоминаниях В. С. Срезневской). Таким же наброском с натуры было четверостишие «Черты лица искажены». Я была с Мандельштамом на Царскосельском вокзале (10-е годы). Он смотрел, как я говорю по телефону, через стекло кабины. Когда я вышла, он прочел мне эти четыре строки.

О цехе поэтов

Мандельштам довольно усердно посещал собрания «Цеха», но в зиму 1913/14 (после разгрома акмеизма) мы стали тяготиться «Цехом» и даже дали Городецкому и Гумилеву составленное Осипом и мною Прошение о закрытии «Цеха». Городецкий наложил резолюцию: «Всех повесить, а Ахматову заточить – (Малая, 63)». Было это в редакции «Северных записок».

Собрания Цеха поэтов с ноября 1911 по апрель 1912 (т. е. наш отъезд в Италию): приблизительно 15 собраний (по три в месяц). С октября 1912 по апрель 1913 – приблизительно десять собраний (по два в месяц). (Неплохая пожива для «Трудов и Дней», которыми, кстати сказать, кажется, никто не занимается.) Повестки рассылала я (секретарь?!); Лозинский сделал для меня список адресов членов «Цеха». (Этот список я давала японцу Наруми в 30-х годах.) На каждой повестке было изображение лиры. Она же на обложке моего «Вечера», «Дикой порфиры» Зенкевича и «Скифских черепков» Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой.

Цех поэтов 1911–1914

Гумилев, Городецкий – синдики; Дмитрий Кузьмин-Караваев – стряпчий; Анна Ахматова – секретарь; Осип Мандельштам, Вл. Нарбут, М. Зенкевич, Н. Бруни, Георгий Иванов, Адамович, Вас. Вас. Гиппиус, М. Моравская, Ел. Кузьмина-Караваева, Чернявский, М. Лозинский. Первое собрание у Городецких на Фонтанке: был Блок, французы… Второе – у Лизы на Манежной площади, потом у нас в Царском (Малая, 63), у Лозинского на Васильевском острове, у Бруни в Ак. Художеств. Акмеизм был решен у нас в Царском Селе (Малая, 63).

2

Революцию Мандельштам встретил вполне сложившимся и уже, хотя и в узком кругу, известным поэтом.

[Душа его была полна всем, что свершилось].

Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово народ не случайно фигурирует в его стихах.

Особенно часто я встречалась с Мандельштамом в 1917–18 гг., когда жила на Выборгской у Срезневских (Боткинская, 9) – не в сумасшедшем доме, а в квартире старшего врача Вяч. Вяч. Срезневского, мужа моей подруги Валерии Сергеевны.

Мандельштам часто заходил за мной, и мы ехали на извозчике по невероятным ухабам революционной зимы, среди знаменитых костров, которые горели чуть ли не до мая, слушая неизвестно откуда несущуюся ружейную трескотню. так мы ездили на выступления в Академию Художеств, где происходили вечера в пользу раненых и где мы оба несколько раз выступали. Был со мной О. Э. на концерте Бутомо-Незвановой в Консерватории, где она пела Шуберта (см. «Нам пели Шуберта…»). К этому времени относятся все обращенные ко мне стихи: «Я не искал в цветущие мгновенья…» (декабрь 1917 г.), «Твое чудесное произношенье…»; ко мне относится странное, отчасти сбывшееся предсказание:

Когда-нибудь в столице шалой,
На диком празднике у берега Невы,
Под звуки омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы…

А следующее – «Что поют часы-кузнечик (это мы вместе топили печку; у меня жар – я мерю температуру). // Лихорадка шелестит, // И шуршит сухая печка, // Это красный шелк горит…»

Кроме того, ко мне в разное время обращены четыре четверостишия:

1. «Вы хотите быть игрушечной…» (1911 г.).
2. «Черты лица искажены…» (10-е годы).
3. «Привыкают к пчеловоду пчелы…» (30-е годы).
4. «Знакомства нашего на склоне…» (30-е годы).

После некоторых колебаний решаюсь вспомнить в этих записках, что мне пришлось объяснить Осипу, что нам не следует так часто встречаться, что это может дать людям материал для превратного толкования наших отношений.

После этого, примерно в марте, Мандельштам исчез. [Однако тогда все вокруг было так раздрызгано, бесформенно, – кто-то исчезал навсегда, кто-то не навсегда, и всем казалось, что они почему-то на периферии, – конечно, не в теперешнем значении этого слова, – а центра-то и не было (наблюдение Лозинского), – что исчезновение Осипа Эмильевича меня не удивило.

О. М. в 3-м Зачатьевском].

В Москве Мандельштам становится постоянным сотрудником «Знамени труда». Таинственное стихотворение «Телефон», возможно, относится к этому времени:

На этом диком страшном свете
Ты, друг полночных похорон,
В высоком строгом кабинете
Самоубийцы – телефон!

Асфальта черные озера
Изрыты яростью копыт,
И скоро будет солнце: скоро
Безумный петел прокричит.

А там дубовая Валгалла
И старый пиршественный сон;
Судьба велела, ночь решала,
Когда проснулся телефон.

Весь воздух выпили тяжелые портьеры,
На театральной площади темно,
Звонок – и закружились сферы:

Самоубийство решено.

Куда бежать от жизни гулкой,
От этой каменной уйти?
Молчи, проклятая шкатулка!
На дне морском цветет: прости!
И только голос, голос-птица
Летит на пиршественный сон.
Ты – избавленье и зарница
Самоубийства – телефон!

<Москва. Июнь 1918>

Снова и совершенно мельком я видела Мандельштама в Москве осенью 1918 года. В 1920 году он раз или два приходил ко мне на Сергиевскую (в Петербурге), когда я работала в библиотеке Агрономического института и там жила [особняк кн. Волконского. Там у меня была «казенная» квартира]. Тогда я узнала, что в Крыму он был арестован белыми, в Тифлисе – меньшевиками. В 1920 г. О. М. пришел ко мне на Сергиевскую, 7, чтобы сказать о смерти Н. В. Н<едоброво> в Ялте, в декабре 1919 г. Он узнал об этом несчастии в Коктебеле у Волошина. И *никогда никто* больше не мог сообщить мне никаких подробностей. Вот какое было время!

Летом 1924 года О. М. привел ко мне (Фонтанка, 2) свою молодую жену. Надюша была то, что французы называют laide mais charmante[66]. С этого дня началась моя дружба с Надюшей, и продолжается она по сей день.

Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно. Когда ей резали аппендикс в Киеве, он не выходил из больницы и все время жил в каморке у больничного швейцара. Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах. Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела. Сохранившиеся письма Мандельштама к жене полностью подтверждают это мое впечатление.

В 1925 году я жила с Мандельштамами в одном коридоре в пансионе Зайцева в Царском Селе. И Надя, и я были тяжело больны, лежали, мерили температуру, которая была неизменно повышенной, и, кажется, так и не гуляли ни разу в парке, который был рядом. О. Э. каждый день уезжал в Ленинград, пытаясь наладить работу, получить за что-то деньги. Там он прочел мне совершенно по секрету стихи к О. Вексель, которые я запомнила и так же по секрету записала («Хочешь, валенки сниму…»). Там он

диктовал П. Н. Л<укницкому> свои воспоминания о Гумилеве.

Одну зиму Мандельштамы (из-за Надиного здоровья) жили в Царском Селе, в Лицее. Я была у них несколько раз – приезжала кататься на лыжах. Жить они хотели в полуциркуле Большого дворца, но там дымили печки или текли крыши. Таким образом возник Лицей. Жить там Осипу не нравилось. Он люто ненавидел так называемый царскосельский сюсюк Голлербаха и Рождественского и спекуляцию на имени Пушкина. К Пушкину у Мандельштама было какое-то небывалое, почти грозное отношение – в нем мне чудится какой-то венец сверхчеловеческого целомудрия. Всякий пушкинизм был ему противен. О том, что *«Вчерашнее солнце на черных носилках несут»* – Пушкин, ни я, ни даже Надя не знали, и это выяснилось только теперь из черновиков (50-е годы).

Мою «Последнюю сказку» – статью о «Золотом петушке» – он сам взял у меня на столе, прочел и сказал: «Прямо – шахматная партия».

Сияло солнце Александра
Сто лет тому назад, сияло всем

(декабрь 1917 г.), –

конечно, тоже Пушкин. (Так он передает мои слова.)

[Вообще же темы «Мандельштам в Царском Селе» – нет и не должно быть. Это был корм не для него].

Была я у Мандельштамов и летом в Китайской деревне, где они жили с Лившицами. В комнатах абсолютно не было никакой мебели и зияли дыры прогнивших полов. Для О. Э. нисколько не было интересно, что там когда-то жили и Жуковский, и Карамзин. Уверена, что он нарочно, приглашая меня вместе с ними идти покупать папиросы или сахар, говорил: «Пойдем в европейскую часть города», будто это Бахчисарай или что-то столь же экзотическое. То же подчеркнутое невнимание в строке – «Там улыбаются уланы». В Царском сроду уланов не было, а были гусары, желтые кирасиры и конвой.

В 1928 году Мандельштамы были в Крыму. Вот письмо Осипа от 25 августа (день смерти Н. С. <Гумилева>):

«Дорогая Анна Андреевна,

пишем Вам с П. Н. Лукницким из Ялты, где все трое ведем суровую трудовую жизнь.

Хочется домой, хочется видеть Вас. Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу

только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется.

В Петербург мы вернемся ненадолго в октябре. Зимовать там Наде не велено. Мы уговорили П.Н. остаться в Ялте из эгоистических соображений. Напишите нам.

Ваш О. Мандельштам»

Юг и море были ему почти так же необходимы, как Надя.

(На вершок бы мне синего моря
На игольное только ушко…)

Попытки устроиться в Ленинграде были неудачными. Надя не любила все, связанное с этим городом, и тянулась в Москву, где жил ее любимый брат Евгений Яковлевич Хазин. Осипу казалось, что его кто-то знает, кто-то ценит в Москве, а было как раз наоборот. В этой биографии поражает меня одна частность: в то время (в 1933 г.) как О. Э. встречали в Ленинграде как великого поэта, persona grata и т. п., к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград (Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский) и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще и сейчас (1962), в Москве никто не хотел его знать и, кроме двух-трех молодых и неизвестных ученых-естественников, О. Э. ни с кем не дружил. (Знакомство с Белым было коктебельского происхождения.) Пастернак как-то мялся, уклонялся, любил только грузин и их «красавиц-жен». Союзное начальство вело себя подозрительно сдержанно.

Из ленинградских литературоведов всегда хранили верность Мандельштаму – Лидия Яковлевна Гинзбург и Борис Яковлевич Бухштаб – великие знатоки поэзии Мандельштама. Следует в этой связи не забывать и Цезаря Вольпе, который, несмотря на запрещение цензуры, напечатал в «Звезде» конец «Путешествия в Армению» (подражание древнеармянскому).

Из писателей-современников Мандельштам высоко ценил Бабеля и Зощенко. Михаил М<ихайлович> знал это и очень этим гордился. Больше всего М. почему-то ненавидел Леонова.

Кто-то сказал, что Н. Ч<уковск>ий написал роман. Осип отнесся к этому недоверчиво. Он сказал, что для романа нужна по крайней мере каторга Достоевского или десятины Льва Толстого. [В 30-х годах в Ленинграде О. М., встретив Федина где-то в

редакции, сказал ему: «Ваш роман («Похищение Европы») – голландское какао на резиновой подошве, а резина-то советская» (рассказал в тот же день)].

Осенью 1933 года Мандельштам наконец получил (воспетую им) квартиру (две комнаты, пятый этаж, без лифта; газовой плиты и ванны еще не было) в Нащокинском переулке («Квартира тиха, как бумага…»), и бродячая жизнь как будто кончилась. Там впервые у Осипа завелись книги, главным образом, старинные издания итальянских поэтов (Данте, Петрарка). На самом деле ничего не кончилось. Все время надо было куда-то звонить, чего-то ждать, на что-то надеяться. И никогда из всего этого ничего не выходило. О. Э. был врагом стихотворных переводов. Он при мне на Нащокинском говорил Пастернаку: «Ваше полное собрание сочинений будет состоять из двенадцати томов переводов и одного тома ваших собственных стихотворений». Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, и заставить его переводить было почти невозможно. Кругом завелось много людей, часто довольно мутных и почти всегда ненужных. Несмотря на то что время было сравнительно вегетарианское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме. Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 года), о чем говорили – не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: «Я к смерти готов». Вот уже 28 лет я вспоминаю эту минуту, когда проезжаю мимо этого места.

Я довольно долго не видела Осипа и Надю. В 1933 году Мандельштамы приехали в Ленинград, по чьему-то приглашению. Они остановились в Европейской гостинице. У Осипа было два вечера. Он только что выучил итальянский язык и бредил Дантом, читая наизусть страницами. Мы стали говорить о «Чистилище», и я прочла кусок из XXX песни (явление Беатриче):

Sopra candido vel cinta d’oliva
Donna m’apparve, sotto verde manto,
Vestita di color di fiamma viva.
……
…….. «Men che dramma
Di sangue m’e rimaso non tremi:
Conosco i segni dell» antica fiamma»[67]

(Цитирую по памяти).

Осип заплакал. Я испугалась – «что такое?» – «Нет, ничего, только эти слова и вашим голосом». Не моя очередь вспоминать об этом. Если Надя хочет, пусть вспоминает.

Осип читал мне на память отрывки из стихотворения Н. Клюева: «Хулители искусства» – причину гибели несчастного Николая Алексеевича. Я своими глазами видела у Варвары Клычковой заявление Клюева (из лагеря, о помиловании): «Я, осужденный за мое стихотворение «Хулители искусства» и за безумные строки моих черновиков…» (Оттуда я взяла два стиха как эпиграф «Решки».)

Когда я что-то неодобрительно говорила о Есенине, Осип возражал, что может простить Есенину что угодно за строку: «Не расстреливал несчастных по темницам».

Жить, в общем, было не на что: какие-то полупереводы, полурецензии, полуобещания. Пенсии едва хватало, чтобы заплатить за квартиру и выкупить паек. К этому времени Мандельштам внешне очень изменился: отяжелел, поседел, стал плохо дышать – производил впечатление старика (ему было сорок два года), но глаза по-прежнему сверкали. Стихи становились все лучше, проза тоже.

[На днях перечитывая (не открывала книгу с 1928 г.) «Шум времени», я сделала неожиданное открытие. Кроме всего высокого и первозданного, что сделал ее автор в поэзии, он еще умудрился быть последним бытописателем Петербурга – точным, ярким, беспристрастным, неповторимым. У него эти полузабытые и многократно оболганные улицы возникают во всей свежести 90-х и 900-х годов. Мне скажут, что он писал всего через пять лет после Революции, в 1923 г., что он долго отсутствовал, а отсутствие лучшее лекарство от забвения (объяснить потом), лучший же способ забыть навек – это видеть ежедневно. (Так я забыла Фонтанный Дом, в котором прожила 35 лет). А его театр, а Комиссаржевская, про которую он не говорит последнее слово: королева модерна; а Савина – барыня, разомлевшая после Гостиного двора; а запахи Павловского вокзала, которые преследуют меня всю жизнь. А все великолепие военной столицы, увиденное сияющими глазами пятилетнего ребенка, а чувство иудейского хаоса и недоумение перед человеком в шапке (за столом)…

Иногда эта проза звучит как комментарии к стихам, но нигде Мандельштам не подает себя как поэта, и, если не знать его стихов, не догадаешься, что это проза поэта. Все, о чем он пишет в «Шуме времени», лежало в нем где-то очень глубоко – он никогда этого не рассказывал, брезгливо относился к мирискусническому любованию старым (и не старым) Петербургом.

Кроме того, очень интересны подробности политических манифестаций у Казанского собора, которые свидетельствуют об очень пристальном внимании к этим событиям и заставляют

вспомнить о том, что сам Осип сообщил для помещения в книгу «Писатели советской эпохи» (цитата)].

Эта проза, такая неуслышанная, забытая, только сейчас начинает доходить до читателя. Но зато я постоянно слышу, главным образом от молодежи, которая от нее с ума сходит, что во всем 20-м веке не было такой прозы, Это – так называемая «Четвертая проза».

Я очень запомнила один из наших тогдашних разговоров о поэзии. О. Э., который очень болезненно переносил то, что сейчас называют культом личности, сказал мне: «Стихи сейчас должны быть гражданскими» и прочел «Под собой мы не чуем…» Примерно тогда же возникла его теория «знакомства слов». Много позже он утверждал, что стихи пишутся только как результат сильных потрясений, как радостных, так и трагических. О своих стихах, где он хвалит Сталина: «Мне хочется сказать не Сталин – Джугашвили» (1935), он сказал мне: «Я теперь понимаю, что это была болезнь».

Когда я прочла Осипу мое стихотворение «Уводили тебя на рассвете» (1935), он сказал: «Благодарю вас». Стихи эти в «Реквиеме» относятся к аресту Н. Н. П<унина> в 1935 году.

На свой счет Мандельштам принял (справедливо) и последний стих в стихотворении «Немного географии» («Не столицею европейской…»):

> Он, воспетый первым поэтом,
> Нами грешными – и *тобой*.

13 мая 1934 года его арестовали. В этот самый день я после града телеграмм и телефонных звонков приехала к Мандельштамам из Ленинграда (где незадолго до этого произошло его столкновение с Толстым). Мы все были тогда такими бедными, что для того, чтобы купить билет обратно, я взяла с собой мой орденский знак Обезьяньей Палаты, последний, данный Ремизовым в России (мне принесли его уже после бегства Ремизова – 1921 г.), и статуэтку работы Данько (мой портрет, 1924 г.) для продажи. (Их купила С. Толстая для музея Союза писателей.)

Ордер на арест был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел «Волка» («За гремучую доблесть грядущих веков…») и показал О. Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в семь утра. Было совсем светло. Надя

пошла к брату, я – к Чулковым на Смоленский бульвар, 8, и мы условились где-то встретиться. Вернувшись домой вместе, убрали квартиру, сели завтракать. Опять стук, опять они, опять обыск. Евг. Як. Хазин сказал: «Если они придут еще раз, то уведут вас с собой». Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в «Известия» к Бухарину, я – в Кремль к Енукидзе. (Тогда проникнуть в Кремль было почти чудом. Это устроил актер (Театра имени Е. Б. Вахтангова) Русланов, через секретаря Енукидзе.) Енукидзе был довольно вежлив, но сразу спросил: «А может быть, какие-нибудь стихи?» Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку. Приговор – три года Чердыни, где Осип выбросился из окна больницы, потому что ему казалось, что за ним пришли (см. «Стансы», строфа 4-я), и сломал себе руку. Надя послала телеграмму в ЦК. Сталин велел пересмотреть дело и позволил выбрать другое место. Потом звонил Пастернаку. Остальное слишком известно.

Вместе с Пастернаком я была и у Усиевич, где мы застали и союзное начальство, и много тогдашней марксистской молодежи. Была у Пильняка, где видала Балтрушайтиса, Шпета и С. Прокофьева. Навестить Надю из мужчин пришел один Перец Маркиш.

(А в это время бывший синдик Цеха поэтов Сергей Городецкий, выступая где-то, произнес следующую бессмертную фразу: «Это строки той Ахматовой, которая ушла в контрреволюцию», – так что даже в «Лит. газете», которая напечатала отчет об этом собрании, подлинные слова оратора были смягчены (см. «Лит. газету» 1934 года, май).

Б<ухарин> в конце своего письма к Сталину написал: «И П<астернак> тоже волнуется». Сталин сообщил, что отдано распоряжение, что с Мандельштамом будет все в порядке. Он спросил Пастернака, почему тот не хлопотал. «Если б мой друг поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Пастернак ответил, что если бы он не хлопотал, то Сталин бы не узнал об этом деле. «Почему вы не обратились ко мне или в писательские организации?» – «Писательские организации не занимаются этим с 1927 года». – «Но ведь он ваш друг?» Пастернак замялся, и С<талин> после недолгой паузы продолжил вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Это не имеет значения»… Б. Л. думал, что С<талин> его проверяет, знает ли он про стихи, и этим он объяснил свои шаткие ответы.

…«Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить». – «О чем?» – «О жизни и смерти». Сталин повесил трубку.

Надя никогда не ходила к Борису Леонидовичу и ни о чем его не молила, как пишет Роберт Пейн. Эти сведения идут от Зины, которая знаменита бессмертной фразой: мои мальчики (сыновья) больше всего любят Сталина – потом маму. Женщин в тот день приходило много. Мне запомнилось, что они были красивые и очень нарядные, в свежих весенних платьях: еще не тронутая бедствиями Сима Нарбут, красавица «пленная турчанка» (как мы ее прозвали) – жена Зенкевича; яснoокая, стройная и необыкновенно спокойная Нина Ольшевская. А мы с Надей сидели в мятых вязанках, желтые и одеревеневшие. С нами были Эмма Герштейн и брат Нади.

Через пятнадцать дней, рано утром, Наде позвонили и предложили, если она хочет ехать с мужем, быть вечером на Казанском вокзале. Все было кончено, Нина Ольшевская и я пошли собирать деньги на отъезд. Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку все содержимое своей сумочки.

На вокзал мы поехали с Надей вдвоем. Заехали на Лубянку за документами. День был ясный и светлый. Из каждого окна на нас глядели тараканьи усища «виновника торжества». Осипа очень долго не везли. Он был в таком состоянии, что даже они не могли посадить его в тюремную карету. Мой поезд (с Ленинградского вокзала) уходил, и я не дождалась. Братья, т. е. Евгений Яковлевич Хазин и Александр Эмильевич Мандельштам, проводили меня, вернулись на Казанский вокзал, и только тогда привезли Осипа, с которым уже не было разрешено общаться. Очень плохо, что я его не дождалась и он меня не видел, потому что от этого ему в Чердыни стало казаться, что я непременно погибла. (Ехали они под конвоем читавших Пушкина «славных ребят из железных ворот ГПУ».)

В это время шла подготовка к первому съезду писателей (1934 г.), мне тоже прислали анкету для заполнения. Арест Осипа произвел на меня такое впечатление, что у меня рука не поднялась, чтобы заполнить анкету. На этом съезде Бухарин объявил первым поэтом Пастернака (к ужасу Д. Бедного), обругал меня и, вероятно, не сказал ни слова об Осипе.

В феврале 1936 года я была у Мандельштамов в Воронеже и узнала все подробности его «дела». Он рассказал мне, как в припадке умоисступления бегал по Чердыни и разыскивал мой расстрелянный труп, о чем громко говорил кому попало, а арки в честь челюскинцев считал поставленными в честь своего приезда.

Пастернак и я ходили к очередному верховному прокурору просить за Мандельштама, но тогда уже начался террор, и все было напрасно.

Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен.

И в голосе моем после удушья
Звучит земля – последнее оружье…

Вернувшись от Мандельштамов, я написала стихотворение «Воронеж». Вот его конец:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед,

И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

О себе в Воронеже Осип говорил: «Я по природе ожидальщик. Оттого мне здесь еще труднее».

В начале 20-х годов (1922) Мандельштам дважды очень резко нападал на мои стихи в печати («Русское искусство», № № 1, 2–3). Этого мы с ним никогда не обсуждали. Но и о своем славословии моих стихов он тоже не говорил, и я прочла его только теперь (рецензия на «Альманах Муз» (1916) и «Письмо о русской поэзии», 1922, Харьков).

Там (в Воронеже) его, с не очень чистыми побуждениями, заставили прочесть доклад об акмеизме. Не должно быть забыто, что он сказал в 1937 году: «Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых». На вопрос, что такое акмеизм, Мандельштам ответил: «Тоска по мировой культуре».

В Воронеже при Мандельштаме был Сергей Борисович Рудаков, который, к сожалению, оказался совсем не таким уж хорошим, как мы думали. Он, очевидно, страдал какой-то разновидностью мании величия, если ему казалось, что стихи пишет не Осип, а он – Рудаков. Рудаков убит на войне, и не хочется подробно описывать его поведение в Воронеже. Однако все идущее от него надо принимать с великой осторожностью.

Все, что пишет о Мандельштаме в своих бульварных мемуарах «Петербургские зимы» Георгий Иванов, который уехал из России в самом начале двадцатых годов и зрелого Мандельштама вовсе не знал, – мелко, пусто и несущественно. Сочинение таких мемуаров дело немудреное. Не надо ни памяти, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи[68]. Все годится и все приемлется с благодарностью невзыскательными потребителями.

Хуже, конечно, что это иногда попадает в серьезные литературоведческие труды. Вот что сделал Леонид Шацкий (Страховский) с Мандельштамом: у автора под рукой две-три книги достаточно «пикантных» мемуаров («Петербургские зимы» Г. Иванова, «Полутораглавый стрелец» Бен. Лившица, «Портреты русских поэтов» Эренбурга, 1922). Эти книги использованы полностью. Материальная часть черпается из очень раннего справочника Козьмина «Писатели современной эпохи» (М. 1928). Затем из сборника Мандельштама «Стихотворения» (1928) извлекается стихотворение «Музыка на вокзале» (точнее, «Концерт на вокзале») – даже не последнее по времени в этой книге. Оно объявляется вообще последним произведением поэта. Дата смерти устанавливается произвольно – 1945 г. (на семь лет позже действительной смерти – 27 декабря 1938 года). То, что в ряде журналов и газет печатались стихи Мандельштама, хотя бы великолепный цикл «Армения» в «Новом мире» в 1930 г., Шацкого нисколько не интересует. Он очень развязно объявляет, что на стихотворении «Музыка на вокзале» Мандельштам кончился, перестал быть поэтом, сделался жалким переводчиком, опустился, бродил по кабакам и т. д. Это уже, вероятно, устная информация какого-нибудь парижского Георгия Иванова.

И вместо трагической фигуры редкостного поэта, который и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи, мы имеем «городского сумасшедшего», проходимца, опустившееся существо. И все это в книге, вышедшей под эгидой лучшего, старейшего и т. п. университета Америки (Гарвардского), с чем и поздравляем от всей души лучший, старейший университет Америки.

Чудак? Конечно, чудак! Он, например, выгнал молодого поэта, который пришел жаловаться, что его не печатают. Смущенный юноша спускался по лестнице, а Осип стоял на верхней площадке и кричал вслед: «А Андрея Шенье печатали? А Сафо печатали? А Иисуса Христа печатали?»

С. Липкин и А. Тарковский и посейчас охотно повествуют, как Мандельштам ругал их юные стихи.

Артур Сергеевич Лурье, который близко знал Мандельштама и который очень достойно написал об отношении О. М. к музыке, рассказывал мне (10-е годы), что как-то шел с Мандельштамом по Невскому и они встретили невероятно великолепную даму. Осип находчиво предложил своему спутнику: «Отнимем у нее все это и отдадим Анне Андреевне» (точность можно еще проверить у Лурье).

Очень ему не нравилось, когда молодые женщины любили «Четки». Рассказывают, что он как-то был у Катаевых и приятно

беседовал с красивой женой хозяина дома. Под конец ему захотелось проверить вкус дамы, и он спросил ее: «Вы любите Ахматову?», на что та, естественно, ответила: «Я ее не читала», после чего гость пришел в ярость, нагрубил и в бешенстве убежал. Мне он этого не рассказывал.

Зимой в 1933–34 гг., когда я гостила у Мандельштамов на Нащокинском в феврале 1934 г., меня пригласили на вечер Булгаковы. Осип волновался: «Вас хотят сводить с московской литературой!» Чтобы его успокоить, я неудачно сказала: «Нет, Булгаков сам изгой. Вероятно, там будет кто-нибудь из МХАТа». Осип совсем рассердился. Он бегал по комнате и кричал: «Как оторвать Ахматову от МХАТа?»

Однажды Надя привезла Осипа встречать меня на вокзал. Он встал рано, озяб, был не в духе. Когда я вышла из вагона, сказал мне: «Вы приехали со скоростью Анны Карениной».

Комнатку (будущую кухню), где я у них жила, Осип прозвал – Капище. Свою называл Запястье (потому что в первой комнате жил Пяст). А Надю называл Маманас (наша мама). Почему мемуаристы известного склада (Шацкий-Страховский, Э. Миндлин, С. Маковский, Г. Иванов, Бен. Лившиц) так бережно и любовно собирают и хранят любые сплетни, вздор, главным образом обывательскую точку зрения на поэта, а не склоняют голову перед таким огромным и ни с чем не сравнимым событием, как явление поэта, первые же стихи которого поражают совершенством и ниоткуда не идут?

У Мандельштама нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама!

В мае 1937 года Мандельштамы вернулись в Москву, «к себе» в Нащокинский. Я в это время гостила у Ардовых в том же доме. Осип был уже больным, много лежал. Прочел мне все свои новые стихи, но переписывать не давал никому. Много говорил о Наташе (Штемпель), с которой дружил в Воронеже. (К ней обращены два стихотворения: «Клейкой клятвой пахнут почки…» и «К пустой земле невольно припадая…».)

Уже год как, все нарастая, вокруг бушевал террор. Одна из двух комнат Мандельштамов была занята человеком, который писал на них ложные доносы, и скоро им стало нельзя даже показываться в этой квартире. Разрешения остаться в столице Осип не получил. Х. сказал ему: «Вы слишком нервный». Работы не было. Они приезжали из Калинина и сидели на бульваре. Это,

вероятно, тогда Осип говорил Наде: «Надо уметь менять профессию. Теперь мы – нищие» и «Нищим летом всегда легче».

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.

Последнее стихотворение, которое я слышала от Осипа, – «Как по улицам Киева-Вия…» (1937). Это было так. Мандельштамам было негде ночевать. Я оставила их у себя (в Фонтанном Доме). Постелила Осипу на диване. Зачем-то вышла, а когда вернулась, он уже засыпал, но очнулся и прочел мне стихи. Я повторила их. Он сказал: «Благодарю вас» и заснул. В это время в Шереметевском доме был так называемый «Дом занимательной науки». Проходить к нам надо было через это сомнительное заведение. Осип озабоченно спросил меня: «А может быть, есть другой занимательный выход?»

В то же время мы с ним одновременно читали «Улисса» Джойса. Он – в хорошем немецком переводе, я – в подлиннике. Несколько раз мы принимались говорить об «Улиссе», но было уже не до книг.

Так они прожили год. Осип был уже тяжело болен, но он с непонятным упорством требовал, чтобы в Союзе писателей устроили его вечер. Вечер был даже назначен, но, по-видимому, «забыли» послать повестки, и никто не пришел. О. Э. по телефону приглашал Асеева. Тот ответил: «Я иду на «Снегурочку». А Сельвинский, когда Мандельштам попросил у него, встретившись на бульваре, денег, дал три рубля.

В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они – он и Надя – приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ними, не помню, куда. Все было как в страшном сне. Кто-то, пришедший после меня, сказал, у отца Осипа Эмильевича (у «деда») нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу.

Мой сын говорит, что ему во время следствия читали показания О. Э. о нем и обо мне и что они были безупречны. Многие ли наши современники, увы, могут сказать это о себе?..

Второй раз его арестовали 2 мая 1938 года в нервном санатории около станции Черустье (в разгаре террора). В это время мой сын сидел на Шпалерной уже два месяца (с 10 марта).

О пытках все говорили громко. Надя приехала в Ленинград. У нее были страшные глаза. Она сказала: «Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер».

В начале 1939 года я получила короткое письмо от московской приятельницы (Эммы Григорьевны Герштейн): «У подружки Лены (Осмеркиной) родилась девочка, а подружка Надюша овдовела», – писала она.

От Осипа было всего одно письмо (брату Александру) из того места, где он умер. Письмо у Нади. Она показала мне его. «Где моя Надинька?» – писал Осип и просил теплые вещи. Посылку послали. Она вернулась, не застав его в живых.

Настоящим другом Нади все эти очень для нее трудные годы была Василиса Георгиевна Шкловская и ее дочь Варя.

Сейчас Осип Мандельштам – великий поэт, признанный всем миром. О нем пишут книги – защищают диссертации. Быть его другом – честь, врагом – позор. Готовят академическое издание его произведений. Находка одного его письма – событие.

Для меня он не только великий поэт, но и человек, который, узнав (вероятно, от Нади), как мне плохо в Фонтанном Доме, сказал мне, прощаясь, – это было на Московском вокзале в Ленинграде: «Аннушка (он никогда в жизни не называл меня так), всегда помните, что мой дом – ваш». Это могло быть только перед самой гибелью…

8 июля 1963

Комарово

Письма

С. В. Фон Штейну

1

<1906>

Мой дорогой Сергей Владимирович,

простите и Вы меня, я в тысячу раз более виновата в этой глупой истории, чем Вы.

Ваше письмо бесконечно обрадовало меня, и я буду очень счастлива возвратиться к прежним отношениям, тем более что более одинокой, чем я, даже быть нельзя.

Мой кузен Шутка называет мое настроение «неземным равнодушием», и мне кажется, что он-то совсем не равнодушен, и, на горе мое, ко мне.

Все это, впрочем, скучная чепуха, о которой так не хочется думать.

Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак или едут в театр, и я слушаю тишину в темной гостиной. Я всегда думаю о прошлом, оно такое большое и яркое. Ко мне здесь все очень хорошо относятся, но я их не люблю.

Слишком мы разные люди. Я все молчу и плачу, плачу и молчу. Это, конечно, находят странным, но так как других недостатков я не имею, то пользуюсь общим расположением.

С августа месяца я день и ночь мечтала поехать на Рожество в Царское к Вале, хоть на три дня. Для этого я, собственно говоря, жила все это время, вся замирая от мысли, что буду там, где… ну, да все равно.

И вот Андрей объяснил мне, что ехать немыслимо, и в голове такая холодная пустота. Даже плакать не могу.

Мой милый Штейн, если бы Вы знали, как я глупа и наивна! Даже стыдно перед Вами сознаться; я до сих пор люблю В. Г.-К. И в жизни нет ничего, ничего, кроме этого чувства.

У меня невроз сердца от волнений, вечных терзаний и слез. После Валиных писем я переношу такие припадки, что иногда кажется, что уже кончаюсь.

Может быть, глупо, что я Вам это говорю, но хочется быть откровенной и не с кем, а Вы поймете. Вы такой чуткий и так хорошо меня знаете.

Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Я дам переснять и сейчас же вышлю Вам обратно. Может быть, он дал Вам одну из последних. Не бойтесь, я не «зажилю», как говорят на юге.

Вы хороший, что написали мне. Я Вам страшно благодарна. Что Вы делаете, думаете и видаете ли Валерию?

Ваша Аня

P. S. Тоника советую сунуть в… Андрей говорил мне, что он все тот же. Куда Вам писать?

Мой адрес: г. Киев, Меринговская ул., д. № 7, кв. 4, А. А. Горенко.

2

<1906>

Киев, Меринговская ул., 7, кв. 4

Мой дорогой Сергей Владимирович, совсем больна, но села писать Вам по очень важному делу: я хочу ехать на Рожество в Петербург. Это невозможно во-первых, потому, что денег нет, а во-вторых, потому, что папа не захочет этого. Ни в том, ни в другом Вы помочь мне не можете, но дело не в этом. Напишите мне, пожалуйста, тотчас же по получении этого письма, будет ли Кутузов на Рожество в Петербурге. Если нет, то я остаюсь с спокойной душой, но если он никуда не едет, то я поеду. От мысли, что моя поездка может не состояться, я заболела (чудное средство добиться чего-нибудь), у меня жар, сердцебиение, невыносимые головные боли. Такой страшной Вы меня никогда не видели.

Денег нет. Тетя пилит. Кузен Демьяновский объясняется в любви каждые 5 минут (узнаете слог Диккенса?). Что мне делать?

Когда я приеду, расскажу Вам одну удивительную историю, только напомните, я теперь все забываю.

Знаете, милый Сергей Владимирович, я не сплю уже четвертую ночь. Это ужас, такая бессонница. Кузина моя уехала в имение, прислугу отпустили, и когда я вчера упала в обморок на ковер, никого не было в целой квартире. Я сама не могла раздеться, а на обоях чудились страшные лица! Вообще скверно!

У меня есть предчувствие, что я так-таки и не поеду в Петербург. Слишком уж я этого хочу.

Между прочим, могу сообщить Вам, что бросила курить. За это кузены чествовали меня.

Сергей Владимирович, если бы Вы видели, какая я жалкая и ненужная. Главное, ненужная, никому, никогда. Умереть легко. Говорил Вам Андрей, как я в Евпатории вешалась на гвоздь и гвоздь выскочил из известковой стенки? Мама плакала, мне было стыдно – вообще скверно.

Летом Феодоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него опять пахло обедом.

Милый, света нет.

Стихов я не пишу. Стыдно? Да и зачем?

Отвечайте же скорее о Кутузове.

Он для меня – все.

Ваша Аннушка

P. S. Уничтожайте, пожалуйста, мои письма. Нечего и говорить, конечно, что то, что я Вам пишу, не может быть никому известно.

Аня

3

31 декабря 1906 г.

Дорогой Сергей Владимирович, сердечный припадок, продолжавшийся почти непрерывно 6 дней, помешал мне сразу ответить Вам. Неприятности сыпятся как из рога изобилия, вчера мама телеграфировала, что у Андрея скарлатина.

Все праздники провела у тети Вакар, которая меня не выносит. Все посильно издевались надо мной, дядя умеет кричать, не хуже папы, а если закрыть глаза, то иллюзия полная. Кричал же он два раза в день: за обедом и после вечернего чая. Есть у меня кузен Саша. Он был товарищем прокурора, теперь вышел в отставку и живет эту зиму в Ницце, Ко мне этот человек относится дивно, так что я сама была поражена, но дядя Вакар его ненавидит, и я была, право, мученицей из-за Саши.

Слова «публичный дом» и «продажные женщины» мерно чередовались в речах моего дядюшки. Но я была так равнодушна, что и ему надоело, наконец, кричать, и последний вечер мы провели в мирной беседе.

Кроме того, меня угнетали разговоры о политике и рыбный стол. Вообще скверно!

Может быть, Вы пришлете мне в заказном письме карточку Кутузова? Я только дам сделать с нее маленькую для медалиона и сейчас же вышлю Вам. Я буду Вам за это бесконечно благодарна.

Что он будет делать по окончании университета? Снова служить в Кр. Кресте? Отчего Вы не телеграфировали мне, как было условлено? Я день и ночь ждала телеграмму, приготовила деньги, платья, чуть билет не взяла.

Но уж такое мое счастье, видно!

Сейчас я одна дома, принимаю визиты, а в промежутках пишу Вам. Это, конечно, не способствует стройности моего письма – но Вы простите, да?

Пишите, когда будет время, о себе. Мы так давно не виделись.

Я буду на днях сниматься. Прислать Вам карточку?

Аня

P. S. Тысяча пожеланий на Новый Год.

4

<Январь 1907 г.>

Милый Сергей Владимирович.

Если бы знали, какой Вы злой по отношению к Вашей несчастной belle-soeur[69]. Разве так трудно прислать мне карточку и несколько слов.

Я так устала ждать!

Ведь я жду ни больше ни меньше как 5 месяцев.

С сердцем у меня совсем скверно, и только оно заболит, левая рука совсем отнимается. Мне не пишут из дому, как здоровье Андрея, и поэтому я думаю, что ему плохо.

Может быть, и Вы больны, что так упорно молчите. Я кончила жить, еще не начиная. Это грустно, но это так. Где Ваши сестры? Верно, на курсах, о, как я им завидую. Уж, конечно, мне на курсах никогда не бывать, разве на кулинарных.

Сережа! Пришлите мне карточку Г.-К. Прошу Вас в последний раз, больше, честное слово, не буду.

Я верю, что Вы хороший, настоящий друг, хотя Вы как никто знаете меня.

Ecrivez[70].

Аня

5

2 февраля 1907 г.

Милый Сергей Владимирович, это четвертое письмо, которое я пишу Вам за эту неделю. Не удивляйтесь, с упрямством, достойным лучшего применения, я решила сообщить Вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь, но это оказалось так трудно, что до сегодняшнего вечера я

не могла решиться послать это письмо. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Помните у В. Брюсова:

Сораспятая на муку,
Враг мой давний и сестра,
Дай мне руку! дай мне руку!
Меч взнесен. Спеши. Пора.

И я дала ему руку, а что было в моей Душе, знает Бог и Вы, мой верный, дорогой Сережа. Оставим это

…всем судило Неизбежное,
Как высший долг – быть палачом.

Меня бесконечно радуют наши добрые отношения и Ваши письма, светлые желанные лучи, которые так нежно ласкают мою больную душу.

Не оставляйте меня теперь, когда мне особенно тяжело, хотя я знаю, что мой поступок не может не поразить Вас.

Хотите знать, почему я не сразу ответила Вам: я ждала карточку Г.-К. и только после получения ее я хотела объявить Вам о своем замужестве. Это гадко, и чтобы наказать себя за такое малодушие, я пишу сегодня, и пишу все, как мне это ни тяжело.

Вы пишете стихи! Какое счастие, как я завидую Вам. Мне нравятся Ваши стихотворения, я вообще люблю Ваш стиль.

Тетрадь Ваших стихов у нас, и когда я вернусь домой, я вышлю ее Вам, если Андрей не предупредил меня. Я не пишу ничего и никогда писать не буду. Я убила душу свою, и глаза мои созданы для слез, как говорит Иоланта. Или помните вещую Кассандру Шиллера. Я одной гранью души примыкаю к темному образу этой великой в своем страдании пророчицы. Но до величия мне далеко.

Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили, ни где, ни когда он произойдет. Это – тайна, я даже Вале ничего не написала.

Пишите мне, Сергей Владимирович, мне стыдно просить Вас об этом, отнимать у Вас время, которое Вам так дорого, но Ваши письма – такая радость.

Зачем Вы называете меня Анна Андреевна? Ведь последний год в Царском эти церемонии уже совершенно вышли из употребления. Я – другое дело. Но ведь разница в годах и

положении играет большую роль.

Пришлите мне, несмотря ни на что, карточку Вл. Викт. Ради Бога, я ничего на свете так сильно не желаю.

Ваша Аня

P. S. Стихи Федорова за немногими исключениями действительно слабы. У него неяркий и довольно сомнительный талант. Он не поэт, а мы, Сережа, – поэты. Благодарю Вас за Сонеты, я с удовольствием их читала, но должна сознаться, что больше всего мне понравились Ваши заметки. Не издает ли А. Блок новые стихотворения – моя кузина его большая поклонница.

Нет ли у Вас чего-нибудь нового Н. С. Гумилева? Я совсем не знаю, что и как он теперь пишет, а спрашивать не хочу.

6

<февраль 1907 г.>

Мой дорогой Сергей Владимирович, я еще не получила ответа на мое письмо и уже снова пишу. Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне – я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение. Всякий раз, как приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недомогание. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с Nicolas. Уважать отца я не могу, никогда его не любила, с какой же стати буду его слушаться. Я стала зла, капризна, невыносима. О, Сережа, как ужасно чувствовать в себе такую перемену. Не изменяйтесь, дорогой, хороший мой друг. Если я буду жить в будущем году в Петербурге, Вы будете у меня бывать, да? Не оставляйте меня, я себя ненавижу, презираю, я не могу выносить этой лжи, опутавшей меня…

Скорее бы кончить гимназию и поехать к маме. Здесь душно! Я сплю 4 ч. в сутки вот уже 5-й месяц. Мама писала, что Андрей поправился, я поделилась с ним радостью, но он мне (увы!) не поверил.

Целую Вас, мой дорогой друг.

7

11 февраля 1907 г.

Мой дорогой Сергей Владимирович, не знаю, как выразить бесконечную благодарность, которую я чувствую к Вам. Пусть Бог пошлет Вам исполнения Вашего самого горячего желания, а я никогда, никогда не забуду того, что Вы сделали для меня. Ведь я пять месяцев ждала его карточку, на ней он совсем такой, каким я знала его, любила и так безумно боялась: элегантный и такой равнодушно-холодный, он смотрит на меня усталым, спокойным взором близоруких светлых глаз. Il est intimidant[71], по-русски этого нельзя выразить. Как раз сегодня Наня купила II-й сборник стихов Блока. Очень многие вещи поразительно напоминают В. Брюсова. Напр., стих. «Незнакомка», стр. 21, но оно великолепно, это сплетение пошлой обыденности с дивным ярким видением. Под моим влиянием кузина выписывает «Весы», в этом году они очень интересны, судя по объявлению. Если бы Вы знали, мой дорогой Сергей Владимирович, как я Вам благодарна за то, что Вы ответили мне. Я совсем пала духом, не пишу Вале и жду каждую минуту приезда Nicolas. Вы ведь знаете, какой он безумный, вроде меня. Но довольно о нем. Я когда-то проиграла Мешкову пари – мои стихи. Вероятно, он поэтому спрашивал Вас о них. Я хочу послать ему анонимно маленькую поэму, которая посвящается нашим прогулкам летом 1905 г. Если случайно знаете его адрес, сообщите, пожалуйста. Мы кутим, и Сюлери играет главную роль в наших развлечениях. Отчего Вы думали, что я замолчу после получения карточки? О нет! Я слишком счастлива, чтобы молчать. Я пишу Вам и знаю, что он здесь, со мной, что я могу его видеть, – это так безумно хорошо. Сережа! Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Но Гумилев – моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной.

Посылаю Вам одно из моих последних стихотворений. Оно растянуто и написано без искры чувства. Не судите меня как художественный критик, а то мне заранее страшно. В Вашем последнем письме Вы говорите, что написали что-то новое. Пришлите, я буду ужасно (женское слово) рада видеть Ваши стихи. Вот хорошо, если бы мы когда-нибудь встретились. Еще раз

благодарю Вас за карточку. Вы не знаете, что Вы сделали для меня, мой хороший![72]

Аня

8

Киев, 13 марта 1907 г.

Мой дорогой Сергей Владимирович, я прочла Ваше письмо, и мне стало стыдно за свою одичалость. Только вчера я достала «Жизнь человека», остальных произведений, о которых Вы пишете, я совсем не знаю. Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам. Но я вечная скиталица по чужим грубым и грязным городам, какими были Евпатория и Киев, будет Севастополь, я давно потеряла надежду. Живу отлетающей жизнью так тихо, тихо. Сестра вышивает ковер, а я читаю ей вслух французские романы или Ал. Блока. У нее к нему какая-то особенная нежность. Она прямо боготворит его и говорит, что у нее вторая половина его души. Напишите, какого у вас в кружке мнения о Давиде Айзмане. Его сравнивают с Шекспиром, и это меня смущает. Неужели мы будем современниками гения? Летом наша семья будет жить на даче около Севастополя. В первых числах июня я еду туда и буду в восторге, если Вы заедете к нам. Мы так давно не виделись!

Мое стихотворение «На руке его много блестящих колец» напечатано во 2-м номере «Сириуса», может быть, в 3-м появится маленькое стихотворение, написанное мною уже в Евпатории. Но я послала его слишком поздно и сомневаюсь, чтобы оно было напечатано.

Но если это случится, то напишите мне о нем Ваше откровенное мнение и покажите еще кому-нибудь из поэтов. Профаны хвалят его – это дурной признак. Не стесняйтесь, критикуя мое стихотворение или передавая отзывы других, – ведь я больше не пишу. Мне все равно!

Все ушло из души вместе с единственным освещавшим ее светлым и нежным чувством. Мне кажется, Вы хорошо понимаете меня.

…Из белых роз не свей венок,
Венок душисто-снежных роз,
Ты тоже в мире одинок,
Ненужной жизни тяжесть нес,

говорила я когда-то в крымском стихотворении «Весенний воздух властно смел».

Зачем Гумилев взялся за «Сириус»? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастиев наш Микола перенес, и все понапрасну. Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает!

Пишите непременно.

Аннушка

P. S. Когда кончатся экзамены Г.-К?

9

<1907>

Дорогой Сергей Владимирович, хотя Вы прекратили со мной переписку весной этого года, у меня все-таки явилось желание поговорить с Вами.

Не знаю, слышали ли Вы о моей болезни, которая отняла у меня надежду на возможность счастливой жизни. Я болела легкими (это секрет), и, может быть, мне грозит туберкулез. Мне кажется, что я переживаю то же, что Инна, и теперь ясно понимаю состояние ее духа. Так как я скоро собираюсь покинуть Россию очень надолго, то решаюсь побеспокоить Вас просьбой прислать мне что-нибудь из Иннииных вещей на память о ней. Тетя Маша хотела бы передать мне дедушкин браслет, который был у Инны, и если Вы исполните ее просьбу, я буду Вам бесконечно благодарна. Но дело осложняется тем, что это вещь ценная, и я очень боюсь, как бы Вы не подумали, что я хочу иметь украшение, а не память. Вы так давно не видели меня, и Вам может показаться, что я пускаюсь на аферу. Прошу Вас, Сергей Владимирович, если у Вас явится такая мысль, не присылайте браслета или не отвечайте на это письмо, и тогда я его не хочу. Надеюсь, этого не будет, ведь когда-то мы были друзьями, и если Вы изменились ко мне, то я нисколько к Вам.

Не пишите тете Маше, что я говорила Вам о браслете. Она может это неверно понять.

Не говорите, пожалуйста, никому о моей болезни. Даже дома – если это возможно. Андрей с 5 сентября в Париже, в Сорбонне. Я болею, тоскую и худею. Был плеврит, бронхит и хронический катар легких. Теперь мучаюсь с горлом. Очень боюсь горловую чахотку. Она хуже легочной. Живем в крайней нужде. Приходится мыть полы, стирать.

Вот она, моя жизнь! Гимназию кончила очень хорошо. Доктор сказал, что курсы – смерть. Ну, и не иду – маму жаль.

Увидя меня, Вы бы, наверно, сказали: «Фуй, какой морд».

Sic transit gloria mundi![73]

Прощайте! Увидимся ли мы?

Аннушка

г. Севастополь, Малая Морская № 43, кв. 1

10

<Открытое письмо с почтовым штемпелем
29 X, 1910 г. г. Киев>

На днях возвращаюсь в Царское. Напоминаю Вам Ваше обещание навестить меня. Пожалуйста, передайте мое приглашение Екатерине Владимировне. О дне сговоримся по телефону. Здесь я проболела 2 недели.

Жму Вашу руку.

Анна Гумилева

В. Я. Брюсову

1

<Не ранее октября 1910> Царское Село

Многоуважаемый Валерий Яковлевич, посылаю Вам четыре свои стихотворения. Может быть Вы сочтете возможным напечатать которое-нибудь из них. Я была бы бесконечно благодарна Вам, если бы Вы написали мне, надо ли мне заниматься поэзией. Простите, что беспокою.

Анна Ахматова

Мой адрес: Царское Село, Бульварная ул. д. Георгиевских. Анне Андреевне Гумилевой.

2

22 октября 1912 г.

Посылаю Вам, Валерий Яковлевич, несколько моих стихотворений, написанных на днях. Я не могла сделать этого раньше, потому что у меня родился ребенок и я ничего за всю осень не написала.

Уважающая Вас

Анна Ахматова

Царское Село

Малая ул. 63

А. А. Блоку

<6 или 7 января 1914. Петербург>

Знаете, Александр Александрович, я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры, и они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов.

Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни.

Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное, и хочу для Вас радости. (Только не от него, конечно. Видите, я не умею писать, как хочу.)

Анна Ахматова

Тучков пер., 17, кв. 29

Н. С. Гумилеву

1

13 июля 1914. Слепнево

Милый Коля, 10-го я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. О погоде и делах тебе верно напишет мама. В июньской книге «Нового Слова» меня очень мило похвалил Ясинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. Я написала несколько стихотворений, кот. не слышал еще ни один человек, но меня это, слава Богу, пока мало огорчает. Теперь ты au courant[74] всех петербургских и литературных дел. Напиши, что слышно? Сюда пришел Жамм. Только получу, с почты же отошлю тебе. Прости, что я распечатала письмо Зноски, чтобы большой конверт весил меньше. Я получила от Чулкова несколько слов, написанных карандашом. Ему очень плохо, и мне кажется, что мы его больше не увидим.

Вернешься ли ты в Слепнево? Или с начала августа будешь в Петербурге. Напиши мне обо всем поскорее. Посылаю тебе черновики моих новых стихов и очень жду вестей. Целую.

Твоя Аня

2

17 июля 1914. Слепнево

Милый Коля, мама переслала мне сюда твое письмо. Сегодня уже неделя, как я в Слепневе.

Становится скучно, погода испортилась, и я предчувствую раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. Посылаю тебе одно сегодня, оно, кажется, имеет право существовать. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет, у тебя, наверно, тоже. С «Аполлона» получишь пустяки. А нам уже в августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с «Четок» что-нибудь получим. Меня это все очень тревожит. Пожалуйста не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать.

Будет ли Чуковский читать свою статью об акмеизме как лекцию? Ведь он и это может. С недобрым чувством жду

июльскую «Русскую мысль». Вероятнее всего, там свершит надо мною страшную казнь Valere. Но думаю о горчайшем, уже перенесенном, и смиряюсь.

Пиши, Коля, и стихи присылай. Будь здоров, милый!

Целую

Твоя Анна

Левушка здоров и все умеет говорить.

Г. И. Чулкову

1

Июль 1914. Слепнево

Милый Георгий Иванович, не ссорьтесь со мной из-за моего молчания. Я так рада получать письма от Вас и отвечать, конечно, буду. А то, что Вы ни жить, ни умирать не хотите – для меня и есть самое понятное.

Здесь тихо, скучно и немного страшно. Вести извне звучат совсем невероятно, людей я не вижу и вообще как-то присмирела. Недавно начала писать, наконец, большую вещь, но, кажется, мне тишина мешает. И все вокруг такое померкшее, стертое и, главное, связанное с целым рядом горьких событий.

«Сатану» я прочла еще в Петербурге и нахожу, что это лучшая из Ваших вещей. Ник. Степ. просит меня Вам передать, что ему «Сатана» совсем понравился. Что вы теперь пишете? – Неужели Вам горы не мешают? Вы в Лозанне. Там все дома одного цвета, очень крутые улицы и очень много русских.

Знаете, я не верю, что Вы старый. Вы вообще не будете старым в дурном смысле этого слова.

Я, может быть, поеду на 6 недель в Швейцарию, в Leysin. Там мой брат лечится солнцем. Думаю о путешествии с радостью, здесь иногда бывает нестерпимо.

Кланяйтесь, пожалуйста, Надежде Григорьевне. Как она себя чувствует, отдохнула ли?

Не забывайте меня. Когда будут стихи, пошлю Вам непременно.

Анна Ахматова

Экземпляр «Жатвы», кот. Вы мне дали, я отдала, как Вы просили, Щеголеву, пот. что в тот же день получила свой.

2

15 марта 1930 г. Ленинград

Милый Георгий Иванович,

благодарю Вас за хлопоты. Мне очень стыдно, что Вам приходится возиться с моими делами. Я ничего не могла найти из того, что нужно Вам послать. Знаю, что мои стихи были

переведены на английский (отдельная книга, пер. Дадингтон), немецкий, французский, польский, японский, библейский (древнееврейский), украинский языки.

Нас выселяют из квартиры, потому что дом передается какому-то учреждению.

Целую Надежду Григорьевну и крепко жму Вашу руку.

Ахматова

Ф. К. Сологубу

1

28 июля 1915 г. Слепнево

Мне было очень радостно, дорогой Федор Кузьмич, получить Ваше письмо. Спасибо, что вспомнили обо мне.

Я живу с моим сыном в деревне, Николай Степанович уехал на фронт, и мы о нем уже две недели ничего не знаем.

Пожалуйста, передайте мой привет Анастасии Николаевне. Желаю Вам всего хорошего.

Анна Ахматова

2

<1923>

Дорогой Федор Кузьмич,

из разговора с Н. Л. Алянской я выяснила, что отдать Полярной Звезде мои стихи 1922 было бы прямым нарушением контракта. Мне очень жаль, что так вышло и что я раньше не привела в ясность вопроса о договоре. Жму Вашу руку.

Ваша А. Ахматова

А. И. Гумилевой

1

<Ноябрь 1917>

Милая Мама,

только что получила твою открытку от 3 ноября. Посылаю тебе Колино последнее письмо. Не сердись на меня за молчание, мне очень тяжело теперь. Получила ли ты мое письмо? Целую тебя и Леву.

Твоя Аня

2

<1926>

Дорогая моя Мамочка,

сейчас получила Ваши милые письма. Благодарю за поздравления и пожелания здоровья. Я очень старалась не хворать как в прошлом году.

Спасибо Левушке за письмо, только он напрасно думает, что я его отговаривала писать стихи. Его письмо П. Н. я передала, бабушке послала. Желаю вам всем отдохнуть за праздники от ваших девочек. Как здоровье Шурочки?

Целую крепко.

Твоя Аня

Л. М. Рейснер

Октябрь, <1920>

Дорогая Лариса Михайловна,

пожалуйста, опустите в Риге это письмо. Оно написано моей племяннице, о которой семья давно не имеет вестей. Отправив это письмо, Вы окажете мне очень большое одолжение. Желаю Вам счастливого пути, возвращайтесь к нам здоровой и радостной.

Вольдемар Вам кланяется.

Ваша Ахматова

А. Э. Вакар

Ханне Лейбовне Маламуд для Анны Эразмовны Вакар
Деражня Юго-Зап. ж. д. (Подольской губ.), собств. дом
Перевод на 20 руб.
от Анны Андреевны Шилейко
Ленинград ул. Халтурина д. 5 кв. 12

Милая тетя Анна, посылаю Вам 20 рб. 15 рублей для Вас и пять мамочке.

Целую Вас и маму. Привет дяде. Как Ваше здоровье, поправились ли Вы.

Судейкина в Париже, работает (шьет) и, кажется, довольна своей судьбой.

Не забывайте меня, маме пишу открытку.

Жду от Вас вестей на адрес Н. Н. Пунина.

Ваша Анна

<25.V.1925>

В. К. Шилейко

1

Ленинград 20.XII.24

<Адрес:> Москва. Пречистенка, 21. Владимиру Казимировичу Шилейко.

Дорогой Володя, Тапа очень болен, и завтра утром я отвезу его в лечебницу для животных на В. О. Думаю, что в таком виде его трудно отправить в Москву, напиши, как быть. Он очень тихий, кроткий, но с тех пор как ты уехал, заскучал, и на спине у него что-то вроде чесотки.

Не огорчайся очень, может быть, все будет хорошо. Спасибо за письма.

У меня все по-старому, жалования в Академии еще не получала. Сегодня ко мне зайдет Бороздин. Целую.

Твоя сестра Акума

2

<1924>

Милый Володя,

вчера наконец я взяла Тапу из больницы, где он провел ровно месяц. Посылаю тебе больничную квитанцию. Чтобы кормить его и долечивать дома, у меня нет денег, заплатить за квартиру я тоже не могу. Пожалуйста, пришли мне доверенность на получение денег из Университета (Лукницкий уехал на юг, и июльское жалованье не получено). Здесь все по-старому. Будь здоров и передай мой привет Вере Константиновне. Жду ответа.

Твоя Ахматова

3

<Ленинград 17.I.25>

Дорогой Володя,

Тапа дома, я продолжаю натирать его мазью, но совсем вылечить можно будет весной, когда не опасно стричь. Мне его очень жалко, он кроткий и трогательный. Напиши мне, как тебе

живется, здоров ли ты? Пока в доме меня никто не обижает, квартирой я довольна. Скоро выйдут мои книги, уже была вторая корректура.

Обещают наводнение, но мы с Тапой не боимся.

Целую тебя. Не забывай

Акума

4

18 мая, 25. СПБ

Володя, милый,

что ты нас забываешь? Я уже несколько дней дома – застала все в порядке. Вчера Тапу остригли, и он очень стыдится своей наготы. Здоровье мое все в том же положении. На той неделе, когда кончится какой-то медицинский съезд, лягу в больницу.

Как твоя работа и планы на зиму?

После Царского я задыхаюсь в Городе.

Целую тебя – Господь с тобой.

Твоя Анна

5

15 янв. 1926 г.

Гл. Почтамт.

Сейчас отправила, тебе, милый Букан, 45 рб. по телеграфу. Это академическое жалование, добавочные дадут дней через 8, сказал казначей. Посылаю тебе повестку из Университета, кот. принесли сегодня утром. Отчего ты не ответил мне на мое «спешное» письмо? Здоров ли, как дела?

Напиши мне, не ленись и не сердись на меня до непосылания поцелуев и поклонов. Это очень горько.

Ваша Акума

Песынька здоров.

Добавочные вышлю, когда получу.

6

<1926?>

Прости меня, милый Володя, что я так задержала деньги. Я была очень больна, две недели лежала и не могла добраться до Университета. Посылаю тебе повестку от декана, да ответь же ему хоть что-нибудь, Бокаччьо не нашла, Эрмитажный сборник посылать ли? Ты наверно сам скоро явишься.

Я в печальных хлопотах о пенсии, из кот., кажется, ничего не выходит. Новостей нет никаких. Т. тебя целует.

Извести о получении денег, и вообще пиши.

Привет В. К.

Твоя Ахматова

Приписка: Маня у меня больше не служит.

7

23 сентября 1926.

Дорогой Володя, я приехала в Царское на несколько дней, живу в пустой квартире Рыбаковых. Очень беспокоюсь, чтобы не вышло путаницы с твоим возвращением в город. Пожалуйста, извести меня заблаговременно, чтобы тебе не пришлось к великому соблазну соседей ломать замки своего собственного дома.

Мой адрес: Детское Село. Полуциркуль Большого Дворца, кв. № 1, Рыбаковы.

Тапуся? Тапуся в порядке. Все находят, что он поправился. Говорить о себе нет силушки. Прости. Привет В. К. Приезжай. Твоя *Ахматова*.

8

30 января 1927.

Наш Букан, я больна, лежу, находят что-то вроде бронхита. Пожалуйста, береги себя и собаку. Не ленись топить, кушай по-человечески, по возможности не выходи – холод жестокий.

Что Плиний? Что Маня? Целую.

Ваш Акум.

9

<1927?>

Володя, милый, ко мне заходил Стрелков, очень меня огорчил, рассказав, что ты себя дурно чувствуешь. Пожалуйста, выписывай себе июньские деньги и приезжай. После больницы я заметно пободрела, но еще слаба. Таптан ждет тебя. Принимайся за сборы, не хандри, очень ты в Москве загостился. Целую тебя. Будь здоров.

Ваша Акума

О дне приезда предупреди открыткой.

10

<19.06.27>

Милый друг,

опускаю эту открытку в Москве, проездом в Кисловодск, где пробуду до 24–25 июля. Ввиду изъятия из обращения П. Н. я отдала твою Унив. книжку и ключи Анне Евгеньевне. Пошли ей твою засвидетельствованную подпись (без текста), если хочешь получить деньги. Нашего Тапу я вылечила сама, теперь он в порядке. Еду, белая ночь, душно и тошно.

ЖМУ твою руку. Привет В. К.

А.

11

1 сент. 1927.

Милый Володя, спасибо за письмо. Тушин меня совсем замучил, опять лечу его сама – беда с ним. Пришли доверенность, надо заплатить Луниным за его содержание, а у меня совсем нет денежек.

Выписка твоя чудовищна, но выразительна чрезвычайно. У меня для тебя тоже кое-что есть. Писал ли тебе Лукницкий о водопроводчике? Кран в коридоре уже сняли, квартира без воды. Как быть?

До свидания. Извести, когда приедешь.

Акума

Привет Вере Константиновне.

12

<1927?>

Дорогой Володя,

вчера я была в твоей мраморной резиденции и прочла под воротами грозное распоряжение Управдома вносить квартплату немедленно и, кроме того, приказ переустроить электр. освещение до 15 окт. на свой счет, а не то электроток закроет свет. Пожалуйста, сообщи, как мне быть? – ты мне доверенности на сентябрь не прислал, у меня денежек нет, чтобы внести квартирную плату, переустроить электричество и содержать Тушина.

Собака милая здорова.

До свидания. Жду вестей. Привет В. К.

Твоя Ахматова

13

16.9.27

Милый Друг,

номер дома Мурузи по Литейному 24, а по Пантелеймоновской 27. Управдому я заплатила за июнь-июль, что с пенями составило 55 р. и сколько-то коп. Водопроводчик ставит кран в кухне, дня через 3 все будет готово. Я хожу каждое утро на Миллионную, может быть, следовало бы сделать небольшой ремонт? Пожалуйста, пришли доверенность. Надо заплатить хозяевам 20 рб. за Тушина, остальное вышлю. Напиши, как быть с ключом, когда приедешь, зайдешь ли ко мне или нет.

Акум

<Сверху приписка> Лукницкий на Кавказе.

14

22 сентября <1927>

Милый Володя, получил ли ты мою открытку, где я сообщаю адрес мамы? Я жду от тебя доверенность, чтобы заплатить хозяевам за содержание Тушина. За квартиру (июнь-июль) заплачено 55 рублей, кот. я получила по прежней доверенности в Университете. Кран в кухне поставлен. Необходимо убрать квартиру, поручи мне нанять кого-нибудь для этого.

Собака чувствует себя сносно. Сообщи день приезда. За Тушина надо заплатить 20 рубл.

Ваша Акум

До свидания,

Милый Володя, посылаю деньги, переданные мне Лукницк. 20 рб. заплатила в больницу за Тушина. Квитанции вышли. Твоя расчетная книжка у меня. Напиши мне, когда приедешь. Будь здоров. Привет В. К.

Ахматова

15

8 августа 1928 г.

Милый друг, вот твое первое изображение. Надеюсь, ты разрешишь мне подарить его твоему сыну.

С Тапой большая беда. У него рак. Сегодня операция. Я возилась с ним все лето, но ему становилось только хуже.

Теперь он уже неделю в больнице, сказали, что надо резать. Содержание – 1 рубль в день, операция бесплатно. За лекарство я уже заплатила. У меня больше нет твоей доверенности, когда ты приедешь? Очень жаль собаку, она все понимает.

Привет В. К., поцелуй маленького.

Твоя Ахматова

16

26 ноября 1928 г.

Милый друг, посылаю тебе мои стихотворения. Если у тебя есть время сегодня вечером – посмотри их. Многое я уже изъяла – очень уж плохо. Отметь на отдельной бумажке то, что ты не считаешь достойным быть напечатанным. Завтра зайду. Прости, что беспокою тебя. Твоя *Ахматова*.

О. А. Глебовой-Судейкиной

<1925?>

Милая моя Оленька,

посылаю тебе письмо Валентины Андреевны и картину одного из моих последних умираний. Сейчас я в Ц. С. Здесь еще очень хорошо несмотря на студеную осень и уже облетевшие парки.

Твое письмо от 26 сент. я читала с живой радостью, летняя же твоя «исповедь» привела меня в отчаяние. По ней я представила себе тебя в новом адском кругу со всеми аксессуарами предыдущего (телеф. звонки, rendez-vous bianc[75] и т. д.).

Н. И. Харджиеву

1

<Ленинград, 1932 г.>

Милый Николай Иванович,

очень нехорошо, что ничего не знаю о Вас. Как Вам живется, что Вы делаете?

У нас очень плохо и скучно. Хотела написать Вам настоящее письмо, но вчера заболела Ира и я в хлопотах.

Буду ждать вестей от Вас.

Ахматова

2

<Ленинград, 1932 г.>

Милый Николай Иванович, благодарю Вас за письмо. Если бы Вы знали, как приятно получить письмо от знакомого. Это со мной так редко случается. Рада, что Вы работаете и даже хотите приехать сюда. В конце месяца в Москву вернется Вера Федоровна Румянцева и привезет Вам письмо от меня. От Левы нет вестей: он не ответил никому из нас – не знаю, что думать. У нас все по-старому – только еще хуже.

Вчера была в Эрмитаже. Пустыня. Выставка – «Период абсолютизма» – похожа на первоклассный магазин bric-a-brac'a, где-нибудь в Лондоне или Нью-Йорке. На меньшиковские палаты (их красят) нацепили огромный герб. Чудовищно! Н. Н. замучен музейными делами, зол и «несправедлив». Совершенно неожиданно для себя я получила госснабжение – это во многом облегчит мое положение дома.

Спите ли Вы теперь и что Осип и Надя?

Если будет оказия – напишите и, пожалуйста, не раздумывайте приехать.

Что Вы пишете о Пастернаке? Жду вестей и очень прошу быть бодрым и, если можно, веселым.

Ахматова

3

<Ленинград, февраль 1933 г.>

Милый Николай Иванович, послала Вам письмо с Вашим знакомым, поджидала ответ, но, вероятно, у Вас не было случая передать письмо. 14, днем, читаю в быв. Пушкинском Доме доклад о «Золотом Петушке».

Завтра Н. Н. едет на два дня в Москву для участия в жюри. Я думаю, что он позвонит Вам.

Живу какими-то остатками бодрости и, главное, не думать. Как Ваша работа?

Что слышно о Вашем приезде в Петербург?

Напишите мне.

Ахматова

От Левы нет вестей.

4

<Ленинград, лето 1933 г.>

Милый Николай Иванович, оба Ваши письма я получила. Благодарю Вас. Очень хочу в июле-августе приехать в Москву. Будете ли Вы в городе? Сегодня у меня был Вольпе. Книгу и письмо передала. О М. М. плохие вести. Просит хлеба. Николаша не арестован, конечно. Это московские сплетни, но очень настойчиво просит у меня портплед, который он Вам дал. Это, кажется, спешно. Простите. Спасибо за Чулкова и Левшина.

В Москве ли Пильняк, Толстая? Я здорова, как всегда летом. Привет В. Б.

Ваша Ахматова

Как же у Вас с комнатой?

5

<Ленинград> 9 августа 1933 г.

Милый Николай Иванович. В. Ф. Вам расскажет о моих неудачных сборах в Москву. Однако я еще не теряю надежду. Был ли у Вас Лев? Он обещал написать с дороги, и я начинаю беспокоиться.

Когда Вы займетесь Вашим здоровьем, пойдете к доктору? Не огорчайте друзей своим упорством.

Куда перевели М. М.?

Бонч предлагает мне продать мой архив.
Напишите несколько слов хоть по почте.

Ахматова

6

<Ленинград, 1934 г.>

Спасибо за альбом, он чудный. Когда я Вас теперь увижу, милый Николай Иванович, мне что-то очень скучно стало жить. Совсем не вижу людей, плохо работаю. Что Москва, после мая я отношусь к ней по-новому. Напишите мне.

Н. Н. купил газетные вырезки о футуризме за 13–15 г. г. Вот бы Вам.

Жму руку.

Ахматова

7

<Ленинград, 2-я половина 30-х гг.>

Милый Николай Иванович, я у Лидии Михайловны Андриевской (Кирочная 8, кв. 69), где Вы уже бывали с Люсей. Зайдите туда. Я непременно хочу с Вами попрощаться.

Ахм.

8

<Ташкент> 12 марта 1942 г.

Милый Николай Иванович, спасибо, что не забываете меня. Как Вы могли подумать, что я на Вас сержусь. Если хватит сил – приеду в Алма-Ату повидаться с Вами. Перенести здешнее лето будет очень трудно и Вам и мне.

Я закончила поэму, которая Вам когда-то нравилась. Из Ленинграда вестей нет.

Привет Шкловскому, Зощенке и Лиле Брик.

Пишите.

Ваша Ахматова

9

<Ташкент, конец апреля – начало мая 1942 г.>

Милый Николай Иванович, Виктор Борисович расскажет Вам обо мне и моей жизни в Ташкенте.

21 марта через Ташкент в Самарканд проехал с семьей Н. Н. Пунин. Он был в тяжелом состоянии, его нельзя было узнать. Недавно я получила от него письмо.

Милый друг, мне очень трудно – от Вл. Георг.

вестей нет. Когда я Вас увижу – и где…

Пишите мне. Ну и жарко…

Ваша Ахматова

10

Ташкент, 25 мая 1942

Мой дорогой друг, вот случай передать Вам несколько слов. Много думаю о Вас и тревожусь за Вас. «Не теряйте отчаянье», как говорил когда-то наш друг. О себе говорить все труднее. Повидаться бы! Меня зовут в Алма-Ату, но все это так сложно. Вчера получила открытку от Гаршина. Он был психически болен и не писал мне пять месяцев. Жду вестей от Вас.

Ваша Ахматова

11

<Ташкент> 4 июля 1942 г.

Мой дорогой друг, письмо, которое привез мне сын Паустовского, глубоко тронуло меня. Благодарю Вас за доверие, за светлую дружбу, которая столько лет была моим утешением и радостью.

Сегодня получила письмо от Н. Н. Пунина. Он опять спрашивает Ваш адрес. Из Ленинграда получила несколько телеграмм – две из них от Вл. Геор.

Напишите мне, что Вам лучше, что мы скоро увидимся. И пусть все у Вас будет благополучно.

Ваша Ахматова

12

<Ташкент> 10 января 1943 г.

Дорогой Николай Иванович, наконец после долгого лежания в больнице – я дома. Благодарю Вас за память и внимание. Как печально, что мы не встретились в Средней Азии. Может быть, это случится в Москве. Напишите о себе, не надо терять друг друга в такое время.

Ахматова

13

<Ташкент> 6 апреля 1943 г.

Дорогой друг, Ваша открытка была неожиданной и милой радостью. Но как жаль, что мы не встретились в Азии, где сегодня началась нежная зеленеющая свежая весна.

Живу в смертной тревоге за Ленинград, за Владимира Георгиевича. Болела много и тяжело. Стала совсем седой. Хотела послать Вам с Валерией Сергеевной мою «Поэму без героя», которая выросла и приобрела «Эпилог», но не успела все это переписать. Как-нибудь в другой раз.

От Левы телеграмма. Он здоров и поехал в экспедицию.

О возможности моего приезда в Москву поговорите с Вал. Серг.

Второе лето в Ташкенте я едва ли вынесу.

Получаю изредка письма от Ник. Ник. (адрес его: Самарканд, Октябрьская, 43. В. Академия Художеств.).

Передайте мой привет и благодарность Крученыху.

Видаетесь ли с Бриками? И вообще как все происходит? И как давно я не видела Вас. Страшно, что листья на деревьях, кот. я застала в Ташкенте, выросли еще до войны, а теперь кажется – это было в прошлом существовании: Марьина Роща, и мои приезды в Москву, и проводы на вокзале.

Напишите мне, мой дорогой друг. Я Вас всегда помню.

Ваша

Ахматова

14

<Ташкент> 14 апреля 1943 г.

Милый Николай Иванович, посылаю Вам «Поэму без героя» и несколько стихотворений. Есть ли возможность переправить и

лично передать все это Вл. Георг. Гаршину (Л-д, 22, часть 053). Он работает в больнице Эрисмана, живет на улице Рентгена, 3.

Ждем с Надюшей вестей от Вас. Не забывайте. Вчера выступала на вечере Маяковского.

Привет.

Ахматова

15

<Ташкент> 2 июня 1943 г.

Совсем Вы меня забыли, Николай Иванович. А теперь все разлетаются из Ташкента, и я шучу: «Фирса забыли, человека забыли!» – но шутка выходит кислая.

Что Москва? Что Брики? Что додельщик Крученых?

Отсюда всюду далеко – написала я в одном письме, а выехать невозможно.

У меня новый дом просторный, уединенный, пустынный. Я еще никогда не жила в таком пустынном доме, хотя руины и пустыри – моя специальность, как Вы знаете.

Получили ли Вы мою поэму и письма, которые везла Вам В. С. Познанская?

Если Вам трудно писать – пришлите телеграмму. Очень скучно так долго ничего не знать о Вас.

Ах да, сейчас мне приходит в голову послать Вам мою книгу, которая вышла здесь. По-моему, ее главная (и единственная) прелесть заключается в том, что на ней нигде не означено место ее выхода. От этого у нее такой уютный вороватый вид. Зелинского я называю: «составитель меня» (ради Бога – это между нами), и Надя говорит, что это не моя острота, а Осипа. Может – быть! Живу я над Надей – сейчас она у брата. Надя стала очень добрая и светлая – жалеет людей и безмерно кротка со мной. Левка уехал в тайгу, от него была телеграмма из Новосибирска. Вероятно, экспедиция продолжится несколько месяцев. Владимир Георгиевич в Ленинграде. Он работает с 7 $^{1}/_{2}$ ч. утра до 11 ч. в. без выходных дней. Во время обстрелов и бомбежек читает лекции и делает вскрытия и вообще представляет из себя то, что принято называть скромным словом – герой. Тем не менее меня все неотступно спрашивают: «Почему ваш муж не может устроиться?» Или: «Разве ему не полагается отдых?» – и так без конца.

Напишите о себе. Мой адрес: Жуковская ул., 54. Жму Вашу руку.

Ваша Ахматова

16

<Ташкент> 20 июня 1943 г.

Милый Николай Иванович,

наш (т. е. Надин и мой) друг Наталья Александровна Вишневская передаст Вам это письмо и расскажет о нас все, что Вам будет интересно узнать.

Я опять хвораю – нет сил подняться, а быть в Москве нужно и хочется.

В мае я послала Вам несколько писем с Познанской, Ася отвезла Вам мою книгу. Вероятно, Вы молчите, потому что ждете моего приезда.

Сейчас узнала Римские новости. Каково?

Хочется (как всегда) сказать Вам много замечательных вещей, но меня торопят, или я сама тороплюсь.

Все-таки увидимся.

Привет Москве.

Ваша Ахматова

У нас температура 41°

17

<Ташкент, начало июля 1943 г.>

Милый Николай Иванович, благодарю Вас за телеграммы и Ваши хлопоты обо мне.

Сейчас еще все неясно. Как только что-нибудь выяснится – пошлю телеграмму. Завтра эта открытка полетит к Вам.

Привет от Нади.

А.

18

<Ташкент> 27 сентября 1943 г.

Дорогой Николай Иванович, что-то я стала беспокоиться о Вас. Здоровы ли Вы? – как Ваши дела, работа, настроение?

Сегодня получила хорошую телеграмму от Левы. Экспедиция, в которой он участвовал, закончилась, и он едет обратно в

Норильск. Из Ленинграда мне пишут много и часто. В Самарканде умерла Анна Евгеньевна Пунина. Ее смерть очень поразила меня. Привет Москве. Напишите мне.

Ваша Ахматова

19

<Ташкент> 14 декабря 1943 г.

Дорогой Николай Иванович, как видите, я обрела в Средней Азии способность отвечать на письма. Относительно моего отъезда я высказалась эпиграмматически:

«Неуважительна причина,
Вам надлежало быть в пути».

«Да я уехала почти,
Но задержала… скарлатина».

Это я позавидовала лаврам Крученыха, которому прошу передать мой привет.

Благодарю Вас за письмо. Грустно, что для Вас квартирный вопрос не теряет остроты. Надюша больна, конечно, ей надо отсюда уехать.

До свидания.

Ваша Ахм.

20

<Ленинград, сентябрь 1950 г.>

Милый Николай Иванович, узнала у Ник. Мих., где Вы, и умоляю сейчас придти.

Сегодня звонили из «Огонька», надо изменить один стих. Хочу Вашего совета. Жду.

Ахматова

21

<Ленинград> 6 октября 1954 г.

Милый Николай Иванович, очень огорчена вестью о Вашей болезни, тем более, что по своему опыту знаю, как редко сердечников укладывают в постель. Обычно врачи боятся отека легких и не позволяют лежать. Делали Вам уже электрокардиограмму? Это очень важно. Ее можно сделать и дома, совершенно не шевелясь. Со мной это было в 1952 году. После чего меня немедленно отправили в больницу. Желаю Вам всего, всего хорошего. Привет Лидии Васильевне.

22

<Москва> 2 мая 1964 г.

Николай Иванович, посмотрите это. Куда поместить Ваш текст, не на 6-ую ли страницу?

Модильяни везет Александр Павлович Нилин. Иначе мы с Вами никогда бы не собрались – я ему бесконечно благодарна. Взгляните на рисунок и отдайте ему. Спасибо и с наступающим!

Анна Ахматова

Помните, как мы с Вами в этот день бродили по Ордынке и слушали Пасхальный звон.

Привет Лидии Васильевне.

А.

23

<Комарово> 1965 г.

Милый Николай Иванович, Ваш почитатель (Вы видели его у меня, когда приехала дочка Шагала) и мой соавтор по переводу Леопарди передаст Вам эту записку. Дайте ему то, что Вы написали о рисунке Модильяни, и он (Анатолий Найман) расскажет Вам обо мне.

Я – в Будке – лета вовсе не было, и я совсем одичала.

Скучно так долго ничего не знать о Вас.

Ахматова

24

<Надпись на книге «Бег времени»>

«Пусть эта книга будет памятником нашей тридцатипятилетней ничем не омраченной Дружбы. Николаю Ивановичу Харджиеву. Анна Ахматова 30 октября 1965 Москва».

М. Л. Лозинскому

<19 октября 1933 г. Ленинград>

Милый Михаил Леонидович.

У меня к Вам большая просьба: сын Лев перевел стихи и мечтает показать Вам свой перевод. Разрешите Льву приехать к Вам в удобное для Вас время и поговорить с Вами.

Что Гаспра? Что Москва? Позвоните мне – я соскучилась по Вам.

Ахматова

2

19 декабря 1942 г. Ташкент

Очень тронута вниманием. Нахожусь еще больнице. Выходит моя книга. Ваш друг,

Ахматова

3

24 июля 1943 г. Ташкент

Высылаю книгу. Сообщите здоровье. Адрес: Жуковского, 54. Крепко жму руку.

Ахматова

4

[7] –13 сентября 1943 г. <Ташкент>

Милый Михаил Леонидович,

очень рада, что моя книга дошла до Вас. Чувствую себя виноватой перед Вами – в прошлом году не ответила на два Ваших письма. Простите меня – я была в очень плохом состоянии и совсем не могла писать.

Благодарю Вас за телеграммы во время моей болезни и за то, что Вы известили меня об окончании Вашего прекрасного и всем нам нужного труда. Привет Т. Б. и Наташе.

Ахматова

Может быть, на днях уеду в Москву.
Напишите мне.

5

<23 января 1945 г. Ленинград>
Милый Михаил Леонидович,
пожалуйста, передайте Вл. Г. мамину красную шкатулку.
Я – больна. Лева – на фронте. Напишите мне несколько строк. Как Вы?
Привет Татьяне Борисовне.

Ахматова

6

<27 ноября 1952 г. Москва>
Сорок лет тому назад в этот день я в первый раз поздравила Вас, дорогой Михаил Леонидович.

Ахматова

7

8 февраля <1953 г. Ленинград>
Дорогой Михаил Леонидович,
вот два действия моей Марион, ошибок смысловых не должно быть, но впрочем – хаос! Очень стыдно затруднять Вас чтением моих попыток перевода, но предстоит свидание со Смирновым, и я должна быть готова ко всему. Очень бы хотелось прочесть и скорее увидеть на сцене «Сон в летнюю ночь».
Напишите мне два слова.

Ваша Ахматова

Привет Вашей семье.
«Тартюф» продолжает оставаться моей настольной книгой.

8

<24 февраля 1953 г. Ленинград>

Дорогой Михаил Леонидович,

ко мне пришли и помешали окончить то большое письмо, о котором я говорила Вам сегодня по телефону. Но я окончу его и пришлю Вам на днях.

Благодарю Вас, дорогой друг, мне очень больно, что Вы потратили столько времени на чтение моей Марьоны.

Жму Вашу руку,

Ахматова

9

13 марта 1953 г. <Ленинград>

Мой дорогой друг,

простите, что задаю Вам еще несколько вопросов. Звонил Смирнов и сказал, что признает свою ошибку в вопросе о ремарках. Он вернул мне III действие. Меня начинает беспокоить его критика: вообще замечаний много, но на десятках страниц ни одной пометки, а на его листах длинные и довольно обидные рассуждения и объяснения, кто был Великий Могол, Химена и т. п. Не знаю, чем все это кончится. Если позволите – я еще раз попрошу Ваших советов по III–IV действиям.

Возвращаю с глубокой благодарностью «Тартюфа». Только теперь я могу оценить его. Какой высокий и совершенный труд! Есть ли у Вас Ваш новый перевод «Сна в летнюю ночь»? Когда будет, дайте почитать. Еще раз спасибо, милый Михаил Леонидович, мое большое письмо к Вам все растет. Я пришлю его до отъезда в Москву.

Ваша Ахматова

10

27 марта 1953 г. <Ленинград>

Дорогой Михаил Леонидович,

поздравляю Вас с окончанием работы. Вчера не успела расспросить, сколько времени Вы трудились над Гюго. Ведь Вы его любите, правда? Я снова прошу Ваши мудрые советы, но теперь уже виден конец работы и я повеселела. А. А. крайне любезен и хвалит перевод. Сегодня перенесла все поправки на тот экземпляр, что посылаю Вам, и очень устала. Надеюсь весной повидаться с Вами. Благодарю,

Ваша Ахматова

11

12 апреля <1953 г. Ленинград>

Дорогой Михаил Леонидович,

через час еду на вокзал. Припадок, о котором я говорила Вам сегодня по телефону, помешал мне написать Вам еще в Ташкенте задуманное письмо. Но оно живет во мне и все хорошеет и становится еще вернее.

Благодарю Вас за все, что Вы сделали для меня этой весной. Конечно, я была должна отказаться от перевода Гюго – мне это не по силам, но… Вы сами все знаете.

Позвоню из Москвы.

Toujours cette folle[76]

Это экземпляр Marion для Акимова.

12

15 декабря 1953 г. <Ленинград>

Дорогой Михаил Леонидович,

вот мой «Призыв души». Оригиналу 2300 лет. Один Бог знает, как это должно звучать. Простите, что снова докучаю Вам своими бредами, но для меня эта работа имеет особый смысл.

Еще раз благодарю Вас за напоминание А. А. о Marion. Вы не можете себе представить, как меня тронула Ваша заботливость. Завтра позвоню.

Toujours cette folle

13

<23 февраля 1954 г. Москва>

Благодарю за память и поздравление. Скучаю по Ленинграду. Скоро приеду.

Ахматова

14

<21 ноября 1954 г. Ленинград>
От всей души поздравляю сегодняшним днем

Ахматова

О. Э. Мандельштаму

12 июля <1935>

Милый Осип Эмильевич, спасибо за письмо и память. Вот уже месяц, как я совсем больна. На днях лягу в больницу на исследование. Если все кончится благополучно – непременно побываю у Вас.

Лето ледяное – бессонница и слабость меня совсем замучали.

Вчера звонил Пастернак, который по дороге из Парижа в Москву очутился здесь. Кажется я его не увижу – он сказал мне, что погибает от тяжелой психастении. Что это за мир такой? Уж Вы не болейте, дорогой Осип Эмильевич, и не теряйте бодрости.

С моей книжкой вышла какая-то задержка. До свидания…

Крепко жму Вашу руку и целую Надюшу.

Ваша Ахматова

Э. Г. Герштейн

1

31 дек. 36 г. <Ленинград>

Милая Эмма, я до сих пор не поблагодарила Вас за Ваше осеннее гостеприимство и заботы обо мне. Простите меня. Уже четыре месяца я болею, сердце мешает мне жить и работать.

Сейчас мне принесут Вашу статью о Лермонтове, и я буду ее читать в новогоднюю ночь.

Меня сняли с пенсии, что, как вы можете себе представить, сильно осложняет мое существование.

Надо бы в Москву, да сил нет. Целую Вас крепко.

Ваша Анна

2

<7.1.1943. Ташкент>

Милая Эмма, простите, что не ответила Вам сразу. Знаю, что не сердитесь. В ноябре я чуть не умерла, теперь вернулась к жизни.

Целую. Анна

3

<Весна. 1943. Ташкент>

Дорогая Эмма,

месяца два тому назад Надя и я написали Вам по письму в ответ на Ваши изящные письма, но нашему эпистолярному искусству, очевидно, не повезло, и оно потерпело аварию где-то в районе Ел. Мих. Фраткиной.

Напишите мне. Как живется Вам, где Сергей Борисович, Осмеркины?..

Мой Левка пишет, что поехал в экспедицию и рад этому.

Он здоров и благополучен.

19 марта я получила от него первую телеграмму.

Целую Вас

Ваша Ахматова

У меня было два тифа, и я лежала в 4-х больницах.

4

14 февр. 1944. <Ташкент>

Дорогая Эмма,

благодарю Вас за Ваше милое дружеское письмо. Теперь, да и всегда, голос друга – великое утешение.

Очень горько было узнать о Вашей утрате и знать, что во время такого тяжелого испытания Вы были одиноки.

Я получила московский вызов, жду ленинградского, о высылке которого уже имею телеграмму из Союза писателей.

Скоро увидимся.

Целую вас. Ваша Ахматова

Привет друзьям!

5

<Начало июня 1945. Ленинград>

Дорогая Эмма, еще раз благодарю Вас за письмо о Леве. Мне подали его одновременно с Левиным письмом. Последние месяцы я очень тревожилась, не получая от него с фронта ни слова. Я недавно узнала, что его бабушка умерла в декабре 1942 г. в Бежецке.

Поздравляю Вас с нашей общей Великой радостью – Победой.

Отчего Вы ни слова не написали о себе? Я так давно не была в Москве, что ничего о всех вас не знаю. Как Николай Иванович, Евгений Яковлевич? Где Вы работаете и занимаетесь ли Лермонтовым? Меня выбрали членом Пушкинской Комиссии. Я 16 дней пролежала из-за гриппа с осложнениями, только вчера встала. Целую.

Лева пишет свой адрес 28807-г, а Вы 28807-ч. Я послала две одинаковые открытки по этим двум адресам. Хоть одну он получит. Живу очень пустынно. Вижу мало людей.

Шлю привет и поздравления друзьям-москвичам.

6

15 июня <1945. Ленинград>

Милая Эмма,

Ваша телеграмма встревожила меня. Что называете Вы своим вторым письмом? Писали ли Вы мне еще или это относится к письму, в котором Вы переписали Левино письмо от 28 мая?

Сейчас посылаю Вам телеграмму: «Получила ваше письмо от 7-го июня». Пишу – 7-го, но в сущности даты не знаю – она так смазана.

Что случилось, Эмма?

Я хотела ответить Вам подробно, поговорив с Л. Я. Гинзбург относительно Ваших лермонтовских дел. Не исключена возможность, что я скоро буду в Москве – Ардовы зовут меня на дачу.

Еще раз спасибо за все, милая Эмма!

Жду вестей.

Ваша Ахматова

Леве пишу часто, но пока ответа нет.

7

<Начало августа 1945. Ленинград>

Дорогая Эмма,

писал ли Вам Эйхенбаум? Я встретила его, как теперь говорят, на Эренбурге и заговорила о Вас. Он ответил вполне удовлетворительно. Сказал, что очень ценит Вашу работу, очень хочет работать с Вами, спросил, живете ли Вы еще на Щипке и т. п. Я, конечно, хотела написать Вам об этом сразу, но заболела и только вчера встала с постели. Левушка пишет довольно часто. Мне предлагают перевести несколько вещей Бараташвили и принять участие в его юбилее в октябре в Тбилиси. Тогда увидимся. – Ваша *Ахматова*.

8

26 сент. <1952. Ленинград>

Милая Эмма, посылаю сегодня Ниночке мой перевод стихотворения Виктора Гюго («Надежды хрупкие…»). Его надо как можно скорее доставить в Гослитиздат, редактору Гюго Нине Ильиничне Куцошвили. Я очень прошу Вас это сделать, потому что у Ардовых он может заваляться. Стихи эти идут в юбилейном издании Гюго, и меня очень торопят их сдать.

Я бы позвонила Вам, но не доверяю Вашему телефону, памятуя, как плохо Вас вызывают. Позвоните мне, предупредив открыткой. Как Ваши дела и здоровье? В Ленинграде я чувствую себя хуже, чем в Москве, но пока все еще сносно.

Погода невообразимая. Целую Вас.

Ваша Ахматова

Позвоните в бухгалтерию Гослитиздата Е-1–89–45 и спросите, когда будут платить за осетин, и скажите, что я в Ленинграде.

9

2 октября <1954. Ленинград>

Милая Эмма Григорьевна, с трудом нашла Ваш адрес, – позвонить не могу – нет талона. В понедельник у меня начался озноб. t° 39,1. Позвали доктора, на другой день то же. Пенициллином сбили жар, но я до сих пор совсем больна. Работать не могу – слабость, удушье. Скорей всего это реакция на огорчения разного рода. Вы, наверно, сказали обо мне все, известные Вам, дурные слова. На большее я не надеюсь. Ирочка хворает. Аня вся в пятерках. Книга Ник. Ив. уже распродана. Петров пишет о ней и очень хвалит. Привет ему, т. е. не Петрову, и милым сестрам Игнатовым. Целую. Ваша *Ахм.*

10

<7 сентября 1955. Ленинград>

Благодарю письмо чувствую себя дурно – *Ахматова*

11

16.12 <1956. Ленинград>

Эмма, только вчера меня посетила И. Н. Томашевская, которой я передала Вашу просьбу к Пушк. Дому. Она обещала скоро все выяснить. Я погибаю от страшных головных болей, которые не дают мне заснуть. С ужасом думаю о горе, постигшем Вашу семью. Очень прошу Вас передать мой привет Вашей матушке и сестре. Ваше последнее письмо недоразумение. Я ничего у Вас не просила. Пенсия пришла. *Ахм.*

12

<25 июня 1957 г.>

Беспокоюсь ваше здоровье сама нездорова целую – *Ахматова*

13

25 окт. <1958? Ленинград>

Что с Вами? Не пугайте меня. Какие там ссоры. Бред. Лучше скажите, как Вы без одежды, питья, еды и почти без жилища умудряетесь делать архивные находки. По-моему, Вас надо показывать за деньги. В самом деле все это меня весьма тревожит. Здесь ничего нового.

Целую. Ваша Ахматова

Что Надя?

В самом деле все у меня так плохо, что я больше ни на что не надеюсь. Впрочем, Эмма, Вы все знаете.

14

1 августа 1958. Комарово

Эмма!

На Ваш вопрос о моем здоровии не так легко ответить. Во-первых, как Вы знаете, мне пошел семидесятый год и это одно не украшает самочувствия. Во-вторых, я ношу в себе четыре смертельные болезни, от которых никто и никогда не обещал мне исцеления, и каждая из них дает о себе знать. Короче говоря, сердце болит каждый день и ходить даже так, как до последней болезни, я не могу. Все это, вероятно, в порядке вещей, но думать об этом, а главное, формулировать все это в словах не так уж весело. Последний хирург, который смотрел меня в Ленинграде, сказал, что операция необходима, но невозможна из-за состояния сердца. Вот, кажется, и все. А впрочем, я живу обычно: сижу на крыльце, «хожу гулять» до дачи Плоткина, пытаюсь работать. Смерть М. М. тяжело поразила меня.

Обо всем остальном (весьма существенном), что содержит Ваше письмо, я надеюсь поговорить с Вами по телефону, когда доберусь до городской квартиры.

Где Маруся и как ее здоровье? Я не пишу ей, потому что вообще не могу писать, а еще потому, что она не может

распечатывать письма (это следующий этап нашего с ней заболевания), но люблю ее и постоянно вспоминаю.

Лева договора не получил, и все замерло.

Целую. Ахматова

15

29 января <1959. Ленинград>

Милая Эмма,

Роман Альбертович подробно доложит Вам об исполнении Вашего поручения. Он был на высоте положения – звонил раз сто и добился результата.

Очень прошу Вас переписать эти четыре стихотворения Панта в моем переводе и доставить тов. Зимину в И-во Ин. Литературы – хотя бы по почте. Телефон Зимина И1–76–40. Позвоните ему сегодня же и скажите, что рукопись готова. Это очень спешно.

Я – плохая. Картину эту Вы так часто видели, что не стоит ее описывать. В феврале все же надеюсь быть в Москве.

Вчера приехал Боря Ардов. Говорит, что продолжает завидовать Вашему Павлику.

Я почти никого не вижу в Ленинграде – одна не выхожу.

Виноградов, кажется, по моей просьбе все сделал для Срезневских. Ак. Наук хлопочет за них.

Напишите мне несколько слов о себе, о Марусе.

Целую Вас.

Ваша Ахматова

16

<20 августа 1958. Комарово>

Вторично позвоню пятницу вечером письма Вяземского нужны могу дать деньги целую Ахматова

В. Г. Гаршину

2 октября 1941 г. Москва

Я благополучно приехала в Москву. Куда поеду дальше – не знаю. Чистополь, по-видимому, отпадает. Я здорова. Очень бы хотелось узнать хоть что-нибудь о Вас. Привет.

А.

И. Н. Томашевской

1

27 мая 42 г.

Дорогая Ирина Николаевна,

сейчас узнала, что Вы остаетесь в Москве и Вам можно написать. Как много и напряженно я думала о Вас и всех Ваших все эти месяцы. Как хочу знать все о Вас. С бесконечной благодарностью вспоминаю, как Вы и Борис Викторович были добры ко мне.

О Гаршине у меня не было вестей пять месяцев, и только вчера я получила от него открытку. Напишите мне о нем. Мне очень трудно.

Крепко Вас целую.

Привет Борису Викторовичу и Вашим детям.

Ваша Ахматова

Мой адрес: Ташкент, ул. Карла Маркса, 7.

2

17 июня <1942 г.>

Дорогая Ирина Николаевна,

сейчас получила Ваше письмо. Благодарю Вас. Это первое подробное сообщение о Владимире Георгиевиче за все время. Как Вы добры ко мне. О себе сказать решительно нечего. Я здорова, живу в хороших условиях, каждый день вижу Л. К. Чуковскую. В. Г. мне не пишет. Шлю ему множество телеграмм. Доходят ли они! Передайте мой привет Бор. Викт.

Целую Вас.

Ваша Ахматова

Жива ли Л. М. Энгельгар<д>т?

3

4 апреля <1943 г.>

Дорогая моя,

вот Вам и Б. В. – азийский подарок. Я сегодня получила письмо от моего Левы. Не знала о нем ничего семь месяцев и сходила с ума. Целую Вас. Привет друзьям.

Ахм.

Это письмо передаст Вам В. Берестов. Он очень хороший мальчик и пишет стихи.

Поговорите с Валей.

4

Дорогая Ирина Николаевна, по-видимому, все мои письма к Вам пропали. Пропали и два Ваших. Это очень печально.

Валерия Сергеевна или Николай Иванович Харджиев покажут Вам мои стихи и поэму, над которой я много работала. Если можно, стихи и поэму надо доставить Владимиру Георгиевичу. Отсюда это очень трудно сделать. Буду Вам безмерно благодарна, если Вы поможете мне в этом.

Желаю Вам всего хорошего, часто Вас вспоминаю. Мы здесь стоим на пороге жары, которую почти нельзя вынести…

Целую Вас.

Ваша Ахматова

14 апр. 1943 г.

Привет Борису Викторовичу и Вашей милой дочке. Адрес Гаршина: Л-д, 22. Часть 053.

5

2 июня 1943 г. Ташкент

Мой дорогой друг, так как письма мои и Ваши – пропадали, мы совсем потеряли друг друга из вида. Теперь Ася расскажет Вам о моей жизни в Ташкенте. Самой мне даже не хочется говорить об этих скучных и пыльных вещах, о тупых и грязных сплетнях, нелепостях и т. д.

Я болела долго и тяжело. В мае мне стало легче, но сейчас начинается жара и, значит, погибель.

Книга моя маленькая, неполная и странно составленная, но все-таки хорошо, что она вышла. Ее читают уже совсем другие люди и по-другому.

Из Ташкента в Россию двинулась почти вся масса беженцев 1941 г. С Академией Наук уезжает 1000 человек.

Город снова делается провинциальным, сонным и чужим.

Из Ленинграда получаю письма только от Владимира Георгиевича. Он просит меня остаться в Ташкенте до конца.

Теперь без Цявловских я уже никогда ничего не буду знать о Вас. Это очень горько.

Сын мой Левушка поехал в экспедицию в тайгу – очень доволен. Все его сложности кончились 10 марта, но он остался прикрепленным к Норильску до конца войны.

Ничего не знаю о Лозинском, Лидии Яковлевне и тех немногих ленинградцах, с которыми я встречалась перед войной. На днях встретила на улице И. А. Орбели, который зачем-то приехал сюда из Эривана, и мы приветствовали друг друга, как тени в «Чистилище» Данте.

У меня новый дом, с огромными тополями за решеткой окна, какой-то огромной тихостью и деревянной лесенкой, с которой хорошо смотреть на звезды. Венера в этом году такая, что о ней можно написать поэму. А мою поэму Вы получили? Как Борис Викторович, кончил ли Ваш сын обучаться, что дочка?

Привет Пастернаку, Осмеркиным и всей далекой странной Москве. Отсюда всюду далеко. Целую Вас.

Ваша Анна

6

27 сент. <1943 г.>

Милая Ирина Николаевна,

после очень долгого перерыва мне были особенно приятны вести от Вас. Спасибо, что не забываете.

У нас чудесная тихая и какая-то огромная осень. Я – четвертый день в постели, простужена и стерла ногу.

Из Ташкента все разъехались. Стало очень тихо и пустынно.

Получаю много писем из Ленинграда. Володя спрашивал меня о Вас. Когда мы увидимся? Привет всем вашим. Целую Вас.

Ваша Ахм.

Недавно получила восхитительное письмо от Б. Л. с совершенно изумительным анализом поэмы.

Завтра – вторая годовщина моего вылета из Ленинграда.

Помните этот день?

7

21 марта <1944 г.>

Дорогая Ирина Николаевна, вот уже два месяца, что я собираюсь выехать из Ташкента. Дело в том, что я каждую неделю получаю от Владимира Георгиевича телеграмму с извещением о высылке мне вызова «на днях». Последняя такая телеграмма подписана и Ольгой Берггольц. Московский вызов у меня давно на руках.

Как Вы, как Борис Викторович?

Очень бы хотела продолжить с ним разговор о строфах Пушкина.

Сейчас в Ташкенте рай. Все цветет буйно и блаженно: красивее всего цветет айва.

Передайте мой привет Зое, Борису Викторовичу, Лозинскому, Пастернаку, Осмеркину.

Все перестали мне писать, уверенные, что я уже в дороге.

Целую Вас.

Ваша Ахматова

Н. А. Ольшевской-Ардовой

1

<14 июля 1944 г.>

Сообщите здоровье целую вас нежно живу одна благодарю за все Ахматова

2

<6 августа 1944 г.>

Гаршин тяжело болен психически расстался со мной сообщаю это только вам Анна

3

9 августа <1944 г.>

Дорогая моя, спасибо за письмо – оно тронуло меня и напомнило Вас и себя, какой я была в мае. Получили ли Вы мою телеграмму, знаете ли мои новости? Я все еще не на Фонтанке, там нет воды, света и стекол. И неизвестно, когда все это появится. Была в Териоках (2 дня) – читала стихи раненым. Крепко целую Вас и детей. Привет маме, думаю о ее мучениях. И пусть мне напишет Николай Иванович.

Ваша Анна

Получила милое письмо от Ардова.

Простужена, лежу. Что-то неладно с сердцем.

4

2 августа 1945 г.

Дорогая Нина Антоновна, мне очень стыдно, что я не откликнулась на Вашу чудесную телеграмму и до сих пор не поблагодарила Вас и Виктора Ефимовича за Вашу неизменную доброту и дружескую заботу обо мне.

Право, я всего этого не стою.

Часто и нежно вспоминаю Вас обоих. Будьте здоровы и

счастливы. Целую Ваших мальчиков. Напишите два слова.

Ваша Ахматова

5

<19 февраля 1947 г.>

Моя Нина, как давно я ничего не знаю о Вас. Это очень скучно. Я долго и тяжело болела осенью, потом встала, как ни в чем ни бывало, теперь опять хвораю. Занимаюсь Пушкиным – «Маленькими трагедиями» и «Повестями Белкина».

Целую Вас – привет Вашему милому дому.

Ваша Ахматова

6

6 февраля 1955 г., Ленинград

Дорогая моя, нижнее место я получила, когда тронулся поезд. Хорошо спала – приехала бодрая. Вчера мне принесли для перевода корейскую поэму и «Рыбака». Великолепно, но переводить почти невозможно. У меня еще в голове «московская симфония» – Лапа, телефон, радио, «маз» и т. д.

А здесь очень тихо. Анютка ласково меня встретила – обе девочки в восторге от подарков. Целую и благодарю Вас и всех вас.

Ваша Ахматова

7

28 января <19>57 г.

Дорогая Нина, вчера звонила Марина и сказала, что получила Ваше письмо. Мне завидно, напишите и мне. Маргарита взяла у меня пять стихотворений для «Литературной Москвы» (№ 3). Посмотрим. Все происходит довольно обычно. Вероятно, 15 февраля поеду в Ленинград – сдавать работу. Моя книга ведет себя все так же загадочно. Дружу с Мишей Ардовым. Наталья Ильинична Игнатова умерла. Жду письма и обнимаю Вас.

Ваша Ахматова

Москва

8

13 октября 1964 г. Комарово

Нина, наверное, мне не надо говорить Вам, что я все время с Вами, я так хорошо себе представляю четырехместную палату, обход врачей, меряние температуры и т. д. Странно мне только, что там не я, а Вы.

Когда после второго инфаркта я лежала у Вас в маленькой комнате, моей единственной радостью был Ваш сухонький утренний курительный кашель. Сколько ночей Вы из-за меня не спали! А Ваш обморок под Новый год…

Я написала несколько стихотворений, из них выживут, по-видимому, два.

Посылаю Вам фотографию: это я читаю стихи «Наследница», а Толя слушает…

Уверена, что этой зимой так или иначе я буду писать Вам письма – если Анатолий Генрихович даст милостивое согласие и впредь печатать их на машинке…

Низко кланяюсь тому, кто сейчас с Вами.

Целую Вас.

Ваша Анна

9

<Осень 1964 г.>

Нина, мне и самой скучно, что я Вам так давно не писала. Это происходило единственно из-за отсутствия поблизости моего секретаря… По-видимому, в ноябре мне придется быть в Москве, там, конечно, узнаю обо всем подробнее, но и этого мне мало. Изо всех сил хочу Вас видеть…

Последние дни здесь гостила Надежда Яковлевна, она рассказывала что-то московское.

Вы будете смеяться, вчера мне подали телеграмму из Оксфорда с сообщением, что я приглашена принять почетную степень доктора литературы. Вот.

10

5 января 1965 г., Ленинград

Я очень скоро приеду в Москву… О том, что было в Италии, расскажу при свидании, хотя особенно интересного ничего не было… Нина, я люблю Вас, и мне без Вас плохо жить на свете.

Целую Вас.

Ваша Анна

11

<Зима 1965 г.>

Вы, наверное, уже знаете, что меня выбрали в Правление Союза. Для меня это большая неожиданность… Толя написал для «Москоу Ньюс» мой портрет. Мне бы очень хотелось, чтобы Вы видели эту прозу. Думается, что никто, как Вы, не мог бы оценить некоторые ее качества. Во всяком случае такого портрета у меня еще не было и едва ли будет. Так или иначе мы Вам ее доставим.

10 февраля на пушкинском вечере мой голос прочтет два стихотворения, а Володя Рецептер прочтет мою маленькую прозу «Пушкин и дети»… Получили ли нашу телеграмму к св. Нине? Сколько раз я проводила этот день с Вами? Целую Вас нежно.

12

<Лето 1965 г.>

…Всегда мысленно беседую с Вами, Ниночка. У нас столько тем, правда? Я, кажется, мало и плохо рассказала Вам про Лондон и Париж. Может быть, еще напишу Вам об этом, когда окончательно приду в себя.

В. А. Сутугиной

1

2 августа 1945. Ленинград

Дорогая Вера Александровна,

Ваша открытка с нашим домом пристыдила меня. Поверьте, что Ваша память обо мне и любезность Крачковского, который сам завез мне письмо, безмерно тронула меня. В Ташкенте я довольно часто встречала Ал. Н. Тихонова, который стал писать необычайно интересные мемуары. Я живу совсем одна и все в той же комнате. За окном сад и нежное ленинградское небо.

Целую Вас.

Ваша Ахматова

2

29 августа 1945. Комарово

Дорогая Вива!

Конечно, очень грустно, что мы так редко видимся. Но это происходит главным образом оттого, что мы обе часто плохо себя чувствуем.

Когда буду в городе, непременно позвоню Вам. И Вы звоните. Клянусь, что больше не буду требовать от Вас мемуаров.

На днях выйдет моя книга «Бег времени», сберегу экземпляр для Вас.

Целую Вас.

Ваша Ахматова

Б. Л. Пастернаку

1

20 июля <1943>

Дорогой Борис Леонидович,

письмо Ваше было для меня неожиданной радостью.

Как странно, что мы не переписывались все время – правда?

Поздравляю Вас с успехом Вашей книги – вот бы мне на нее посмотреть. Наталия Александровна Вишневская расскажет Вам обо мне.

Она прекрасно читает Ваши стихи и какой голос! До свидания.

Ваша Ахматова

2

29 ноября 1952

Дорогой Борис Леонидович, когда я приехала в Москву и Нина сказала мне, что Вы в больнице, мне показалось, что закрылся самый озаренный предел моего московского существования. Кроме того, все: улицы, встречи, люди стали менее интересны и подернулись туманом. Уж это ль не волшебство!

Мой дорогой друг, летом 51 года я проделала тот же долгий, больничный путь и знаю, как он скучен и труден. Но верно говорит Лозинский: в больнице есть своя прелесть. Надеюсь, что с 52 годом кончится и Ваше больничное заключение, и снова будет все как раньше: снежное Замоскворечье, и музыка, и творчество, и друзья.

Все спрашивают о Вас, ждут Вас. Немчинова восхищается Вашим Шекспиром, которого, как Вы, конечно, знаете, Гослитиздат будет переиздавать. А я слышу со всех сторон: Пастернак читает Чехова.

Берегите себя, Борис Леонидович, – надеюсь скоро увидеть Вас. Вот каким коротким оно стало, это письмо, которое я мысленно пишу Вам с первого дня моего приезда в Москву. Вы – мастер эпистолярного стиля – не осуждайте меня, ведь я же не пишу никому и никогда.

Ваша Анна Ахматова

Письмо написано на машинке, чтобы не затруднять Вас разбором моих каракуль.

Н. Я. Мандельштам

1

2 авг. <1945>

Надюша!

Чувствую себя до такой степени виноватой перед Вами, Эдиком и Ниной, что не знаю с чего начать. Я получала письма и телеграфные поздравления, я бывала утешена Вашей памятью обо мне, я отвечала невпопад, уверена, что не все дошло. Представляю себе, как вам жарко сейчас. А у нас шумные предосенние бури с крупным дождем и облаками.

От Софьи Аркадьевны, которой я иногда пишу, – никогда ни слова.

Целую Вас, Ервана, Нину. Не забывайте.

Ваша Анна

2

<1952>

Дорогая Надюша,

как приятно было получить от Вас весточку.

Сегодня у меня бурный день: завтра сдаю Марьону. Она до ужаса надоела мне – и предвижу еще много возни и сложностей. Если все пойдет гладко – надо бы опять поехать в санаторию. Здоровьем своим я вообще довольна. Когда и что узнаю о Вас? В Ленинграде – пустыня. Не вижу почти никого. К новому дому словно привыкла, но как-то все еще живу на Фонтанке.

Я даже не знаю Вашего адреса. По радио говорят, что в Ташкенте – лето. Вспоминаю 1944. Ах Надя, Надя!

Ваша Анна

3

12 июля 1957

Дорогая Надюша,

очень хочу жить с Вами в Москве, лишь бы сохранился мой дом в Ленинграде.

Работы у меня много (переводной) и все московская.

Жду вестей, крепко Вас целую. В воскресенье еду к себе на дачу в Комарово.

Ваша А. Ахматова

Красная Конница
4, кв. 3

4

8 окт. 1963

Надюша,

очень скучно так долго ничего не знать о Вас. Почему опять Псков? Как здоровье?? Кто вокруг Вас? Напишите.

Целую

Ваша Ануш

5

27 дек. 1963. Москва

Надя,

посылаю Вам три странички – это в «Листки из Блокнота», которыми я продолжаю постоянно заниматься. Вероятно, кончится небольшой книгой.

Думали ли мы с Вами, что доживем до сегодняшнего Дня – Дня слез и Славы. Нам надо побыть вместе – давно пора.

У Вас, то есть у Осипа Эмильевича, все хорошо. Сейчас позвоню Вашему Жене.

Спасибо за письмо.

Ваша Ахматова

Л. Н. Гумилеву

1

1 шюля. <1953>

Дорогой мой сынок Левушка, опять давно не писала тебе и даже не имею обычного извинения – работы.

Я отдыхаю теперь после санатории, где было очень хорошо и прохладно и отдельная комната и общее доброе отношение.

Но я одичала, и мне трудновато приходится в таком обширном обществе. Мне приходит в голову, что тебе нужно посылать не папиросы, а сигареты – какой смысл пересылать папиросные мундштуки. Я, так же как и ты, плохо представляю себе мой ленинградский быт с тех пор, как кончился Фонтанный Дом. Однако Нева течет, Эрмитаж стоит на месте, белые ночи ходят по улицам и заглядывают в окна. Так по крайней мере мне кажется из Москвы, кот. сейчас тоже по-своему красотка: фонтаны бьют, липовый дух пробивается даже в автобусы, цветут маки и надо всем нежное среднерусское небо.

29 июня я была на похоронах А. А. Осмеркина. Он умер на этюде с кистью в руке, как настоящий художник. Пишу с почты – это, кажется, единственное место, где меня посещает эпистолярная муза.

Из Ленинграда, мой дорогой Левушка-осминогушка, напишу тебе настоящее письмо. Я пробуду там недолго, потому что меня зовут на дачу под Коломну, где я отдыхала в прошлом году. Береги себя – не пей слишком крепкий чай. Ну, дождь, кажется, кончается, кончается и письмо. Можно идти домой. В июле пошлю тебе почтой двести рублей и, конечно, посылку.

Крепко тебя обнимаю.

Мама

2

20 сентября 54

Только сегодня, дорогой мой Левушка, я отправила тебе две открытки. Сама ходила за пенсией на Гороховую – помнишь? День светлый – небо как летом. Поздравительная посылка тебе еще не отправлена, но все продукты уже куплены.

В китайской антологии, которую я продолжаю читать, опять

наткнулась на гуннов. Теперь это 1-й век нашей эры. Два китайца (Генералы S и W и Li Ling взяты гуннами в плен, где пребывают 19 лет. Затем один (Sa Wu) возвращается на родину, а другой поет песню, кот. переведена по-английски и без рифм[77]. Писала ли я тебе, что видела Пекинское издание Цуй Юаня 1954 по-английски. Переводил китаец.

Целую. Мама

Я прошел 10 тыс. ли
Сквозь пески пустынь,
Служа моему государю,
Чтобы разбить гуннские орды

и т. д. Доходят ли до тебя мои выписки из антологии и подстрочников? М. б. они тебе вовсе не интересны?

8

<1956>

Милый Лев,

мой редактор позвонил мне на другой день и извинился, что не может со мной повидаться, т. к. у него собрание в Союзе.

Книгу он уже отправил в Из-во. Заводить по телефону сложные разговоры не сочла удобным. Он был все так же приветлив и участлив и, конечно, не откажется со мной повидаться, когда я его об этом попрошу. Жду заключения договора. После этого сразу поеду домой. Очень устала и соскучилась. Целую тебя и Таню. Ире, Ане, Р. А. приветы.

Мама

В. С. Срезневской

Валя!

Кажется, я не писала тебе пятьдесят лет (с Евпатории – Севастополя 1907 г.). Дело вот в чем: я лежу третий месяц и встану ли – неизвестно.

Прошу тебя сообщить Ире все твои обстоятельства, и пусть она мне позвонит.

Целую тебя, твоих детей и внучек.

Твоя Аня

Посылаю тебе 100 рб. и палку.

9 дек. 1957

Москва

Э. Г. Бабаеву

<10 янв. 1960. Комарово>

Ваше письмо замечательно тем, что, когда я открываю его, чтобы перечитать, там всякий раз написано что-то другое…

Я первый раз встречаюсь с таким явлением – как вы этого достигли?

Вчера, например, я вычитала там вещи уж совсем невероятные.

Жду следующего раза, чтобы узнать что-то мне необходимое. А про стихи свои узнала, что в них главное подтекст. Чем его больше и чем он глубже, тем они лучше и ближе людям. Как было бы чудесно, если бы меня кто-нибудь расколдовал и я могла бы написать Вам письмо.

В. Я. Виленкину

4 февраля 1962. Комарово

Милый Виталий Яковлевич, дайте мое «Слово о Пушкине» Галине Петровне Корниловой для «Лит. газеты». Это очень спешно. Еще раз спасибо за все.

Ахматова

Алексису Ранниту

1

Многоуважаемый господин Раннит!

Благодарю Вас за стихи (жаль, что Вы прислали только перевод) и милое письмо.

Трудно понять, зачем кому-то понадобилось тревожить мой прах и сообщать бредовые легенды о моем пребывании в Париже в 1938 году. На Западе после 1912 года я не была, а в 1938 году дальше Москвы не ездила.

Я совершенно уверена, что Ваша работа будет интересной и нужной, но меня несколько беспокоит ее биографическая часть. Во всяком случае, я предупреждаю Вас, что писаниями Георгия Иванова и А. Страховского пользоваться нельзя. В них нет ни одного слова правды.

Простите, что не сразу отвечаю Вам – я все еще очень слабая после болезни и сейчас живу за городом.

Анна Ахматова

18 февраля 1962 Комарово

2

Многоуважаемый господин Раннит!

Пишу Вам сегодня только для того, чтобы Вы знали, что Ваше письмо от 8 марта мной получено.

Позвольте мне в свою очередь задать Вам несколько вопросов: отчего мои стихи кажутся Вам синими, когда они уже полвека всем кажутся белыми? Почему Вы не прислали мне оригинала своего стихотворения? – Я свободно читаю по-английски.

Видели ли Вы мое «Слово о Пушкине» в «Литературной газете» в юбилейные дни?

Мне было приятно узнать, что Вы держитесь того же мнения, что и я, относительно Георгия Иванова и Страховского. И следовательно, мне не придется, прочтя Вашу работу, еще раз испытывать ощущение, описанное в последней главе «Процесса» Кафки, когда героя ведут по ярко освещенной и вполне благоустроенной Праге, чтобы зарезать в темном сарае.

Все, что Вы пишете о моих стихах, очень любезно. Но мне раз навсегда не дано верить похвалам. Зато всякой брани я верю слепо.

Посылаю Вам список стихотворений, напечатанных после книги 1961 г. в разных изданиях, и несколько ответов на Вашу анкету.

Желаю Вам успеха.

Анна Ахматова

24 мая 1962 Москва

<Приложение, к письму А. Раннит
24 мая 1962>

Чтобы не задерживать Вас, посылаю Вам несколько ответов на Ваши вопросы:

2. Первое стихотворение написала 11 лет. Печатаюсь с весны 1911 года. Например: «Аполлон» № 4, 1911 г.

3. Дома никто не поощрял мои первые попытки, а все скорее недоумевали, зачем мне это нужно.

4. Пушкин (и то, и другое).

5. Учитель – Анненский.

8. Никакими учебниками никогда не пользовалась – слушала обсуждение стихов в «Цехе Поэтов» 1911–1914.

Из перечисленных Вами лиц покойный Борис Викторович Томашевский был моим учителем по линии пушкиноведения, а Георгий Аркадьевич Шенгели, с которым я часто встречалась и дружила, иногда для своих изысканий просил меня произнести какую-нибудь мою строку.

9. Сколько длится процесс создания стихотворения не знаю, и все об этом см. в моем стихотворении (стр. 287) «Одно, словно кем-то разбуженный гром».

10. Внесла ли что-нибудь в русскую поэзию – не мне судить.

Ахм.

3

Многоуважаемый господин Раннит, письмо Ваше уже давно догнало меня в Москве.

Вероятно, я не очень точно выразилась, и Вы меня не поняли. Я слепо верю всему дурному, что говорили о моих стихах, не оттого, что их много бранили, а оттого, что мне это вообще свойственно – такой я была и в самом начале, когда меня еще

никто не бранил. И тогда я похвалам совершенно не верила.

Благодарю Вас за Ваши стихи. Они сейчас не при мне, но у меня осталось впечатление высокого строя души и необычайно бережного отношения к слову.

Сборник «В пути» я получила. Он не всем одинаково нравится, но меня *пленяет* каким-то своим, очень необычным и трогательным видением природы.

В следующем письме пришлю фотографию, которую Вы просите.

Как подвигается Ваша работа, про которую Вы писали мне в Вашем первом письме?

С Новым Годом!

Анна Ахматова

2 декабря 1962

Москва

Многоуважаемый господин Раннит!

Никак мне не добраться до Ленинграда, я все еще в Москве и не знаю, не лежит ли у меня дома письмо от Вас. Сейчас отвечаю на Ваше последнее письмо от 2-го января.

Когда я прочла Ваши вопросы, то подумала, перефразируя чеховскую старушку: «Давно я, грешница, анкет не заполняла». Отвечу коротко.

Из художников больше всего любила испанцев, в частности, Эль-Греко. Вообще, в юности любила воду и архитектуру, а теперь – землю и музыку.

В 21-м году написала балетное либретто «Снежная маска» по Блоку. Своими портретами не была довольна (пожалуй, кроме Тышлера). Другой раз, может быть, напишу больше.

Желаю Вам успехов.

Ахматова

20 февраля 1963

К. И. Чуковскому

Дорогой Корней Иванович!

С каждым днем у меня растет потребность написать Вам (писем я не писала уже лет 30), чтобы сказать, какое огромное и прекрасное дело Вы сделали, создав то, что Вам угодно было назвать «Читая Ахматову». Вы очень легкой рукой, изящно просто и неопровержимо написали о моем творческом пути и о моем Триптихе, который Вы помните еще по Ташкенту.

Вашу работу читали самые разные люди, и я давно не видела, чтобы какая-нибудь статья так нравилась, чтобы вызывала такое волнение и сочувствие, а мне остается только удивляться тому, как много Вами безошибочно угадано.

Вы сказали о поэме самое нужное, самое главное.

Благодарю Вас.

Анна Ахматова

6 ноября 1962

Москва

М. В. Латманизову

Многоуважаемый Михаил Владимирович,

конечно, мое согласие на встречу с Вами остается в полной силе. От всего сердца сочувствую Вам, оттого что сама три раза перенесла инфаркт, и еще в прошлом году пролежала в Гаваньской больнице после приступа три месяца. Отвечаю Вам не сразу, потому что Ваше письмо догнало меня в Москве, где я живу уже два месяца. Желаю Вам как можно скорее вернуться домой.

Анна Ахматова

11 ноября 1962

Москва

С. Г. Вейнбергу

1

Многоуважаемый господин Вейнберг!

Все, кому я показывала Ваши переводы, находят их превосходными. Я сама занимаюсь этим делом и знаю, что это такое.

Вам удалось сохранить все вплоть до моего дыхания, отношение к слову бережное, смысл передан до конца. Мои стихи еще никогда не звучали так ни на одном языке. Если у Вас есть еще переводы моих стихов, пожалуйста, пришлите их мне. Благодарю Вас.

Анна Ахматова

22 дек. 1962

Москва.

2

Простите меня, милый доктор, за мое бесконечное молчание. Причин у меня слишком много, чтобы их перечислять.

Была рада получить Ваши переводы – они мне понравились.

Всего Вам хорошего.

Анна Ахматова

11 янв. 1965

Ленинград.

Д. Е. Максимову

3 января 1963. Москва.

Милый Дмитрий Евгеньевич,

когда я прочла Ваше письмо, мне показалось, что мне не 73 года, а 37 или даже все 17.

Побойтесь Бога!

Из всех Ваших любезных пожеланий принимаю только одно: побольше стихов и поменьше переводов. Я окончательно убедилась, что для поэта переводы – дело гибельное. Творческая энергия утекает и образуется то удушье, с которым совершенно нельзя бороться.

Благодарю Вас за то, что Вы помните меня или делаете вид, что помните. Ленинград совершенно забыл меня,

Привет Вашему дому.

Ахматова

Т. И. Коншиной

Дорогая Татьяна Ильинична,

еще раз благодарю Вас за восхитительный и трогательный подарок. Я, конечно, не передарю его, а положу в него мои стихи и завещаю Пушкинскому Дому как память о Ней.

Очень горько думать, что у Вас все время болит голова.

Я тоже последние дни чувствую себя дурно.

Целую Вас.

Ваша Ахматова

6 февраля 1963

Москва

Е. М. Ольшанской

Милый поэт,

стихи Ваши (про вокзал) так понравились всем, что их даже брали списывать. Мне было приятно за Вас – они действительно хорошие.

Желаю Вам успеха. Работайте побольше над стихами.

Анна Ахматова

22 февраля 1963

Москва

Жоржу Нива

Господин Нива!

Надеюсь в ближайшее время подробно и убедительно написать Вам по поводу сделанного Вами перевода очерка С. К. Маковского.

Этот очерк содержит бесчисленное количество ошибок, которые надо приписать возрасту писавшего и его дурным источникам.

Все, что сделали Вы, – прекрасно. Переводы стихов очень бережны и точны.

Я благодарю Вас.

Анна Ахматова

7 июня 1963 – Москва

В. А. Горенко

1

Милый Виктор,

чувствую себя очень виноватой перед тобой. Я своевременно получила твою фотографию, за которую я тебя благодарю, и чудесные нейлоновые чулки. Но мои постоянные переезды из Москвы в Ленинград и из Ленинграда в Москву, а еще больше тяжелая сердечная болезнь и длительное пребывание в больнице – у меня было уже три инфаркта – нарушают нормальное течение моей жизни. О себе мне почти нечего тебе сообщить. Я немного перевожу, в настоящее время – румын и занимаюсь Пушкиным.

Еще раз благодарю тебя, что не забыл сестру.

Твоя Аня

Все лето буду у себя на даче в Комарове с Ханной. Целую тебя.

7 июня 1963

Москва

2

Милый Виктор,

как мне было приятно получить твое доброе письмо. Благодарю также за предложение посылок. Но, дорогой брат, это не нужно. Я на такой жестокой диете, что посылать мне что-нибудь съедобное бесполезно. Что же касается одежды, она мне ни к чему: того, что у меня есть, хватит, вероятно, до конца.

Передать твой привет Леве не могу – он не был у меня уже два года, но, по слухам, защитил докторскую диссертацию и успешно ведет научную работу.

Если выйдет сборник моих стихов, я, конечно, с удовольствием пошлю их Тебе, и, разумеется, с надписью. Сборник 1961 года какие-то сумасшедшие раскупили в несколько минут, и у меня даже нет экземпляра.

Будь здоров.

Крепко Тебя целую

Твоя сестра Анна

20-е июля 1963 г.

3

Милый Виктор,

посылаю тебе мою последнюю фотографию. Многие считают ее самой удачной. Мне пришло в голову, что я все же могу исполнить Твою просьбу о подписи на стихотворном сборнике.

В этот конверт я вкладываю эту надпись, а Ты купи мою книгу стихотворений и наклей на титульный лист мою надпись. Будь здоров.

Целую тебя

Твоя Анна

15 сентября 1963 г.

4

1 дек. 1964. Москва

Милый Виктор,

случилось так, что я потеряла твой адрес и вовремя не ответила тебе и не поблагодарила за твой великолепный подарок – черное кимоно. Я ношу его с особым удовольствием. Сегодня еду в Рим и на Сицилию, где мне вручат премию за стихи. Командировка всего 10 дней. Я, конечно, в большой тревоге, – выдержит ли мое здоровье. Посылаю тебе мою последнюю фотографию – она лучше всех остальных. Передай мой привет твоей жене. Целую тебя.

Всегда твоя Аня

5

Милый Виктор!

Сегодня мне принесли три мои молодые фотографии (из хороших). Мне хочется, чтоб они были у тебя, посылаю их тебе.

Лето прошло неважно, из-за плохой погоды я почти не гуляла

и как-то ослабела.

Когда вернусь в город, напишу подробней.

Не забывай сестру. Будь, главное, здоров. Привет моей милой belle-soeur.

Твоя Аня

18 авг. 1965

А. Г. Найману

1

На целый ряд Ваших писем мне хочется ответить следующее.

Последнее время я замечаю решительный отход читателя от моих стихов. То, что я могу печатать, не удовлетворяет читателя. Мое имя не будет среди имен, которые сейчас молодежь (стихами всегда ведает молодежь) подымет на щит[78].

Хотя сотня хороших стихотворений существует, они ничего не спасут. Их забудут.

Останется книга посредственных, однообразных и уж конечно старомодных стихов. Люди будут удивляться, что когда-то в юности увлекались этими стихами, не замечая, что они увлекались совсем не этими стихами, а теми, которые в книгу не вошли.

Эта книга будет концом моего пути. В тот подъем и интерес к поэзии, который так бурно намечается сейчас, – я не войду, совершенно так же, как Сологуб не переступил порог 1917 года и навсегда остался замурованным в 1916. Я не знаю, в какой год замуруют меня, – но это не так уж важно. Я слишком долго была на авансцене, мне пора за кулисы.

Вчера я сама в первый раз прочла эту роковую книгу. Это хороший добротный третий сорт. Все сливается – много садов и парков, под конец чуточку лучше, но до конца никто не дочитает. Да и потом насколько приятнее самому констатировать «полное падение» (chute complète) поэта. Мы это знаем еще по Пушкину, от которого все отшатнулись (включая друзей, см. Карамз.).

Между прочим (хотя это уже другая тема) я уверена, что сейчас вообще нет читателей стихов. Есть переписчики, есть запоминатели наизусть. Бумажки со стихами прячут за пазуху, стихи шепчут на ухо, беря честное слово тут же все навсегда забыть и т. д.

Напечатанные стихи одним своим видом возбуждают зевоту и тошноту – людей перекормили дурными стихами. Стихи превратились в свою противоположность. Вместо: Глаголом жги сердца людей – рифмованные строки вызывают скуку.

Но со мной дело обстоит несколько сложнее. Кроме всех трудностей и бед по официальной линии (два постановления ЦК’а), и по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие, и даже м. б. официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало то главное. Я оказалась

довольно скоро на крайней правой (не политич.). Левее, следственно новее, моднее были все: Маяковский, Пастернак, Цветаева. Я уже не говорю о Хлебникове, который до сих пор – новатор par excellence. Оттого идущие за нами «молодые» были всегда так остро и непримиримо враждебны ко мне, напр. Заболоцкий и, конечно, другие обереуты. Салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув слегка припахивающее доносом обвинение во внутренней эмиграции. Книга обо мне Эйхенбаума полна пуга и тревоги, как бы из-за меня не очутиться в лит. обозе. Через несколько десятилетий все это переехало за границу. Там, для удобства и чтобы иметь развязанные руки, начали с того, что объявили меня ничтожным поэтом (Харкинс), после чего стало очень легко со мною расправиться, что не без грации делает, напр., в своей антологии Ripolino. Не зная, что я пишу, не понимая, в каком положении я очутилась, он просто кричит, что я исписалась, всем надоела, сама поняла это в 1922 и так далее.

Вот, примерно, все, что я хотела Вам сказать по этому поводу. Разумеется, у меня в запасе множество примеров, подтверждающих мои мысли. Впрочем, Вам они едва ли интересны.

1960, 22 янв. – 29 февр.

Ленингр. – Москва

2

М. б. вместо письма,

Нам дано знать друг о друге много, вероятно, даже больше, чем нужно. И мы оба боимся этого знания. Мы прячем его и от себя, и друг от друга. Мы прячем его под грузными слоями чего-то совсем другого и часто нехорошего, мы готовы на все – только бы *не то*. Я на Ваше тщеславие – Вы на мои разговоры о смерти.

Только бы не то! Оттого все так ужасно. Это все, что я могу сказать. Я уверена, что Вы поймете каждое мое слово.

А.

14 авг. 1963. Будка

3

Из-под смертного свода кургана
Вышла, может быть, чтобы опять
Поздней ночью иль утром рано
Под зеленой луной волховать.

Сегодня вернулась в Будку. Без меня сюда решительно проникла осень и пропитала все своим дыханьем. Но мак дождался меня.

Комната одичала и пришлось приводить ее в чувство Чаконой Баха, Симфонией Псалмов Стравинского, раскаленной печкой, цветами и Вашей телеграммой.

Сейчас уже почти все хорошо. Горят свечи, безмолвная и таинственная Марина рисует меня. Когда приеду в город – буду ждать звонка из Москвы, хотя бы от Нины.

А.

21 сентября

1963

4

31 марта 1964 года
Москва

Вы сегодня так неожиданно и тяжело огорчились, – что я совсем смущена. Я часто и давно говорила Вам об этом, и Вы всегда совершенно спокойно относились к моим словам.

Очень прошу Вас верить, что и сегодня они не содержали в себе ничего, кроме желания Вам добра. Теперь я окончательно убедилась, что все разговоры на эту тему гибельны, и обещаю *никогда* не заводить их.

Мы просто будем жить как Лир и Корделия в клетке, – переводить Леопарди и Тагора и верить друг другу.

Анна

5

Великий Четверг
Толя,
и все это вздор, главное, чтобы Вы были совсем здоровым и

ясным.

Сердце усмиряют правильным дыханьем, а черные мысли верой в друзей. Разлук, разлучений, отсутствий вообще не существует, – я убедилась в этом недавно и имела случай еще проверить эту истину почти на днях. Щедро делюсь с Вами этим новым моим опытом.

Вчера говорила с «домом». Ирина шлет Вам привет. Ника устроила для Вас письмо о Леопарди. Шлите Тагора, мы его перепишем на машинке и дадим младотурку. Борис произносит о Вашей пьесе очень большие слова.

Я уверена, что в 1963 г. с Вами было то же самое, а Вы проходили всю болезнь без врача.

Не скучайте!

А.

Сегодня вышла «Юность» с моими стихами.

…и помните, что больница имеет свою монастырскую прелесть, как когда-то написал мне М. Л. Лозинский.

6

Пятница
Ночь

Толя,

сегодня огромный пустой день, даже без телефона и без малейших признаков «Ахматовки». Я почему-то почти все время спала. Была рада, когда Саша Нилин сказал, что Вы узнали библейские нарциссы. Благодарю товарища, который звонил от Вас.

Насколько уютнее было бы, если бы в больнице была я, а Вы бы меня навещали, как когда-то в Гавани. Лида Ч. нашла эпиграф ко всем моим стихам:

> На позорном помосте беды,
> Как под тронным стою балдахином.

Но кажется это не ко всем?!

Вечером приходила Раневская. Алексей приглашал ее в свою картину: «Три толстяка».

Завтра жду Нику.

Если Тагор утомляет Вас – бросьте его и главное при первом признаке усталости делайте перерыв: мы еще поедем и к березам

и к Щучьему Озеру.

Спокойной ночи!

А.

Б-у-д-у Вам писать часто.

7

Толя,

Анюта по ошибке захватила томик Мистраль и мои стихи. Пусть Таня вернет их на место.

Вчера у меня были Карпушкин и Маруся. Очень спешат с Тагором, которого необходимо сдать до 1 июня.

Ахм.

Не вздумайте мне звонить. Я знаю, что Вам запрещено вставать.

8

Толя!

Все дело в Вашей пьесе. Это я объясню подробнее при встрече. Очень прошу мне верить. Остальное все на прежних местах. Берегите себя. Если можно, напишите мне несколько слов – я еще не верю, что говорила с Вами.

Ну и утро было у сегодняшнего дня! – Бред.

А.

9

9 вечера

Толя,

Наташа Горбаневская принесла мне «Польшу». Там стихи, которые Вам кое-что напомнят. Мы посадили сына Наташи на большую белую лошадь, он сморщился. Я спросила: «Ты боишься?» Он ответил: «Нет, конь боится».

Н. А. жалуется, что Вы очень строгий. Толя, не безумствуйте. ‹…› Не могу сказать, что мне было очень приятно это слышать… Унижение очень сложная вещь. Кажется, как всегда накаркала я.

Помните, как часто я говорила, что Природа добрее людей и редко мешается в наши дела. Она, наверно, подслушала и вежливо напомнила о себе.

Дайте мне слово, что против очевидности Вы не выйдете из больницы. Это значило бы только то, что Вы хотите в нее очень скоро вернуться и уже на других основаниях. Я про больницу знаю все. Но довольно про больницу – будем считать, что это уже пройденный этап. Главное это величие замысла, как говорит Иосиф.

Саша расскажет Вам, что я делаю. А в самом деле сонная и отсутствующая. Люди стали меня немного утомлять. Никому не звоню. Вечер будет 23 мая. Напишите мне совсем доброе письмо. А это правда, что Вы написали стихи?

Анна

2 мая. Ордынка.

10

3 мая

Толя,

и я благодарю Вас за доброе письмо. Сегодня день опять был серый, пустой и печальный. По новому Мишиному радио слышала конец русской обедни из Лондона. Ангельский хор. От первых звуков – заплакала. Это случается со мной так редко. Вечером был Кома – принес цветы, а Ника принесла оглавление моей болгарской книжки – она составила ее очень изящно. Была у меня и ленинградская гостья – Женя Берковская.

Не утомляйте себя Тагором.

Пишите о себе.

Нина категорически утверждает, что мне до Вас не добраться, но я вспоминаю седьмой этаж у Шенгели! – Помните.

Завтра мне принесут летнее пальто – начну выходить.

Спокойной ночи!

А.

Сегодня Ира сеет привезенный Вами мавританский газон около Будки, костер сохнет, кукушка говорит что-то вроде ку-ку, а я хочу знать, что делает Ваш тополь?

11

5 мая

Толя,

сейчас придет Галя Корнилова, и я передам ей эту записку. 7-го у здешних Хайкиных будет исполнена моя «Тень». Может быть, пойдем вместе. Писать все труднее от близости встречи. Я совершенно одна дома. Вокруг оглушительная тишина, здешний тополь (у окна столовой) тоже готов зазеленеть.

Вчера у нас были Слонимы и Ильина, сегодня Муравьев принесет летнее пальто и ленинградские письма. Впрочем Вы все это уже знаете.

До свиданья,

А.

12

Толя милый,

очевидно мне судьба писать Вам каждый день. Дело в том, что сейчас звонил сам Ибрагимов – он заключает с Вами договор и не знает Вашего адреса. Очевидно, надо сообщить ленинградский адрес, как делаю я.

Лежите тихо, тихо.

Видите, как все ладно.

Пришла книга Рива, где он требует для меня Нобелевскую премию.

Если можно, напишите два слова и *адрес* для Ибрагимова.

А.

13

Толя милый!

сейчас уезжаю с «Легендарной Ордынки». Дала Нине для Вас Леопарди, у меня другой – подарок Лиды Чуковской.

Нина объяснит Вам, почему все хорошо, а я думаю, что

За ландышевый май
В моей Москве стоглавой
Отдам я звездных стай
Сияния и славы…

А.

12 мая 1964

Москва

14

<Из Рима в Ленинград, почтовый штамп на конверте 7.12.64.
Открытка с видом площади Испании>

Вот он какой – этот Рим. Такой и даже лучше. Совсем тепло. Подъезжали сквозь ослепительную розово-алую осень, а за Минском плясали метели, и я думала о Нине.

Во вторник едем в Таормино. Хотят устроить вечер стихов.

Прошу передать мой привет Вашим родителям ‹…›.

А. Ахматова

15

<Из Рима в Ленинград, почтовый штамп неразборчив.
Открытка с видом площади делл'Эздера>

Вернулись ли Вы в Ленинград? В среду мы едем в Таормино. Сегодня полдня ездили по Риму, успели осмотреть многое снаружи, но красивее того розового дня на Суворовском ничего не было. Обе здоровы. Ахм. *<Приписка сверху:>* Привет милым ленинградцам.

16

<Из Рима в Ленинград, почтовый штамп 9.12.64.
Открытка с видом Пантеона>

Жду врача из Посольства. Пусть скажет, могу ли я ехать <в> Таормин и пр. Сны такие темные и страшные, будто то, что в Вильнюсе сказала дочка Трауберга – правда.

Где Вы?

Мы еще не знаем дня вручения премии.

Звоните Ане. Пусть меня все помнят.

Ахм.

17

<Из Рима в Ленинград, почтовый штамп 9.12.64.

Открытка с видом фонтана Треви>

Сегодня был совсем особенный день – мы проехали по Via Appia – древнейшему кладбищу римлян. Кругом жаркое рыжее лето и могилы, могилы.

Потом ездили на могилу Рафаэля. Кажется, он похоронен вчера. (В Пантеоне.)

Завтра едем в Таормин. Ира две ночи подряд говорила с Аней по телефону.

Ахм.

18

<Из Таормина в Ленинград, почтовый штамп 10.12.64.

Письмо пришло, несмотря на перепутанный адрес: вместо «Проспект Карла Маркса» Ахматова написала «Проспект Ленина». Открытка с видом Пантеона ночью>

Из Таормина проездом»

Сегодня с утра мы уже в Таорминине <так!>. Здесь все, о чем я Вам только что говорила. Целый день дремала. Сейчас у меня был Ал-ей Алекс. Он бодр и очень заботлив. Сказал, что г-жа Манцони хочет писать мой лит. портрет. Поэтому просит, чтобы я ее приняла. *<Над строкой приписка:>* нужна библиография. Ей, очевидно, должна заняться Женя. Я так и знала, что Вы загоститесь в Москве. Целую мою Нину в Москве. Привет Вашим.

А.

19

<Из Таормина в Ленинград, почтовый штамп 11.12.64.

Открытка с репродукцией гравюры А. П. Остроумовой-Лебедевой

«Крюков канал»>

«Из Таормина проездом, Ахматова»

А вот и наш Ленинград. Я – почти в Африке. Все кругом цветет, светится, благоухает. Море – лучезарное. Завтра – вечер. Буду читать стихи из «Пролога». Все читают на своих языках. У меня уже были журналисты. Грозят телевизором.

Пишу Нине.

Думаю о ней. Всем привет.

Ахм.

<Приписка сверху> Ира говорит: «Позвоним, когда вернемся в Рим».

<Приписка сбоку> Покупайте воскресную «Унитy».

20

<Из Таормина в Ленинград, почтовый штамп 12.12.64>

А сегодня, для разнообразия, вместо открытки – письмо.

Вечером в отеле стихотворный концерт. Все читают на своих языках. Я решила прочесть по тексту «Нового мира» три куска из «Пролога», о чем, кажется, уже писала Вам.

Завтра вручение премии в торжественной обстановке – в Катанье, потом опять Рим и… дом.

Все, как во сне. Почему-то совсем не трудно писать письма. Вероятно, меня кто-нибудь загипнотизировал. Врач дал чудесное лекарство, и мне сразу стало легче. Как моя Нина? – Чем бы ее потешить…

Надо думать – Вы уже в Ленинграде. Прошу Вас передать мой привет Вашим родным. Сейчас ездила смотреть древний греко-римский театр на вершине горы.

Позвоните Ане и скажите, что мы с Ирой живем дружно и она чувствует себя хорошо.

Будем звонить из Рима.

А.

21

<Телеграмма из Катании 14.12.64 в Ленинград>

Tous va bien demain partons pour Rome Achmatova[79]

22

Толя,

вот и моя московская зима пришла к концу. Она была трудной и мутной. Я совсем не успела ничего сделать, и это очень скучно.

Теперь думаю только о доме. Пора!

Надо платить за Будку и получать пенсию.

А по Комарову уже бродят «морские белые ночи», кричит

кукушка и шуршат сосны. Может быть, там ждет меня книга о Пушкине.

Привет всем.

Анна Ахматова

23

2 января 1966

Толя!

Пишу Вам только потому, что Вы так просите и заставляет Маруся, сама же я еще не чувствую себя готовой писать письма.

Вы обо мне все знаете. Иосиф видел, как я хожу, могу немного читать, не все время сплю, начала что-то есть. Благодарю Вас за письма и телеграммы, последняя даже принесла мне радость.

Москва была мне доброй матерью, здесь все добрые. Жду лирику Египта.

Всем привет.

Ахматова

24

19 янв. <1966> (Крещение)

Вечер.

Вероятно, Вас поразит то, что я Вам сейчас скажу. Дело вот в чем: не знаю, изменила ли меня моя страшная болезнь, но что Вы скажете, если я Вам открою, что она изумительно изменила Вас. 8-го января я видела Вас в сиянии такого счастья, как будто никогда не было «Сент. поэмы» и цикла «Уничтожение». А в следующие (10) дни Вы так повзрослели, в Вас появилась какая-то большая забота (что ли), и взгляд другой, и улыбка, кот. я так помню. Такое впечатление, что Вы пережили что-то очень большое и м. б. страшное. Я, конечно, не спрашиваю, так ли это, да Вы, наверно, и не знаете сами.

25

20 <января 1966> днем

Сейчас принесли Вашу записку. Благодарю Вас. Хорошо, что они не тянули. Теперь Вы свободны – Ленинград не худшее. Как я

хочу туда – как не хочу в санаторию. Просто домой, как все (в скуку, в неудачи, мелкие ссоры и обиды). Как я устала от этого парадного больничного благополучия – улыбок, комплиментов моей «красоте» и т. д. Хочу домой! Взять бы хорошие переводы, а еще писать прозу, в кот. одно сквозит через другое, и читателю становится легче дышать. Толя, не уставайте, Вы ведь сильный… Меня сегодня уложили в постель после мытья – здесь (в палате) не поговоришь. Надо было зайти днем, я послала за Вами сестру, но Вы уже убежали. Изо всех сил запрещаю своему дырявому сердцу реагировать на Вашу записку. Пока успешно. – Иначе – беда.

А.

Пусть зайдет попрощаться Иосиф. Сейчас принесли большой конверт от Корнея: газета со статьей Берлина, там же перевод моих воспоминаний о Мандельштаме и 1-й том американской Ахматовой. Я немного оглушена.

Отчего Вы не идете?

26

31 янв. 1966

Толя,

Забыла Ваш адрес и потому решаюсь беспокоить Асю Давыдовну.

Благодарю Вас за довольно толковую телеграмму.

Вчера у меня был Миша Мейлах с Арсением, но я была еле живая. Это от лекарства, кот. сегодня отменено. Новостей, конечно, никаких нет, кроме одной типа сюрприза. Не будьте любопытным.

Пишу воспоминания о Лозинском, но выходит вяло и чуть-чуть слезливо.

Со своей стороны шлю приветы моим милым согражданам.

Передайте поклон Вашим родителям ‹…›.

Позвоните Нине.

А.

<На обороте адрес матери А. Г. Наймана и обратный:>

От Ахматовой А. А.

Москва Боткинская больница, корп. 6

Ф. И. Малову

Ломоносовский пр-кт 19 кв. 48
Москва.

Милый Федор Иванович,

мне хочется сказать Вам несколько слов по поводу моего цикла «Полночные стихи». Там всего семь стихотв., посвящение и отрывок: «Чтоб пришлец из давнего века». Вы заметили этот цикл по двум стихотворениям. Я хочу, чтобы Вы прочли весь цикл (в «Дне поэзии» М., 1964). Книга должна появиться в ноябре – декабре этого года. М. б. тогда Вы соблаговолите оторваться от Ваших сельско-хозяйств. забот и уделить несколько минут на письмо мне.

Если «Полн. стих.» почему-нибудь не попадут в альманах, я, кажется, способна прислать Вам весь цикл.

Ахматова

<1964>

Джанкарло Вигорелли

<1964>

Caro Giancarlo, la Sua lettera, con la quale sono stata informata che mi viene assegnato il Premio Taormina, mi ha arrecato una vivida gioia.

Non voglio a questo proposito né brillare per arguzia, né celarmi dietro una falsa modestia, ma questa notizia, che mi giunge dal paese che ho amato teneramente per tutta la mia vita, ha gettato un raggio di luce sul mio lavoro. La prego, caro Giancarlo, di participare la mia gratitudine agli amici che mi hanno prescelta e di ricordarsi che mi ha fatto particularmente piacere ricevere questa notizia proprio da Lei.

In questi ultimi tempi, i miei pensieri sono rivolti all» Italia, poiche ho intrapreso a tradurre in russo l'mtiero volume delle poesie di Leopardi e ho una gran voglia di visitare di nuovo la Sua Patria per immergermi nell'elemento della lingua italiana e vedere la casa in cui visse e creó il Grande Poeta[80].

Г. П. Корниловой

1

Милая Галя!

Время идет, а Вас все нет. По-моему, Вам пора показаться в Комарове. Я, по крайней мере, по-настоящему соскучилась. Июнь был призрачный, финский, а сейчас – самый расцвет лета.

Я кончила переводить Тувима. Посмотрите переводы у Нины Антоновны – может быть, Вам будет интересно.

Кажется, сделала что-то для трагедии («Пролог»). А главное, приезжайте поскорее, мы все обсудим.

Целую Вас.

Ваша Ахматова

17 июля 1964

Комарово

2

Моя дорогая Галя!

Постоянно вспоминаю Вас и очень грущу, что Вас нет около меня.

Кончилось лето, и от этого все стало как-то меланхоличнее.

Благодарю Вас за Ваши постоянные заботы обо мне. С Леопарди все завершилось благополучно: договор подписан и мы начали переводить.

Возвращаю корректуру, сделанную академиком Жирмунским. Под вторым стихотворением дату можно не ставить.

По слухам, исходящим от Толи Наймана, он Вам пишет письмо.

Целую Вас

Ваша Ахматова

7 сентября 1964

Комарово

3

<1965>

Галя,

что у Вас? Кажется, моя книга на днях идет в набор. С Вами будут говорить о прозе. (Лесневский). Врач не пускает меня в Москву – а мне так надо.

Целую. Ваша Анна

Л-д, ул. Ленина

34–23 Ахматова

4

Милая Галя,

посылаю Вам, как обещала «Решку». Даю мое согласие на небольшие сокращения в ней.

Если Вам еще нужно Модильяни, сообщите.

Идут чистые листы «Бега времени».

Когда доберусь до города, позвоню Вам.

Толя привез с эстонского берега замечательные стихи.

Как себя чувствует Ваша проза и почему это я ее не знаю?

Привет всей Москве.

Целую Вас

Ваша Ахматова

30 августа 1965

Будка

И. А. Бродскому

20 окт. 1964

Иосиф,

из бесконечных бесед, которые я веду с Вами днем и ночью, Вы должны знать о всем, что случилось и что не случилось.

Случилось:

И вот уже славы
высокий порог,
но голос лукавый
Предостерег и т. д.

Не случилось:

Светает – это Страшный Суд и т. д.

Обещайте мне одно – быть совершенно здоровым, хуже грелок, уколов и высоких давлений нет ничего на свете, и еще хуже всего то, – что это необратимо. А перед Вами здоровым могут быть золотые пути, радость и то божественное слияние с природой, которое так пленяет всех, кто читает Ваши стихи.

Анна

2

Иосиф,

свечи из Сиракуз. Посылаю Вам древнейшее пламя, в свою очередь, почти украденное у Прометея.

Я в Комарове, в Доме творчества. В будке Аня и сопровождающие ее лица. Сегодня ездила туда, вспоминала нашу последнюю осень с музыкой, колодцем и Вашим циклом стихов.

И снова всплыли спасительные слова: «Главное это величие замысла».

Небо уже розовеет по вечерам, хотя впереди еще главный кусок зимы.

Хочу поделиться с Вами моей новой бедой. Я умираю от черной зависти. Прочтите «Ин. лит.» № 12 – «Дознание» Леона Филипе… Там я завидую каждому слову, каждой интонации. Каков старик! И каков переводчик! Я еще таких не видывала.

Посочувствуйте мне.

Стихи на смерть Элиота м. б. не хуже, но я почему-то не завидую. Наоборот – мне даже светло от мысли, что они существуют.

Сейчас получила Вашу телеграмму. Благодарю Вас. Мне кажется, что я пишу это письмо очень давно.

Анна

15 февраля 1965

Комарово

3

<12 июля 1965>

Иосиф, милый!

Так как число неотправленных Вам писем незаметно стало трехзначным, я решила написать Вам настоящее, т. е. реально существующее письмо (в конверте, с маркой, с адресом), и сама немного смутилась.

Сегодня Петров День – самое сердце лета. Все сияет и светится изнутри. Вспоминаю столько разных петровых дней.

Я – в Будке. Скрипит колодезь, кричат вороны. Слушаю привезенного по Вашему совету Перселла («Дидона и Эней»). Это нечто столь могущественное, что говорить о нем нельзя.

Оказывается, мы выехали из Англии на другой день после ставшей настоящим бедствием бури, о которой писали в газетах. Узнав об этом, я поняла, почему я увидела такой страшной северную Францию из окон вагона. И я подумала: «Такое небо должно быть над генеральным сражением» (день, конечно, оказался годовщиной Ватерлоо, о чем мне сказали в Париже). Черные дикие тучи кидались друг на друга, вся земля была залита бурой мутной водой: речки, ручьи, озера вышли из берегов. Из воды торчали каменные кресты – там множество кладбищ и могил от последней войны. Потом был Париж, раскаленный и неузнаваемый. Потом обратный путь, когда хотелось только одного – скорей в Комарово; потом – Москва и на платформе все с цветами, все как в самом лучшем сне.

Унялись ли у Вас комары? У нас их уже нет. Мы с Толей заканчиваем перевод Леопарди, а в это время стихи бродят где-то далеко, перекликаясь между собою, и никто не едет со мной туда, где сияет растреллиевское чудо – Смольный Собор.

И в силе остаются Ваши прошлогодние слова: «Главное – это

величие замысла».

Благодарю за телеграмму – античный стиль Вам очень удается, как в эпистолярном жанре, так и в рисунках; когда я их вижу, всегда вспоминаю иллюстрации Пикассо к «Метаморфозам».

Читаю дневники Кафки.

Напишите мне.

Ахматова

P. S. Я думаю, что Вам бы понравилась моя встреча с Гарри. Жена его – прелесть.

А вот совершенно забытое и потерянное мною четверостишие, которое вынырнуло в моих бумагах:

Глаза безумные твои
И ледяные речи,
И объяснение в любви
Еще до первой встречи.

Может быть, это из «Пролога»?

А. Т. Твардовскому

17 января 1965. Ленинград.

Милый Александр Трифонович!

Одной из самых приятных неожиданностей Нового года было Ваше поздравление. Я, конечно, сразу вспомнила древнее Palazzo Ursino и Вашу речь 12-го декабря 64-го года. Благодарю Вас за нее еще раз.

А. Ахматова

М. И. Дикман

Дорогая Мина Исаевна!

Сейчас собрала в четырех местах фрагменты 1-й части моей поэмы, которая называется «Тысяча девятьсот тринадцатый год». По окончательной договоренности с А. А. Сурковым решено напечатать целиком 1-ю часть моей поэмы, которая раньше была напечатана в фрагментах.

(От печатанья II-й части «Решка» и III-й «Эпилог» – я отказываюсь).

При этом прилагаю список.

Анна Ахматова

19 апреля 1965

Комарово

С. И. Четверухину

Спасибо Вам, многоуважаемый Серафим Ильич, за письмо и стихи. Они – выстраданные и искренние. Желаю Вам всего доброго.

Анна Ахматова

18 авг.

1965 Комарово

Поэма без героя

Первая редакция

Поэма без героя
1940–1942
Ленинград – Ташкент

Tout le monde a raison.
La Rochefoucauet[81]

Deus coservat omnia.[82]
Девиз в гербе на воротах дома, в котором я жила, когда писала поэму.

Вместо предисловия

«Ah, distinctly I remember
it was in the black december».
«The Raven»[83]

Она пришла ко мне в ночь с 26-го на 27-е декабря 1940 г., прислав, как вестницу, еще осенью отрывок «Ты в Россию пришла ниоткуда…».

Я не звала ее. Я даже не ждала ее в этот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы.

Появлению ее предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями.

В ту ночь я написала два куска первой части («1913 год») и «Посвящение». В начале января я, почти не отрываясь, написала «Решку», а в Ташкенте (в два приема) – «Эпилог», ставший третьей частью поэмы, и сделала много вставок в две первые части.

Всю эту поэму я посвящаю памяти ее первых слушателей, погибших в Ленинграде во время осады, чему не противоречат первоначальные посвящения, которые продолжают жить в поэме своей жизнью.

Их голоса я слышу теперь, когда я читаю вслух мою поэму, и этот тайный хор стал для меня навсегда фоном поэмы и ее оправданием.

8 апреля 1943 г.

Ташкент

Часть первая
Тысяча девятьсот тринадцатый год

Di rider finirai
Pria dell'aurora.
Don Giovanni[84]

Во мне еще как песня или горе
Последняя зима перед войной.
Белая стая

Посвящение

…А так как мне бумаги не хватило,
Я на твоем пишу черновике.
И вот чужое слово проступает
И, как снежинка на моей руке,
Доверчиво и без упрека тает.
И темные ресницы Антиноя
Вдруг поднялись, и там зеленый дым,
И ветерком повеяло родным, –
Не море ли? – нет, это только хвоя
Могильная, и в накипаньи пен
Все ближе, ближе… «Marche funèbre»…

Шопен…

26 декабря 1940 г.

Фонтанный Дом

Вступление

In my hot youth – when George the Third was King…

Don Juan[85]

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу.

1941. Август (воздушная тревога)

Осажденный Ленинград ***I***

Я зажгла заветные свечи
И вдвоем с ко мне не пришедшим
Сорок первый встречаю год.
Но… Господняя сила с нами!
В хрустале утонуло пламя,
«И вино, как отрава, жжет».[86]

Это всплески жуткой беседы,
Когда все воскресают бреды,
А часы все еще не бьют.
Нету меры моей тревоге,
Я, как тень, стою на пороге.
Стерегу последний уют.
И я слышу звонок протяжный,
И я чувствую холод влажный,
Каменею, стыну, горю…
И, как будто припомнив что-то,
Повернувшись вполоборота,
Тихим голосом говорю:

Вы ошиблись: Венеция дожей –
Это рядом, но маски в прихожей
И плащи, и жезлы, и венцы
Вам сегодня придется оставить,
Вас я вздумала нынче прославить,

Новогодние сорванцы.

Этот Фаустом, тот Дон Жуаном,
А какой-то еще с тимпаном
Козлоногую приволок.
И для них расступились стены,
Вдалеке завыли сирены,
И, как купол, вспух потолок.

Ясно все: не ко мне, так к кому же!
Не для них здесь готовился ужин,
И не их собирались простить.
Хром последний, кашляет сухо…
Я надеюсь, нечистого духа
Вы не смели сюда ввести.

Я забыла ваши уроки,
Краснобаи и лжепророки,
Но меня не забыли вы!

Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет –
Страшный праздник мертвой листвы.

* * *

Только ряженых ведь я боялась:
Мне всегда почему-то казалось,
Что какая-то лишняя тень
Среди них без лица и названья
Затесалась. Откроем собранье
В новогодний торжественный день.

Ту полночную гофманиану
Разглашать я по свету не стану
И других бы просила…
Постой,
Ты, как будто, не значишься в списках,
В колдунах, звездочетах, лизисках[87] –
Полосатой наряжен верстой,
Размалеванный пестро и грубо,
Ты – ровесник Мамврийского Дуба,

Вековой собеседник луны.
Не обманут притворные стоны,
Ты железные пишешь законы:
Хаммураби, Ликурги, Солоны
У тебя поучиться должны.

Существо это странного нрава…
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество.

И ни в чем не повинен – ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем. Поэтам
Вообще не пристали грехи.
Проплясать пред Ковчегом Завета
Или сгинуть… да что там, – про это
Лучше их рассказали стихи.

Крик: «Героя на авансцену!»
Не волнуйтесь – дылде на смену
Непременно выйдет сейчас
И споет о священной мести…
Что ж вы все убегаете вместе,
Словно каждый нашел по невесте,
Оставляя с глазу на глаз
Меня в сумраке с черной рамой,
Из которой глядит тот самый
До сих пор неоплаканный час.

* * *

Молодого ль месяца шутки?!
Или вправду там кто-то жуткий
Между печкой и шкафом стоит?! –
Бледен лоб и глаза закрыты…
Значит – хрупки могильные плиты,
Значит – мягче воска гранит.
Вздор, вздор, вздор! – от такого вздора
Я седою сделаюсь скоро
Или стану совсем другой.

Что ты манишь меня рукою?..
За одну минуту покоя
Я посмертный отдам покой,

Это все наплывает не сразу…
Как одну музыкальную фразу
Слышу несколько сбивчивых слов.
После… лестницы плоской ступени,
Вспышка газа и в отдаленьи
Ясный голос: «Я к смерти *готов!*»

II

Ты сладострастней, ты телесней
Живых, блистательная тень.

Баратынский

Распахнулась атласная шубка…
Не сердись на меня, голубка, –
Не тебя, а себя казню.
Видишь там, за вьюгой крупчатой,
Театральные арапчата
Затевают опять возню.

Как парадно звенят полозья
И волочится полость козья.
Мимо, тени! Он там один.
На стене его тонкий профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?

Ты сбежала ко мне с портрета,
И пустая рама до света
На стене тебя будет ждать.
Так пляши одна без партнера,
Я же роль античного хора
На себя согласна принять.

Может быть, мне было б приятно
Вмять тебя в полотно обратно,
Если бы не такая ночь,
Когда нужно платить по счету,

А дурманящую дремоту
Мне трудней, чем смерть, превозмочь.

Ты в Россию пришла ниоткуда,
О, мое белокурое чудо,
Коломбина десятых годов!
Что глядишь ты так смутно и зорко,
Петербургская кукла, актерка,
Ты – один из моих двойников!..

К прочим титулам надо и этот
Приписать. О, подруга поэтов!
Я – наследница славы твоей.
Здесь под музыку дивного метра –
Ленинградского дикого ветра
Вижу танец придворных костей.
……
Оплывают венчальные свечи,
Под фатой поцелуйные плечи…
Храм гремит: «Голубица, гряди!»
Горы пармских фиалок в апреле
И свиданья в Мальтийской Капелле,
Как проклятье в твоей груди.

Дом пестрей комедьянтской фуры, –
Облупившиеся амуры
Охраняют Венерин алтарь.
Спальню ты убрала, как беседку, –
Деревенскую девку-соседку
Не признает веселый скобарь.

И подсвечники золотые,
И на стенах лазурных святые –
Полукрадено это добро.
Вся в цветах, как «Весна» Боттичелли,
Ты друзей принимала в постели,
И томился дежурный Пьеро.

* * *

Твоего я не видела мужа –
Я – к стеклу прикипавшая стужа,

Или бой крепостных часов.
Ты не бойся – дома не мечу.
Выходи ко мне смело навстречу –
Гороскоп твой давно готов.

III

Падают Брянские, растут у Манташева,
Нет уже юноши, нет уже нашего.

В. Хлебников

Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл
По неведомому назначенью,
По Неве или против теченья –
Только прочь от своих могил.

В Летнем тонко пела флюгарка,
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.

* * *

И всегда в духоте морозной –
Предвоенной, блудной и грозной
Потаенный носился гул.
Но тогда он был слышен глухо,
Он почти не касался слуха
И в сугробах невских тонул.

А сейчас бы домой скорее
Камероновой галереей
В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять[88] мне будут рады,
Как бывал ты когда-то рад.

Там за островом, там за садом,
Разве мы не встретимся взглядом

Не глядевших на казнь очей?
Разве ты мне не скажешь снова
Победившее
смерть
слово
И разгадку жизни моей?

* * *

Кто за полночь под окнами бродит,
На кого беспощадно наводит
Тусклый луч угловой фонарь, –
Тот и видел, как стройная маска
На обратном «Пути из Дамаска»
Возвратилась домой не одна!

Уж на лестнице пахнет духами,
И гусарский корнет со стихами
И с бессмысленной смертью в груди
Позвонит, если смелости хватит, –
Он тебе, он своей «Травиате»
Поклониться пришел. Гляди!

Ни в проклятых Мазурских болотах,
Ни на синих Карпатских высотах…
Он на твой порог
Поперек…
Да простит тебя Бог.

* * *

Это я – твоя старая совесть
Разыскала сожженную повесть
И на край подоконника
В доме покойника
Положила и на цыпочках ушла.

Послесловие

Все в порядке: лежит поэма
И, как свойственно ей, молчит.
Ну, а вдруг как вырвется тема,
Кулаком в окно застучит?
И на зов этот издалека
Вдруг откликнется страшный звук –
Клокотание, стон и клекот,
И виденье скрещенных рук?..

26/27 декабря 1940 г.

Ночь

Часть вторая
Решка
(*Intermezzo*)

…Я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена
унылость.

«Домик в Коломне»

В. Г. Гаршину

I

Мой редактор мной недоволен,
Клялся мне, что занят и болен,
Засекретил свой телефон:
«Как же можно!.. три темы сразу.
Дочитав последнюю фразу,
Не поймешь, кто в кого влюблен,

II

Кто зачем и когда встречался,
Кто погиб и кто жив остался,
И кто автор и кто герой.
И к чему нам сегодня эти
Рассуждения о поэте
И каких-то призраков рой?..»

III

Я сначала сдалась, но снова
Выпадало за словом слово.
Музыкальный ящик гремел.
И над тем ребристым флаконом

Языком кривым и зеленым
Неизвестный мне яд горел.

IV

И во сне мне казалось, что это
Я пишу для кого-то либретто;
И отбоя от музыки нет.
А ведь сон – это тоже вещица:
«Soft embalmer»[89], Синяя птица
Эльсинорских террас парапет.

V

И сама я была не рада,
Этой адской арлекинады
Издалека заслышав вой.
Все надеялась я, что мимо
Пронесется, как хлопья дыма,
Сквозь таинственный сумрак хвои.

VI

Не отбиться от рухляди пестрой, –
Это старый чудит Калиостро,
За мою к нему нелюбовь.
И мелькают летучие мыши,
И бегут горбуны по крыше,
И цыганочка лижет кровь.[90]

VII

Карнавальной полночью римской
И не пахнет. Напев Херувимской
За высоким окном дрожит.
В дверь мою никто не стучится.

Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.

VIII

Но была для меня та тема,
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут.
Между «помнить» и «вспомнить», други,
Расстояние, как от Луги
До страны атласных баут.

IX

Бес попутал в укладке рыться…
Ну, а все же может случиться,
Что во всем виновата я.
Я – тишайшая, я – простая,
«Подорожник», «Белая Стая»…
Оправдаться, но как, друзья!..

X

Так и знай – обвинят в плагиате…
Разве я других виноватей?
Впрочем, это в последний раз…
Я согласна на неудачу

И смущенье свое не прячу
Под укромный противогаз.

XI

Но сознаюсь, что применила
Симпатические чернила,
Что зеркальным письмом пишу,

Что другой мне дороги нету, –
Чудом я набрела на эту
И расстаться с ней не спешу.

XII

Та столетняя чаровница[91]
Вдруг очнулась и веселиться
Захотела. Я не при чем.
Кружевной роняет платочек,
Томно жмурится из-за строчек
И брюлловским манит плечом.

XIII

Я пила ее в капле каждой
И, бесовскою черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой,
Я грозила ей Звездной Палатой
И гнала на родной чердак, –

XIV

В темноту под Манфредовы ели,
И на берег, где мертвый Шелли,
Прямо в небо глядя, лежал.
И все жаворонки всего мира
Разрывали бездну эфира,
И факел Георг[92] держал.

XV

Но она твердила упрямо:
Я не та английская дама
И совсем не Клара Газуль.

Вовсе нет у меня родословной,
Кроме солнечной и баснословной,
И привел меня сам Июль.

XVI

А твоей двусмысленной славе,
Двадцать лет лежавшей в канаве,
Я еще не так послужу.
Мы с тобой еще попируем,
И я царским моим поцелуем
Злую полночь твою награжу.

3–5 января 1941 г.

Фонтанный Дом

Ленинград

Днем

Часть третья
Эпилог

I suppose all sorts of dreadful
things will happen to us.

Hemingway[93]

Городу и другу

Так под кровлей Фонтанного Дома,
Где вечерняя бродит истома
С фонарем и связкой ключей, –
Я аукалась с дальним эхом,
Неуместным смущая смехом
Непробудную сонь вещей.
Где, свидетель всего на свете,
На закате и на рассвете
Смотрит в комнату старый клен,
И, предвидя нашу разлуку,
Мне иссохшую черную руку,
Как за помощью тянет он.
А земля под ногой горела,
И такая звезда глядела
В мой еще не брошенный дом,
И ждала условного звука…
……

Это где-то там, у Тобрука,
Это где-то здесь – за углом…
Ты мой грозный и мой последний,
Светлый слушатель темных бредней,
Упованье, прощенье, честь.
Предо мной ты горишь, как пламя,
Надо мной ты стоишь, как знамя,
И целуешь меня, как лесть.

Положи мне руку на темя, –
Пусть теперь остановится время
На тобою данных часах.
Нас несчастие не минует,
И кукушка не закукует
В опаленных наших лесах.

……

А не ставший моей могилой
Ты, гранитный, кромешный, милый, –
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо –
Я с тобою неразлучима:
Тень моя на стенах твоих, –
Отраженье мое в каналах, –
Звук шагов в эрмитажных залах
И на гулких сводах мостов.
И на старом Волковом Поле,
Где могу я плакать на воле
В чаще новых твоих крестов.
Мне казалось, за мной ты гнался,
Ты, что там погибать остался
В блеске шпилей, в отблеске вод,
Не дождался желанных вестниц –
Над тобой лишь твоих прелестниц,
Белых ноченек хоровод.
А веселое слово «дома»
Никому теперь незнакомо –
Все в чужое глядят окно.
Кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке,
И изгнания воздух горький,
Как отравленное вино.
……

Все вы мной любоваться могли бы,
Когда в брюхе летучей рыбы
Я от злой погони спаслась,
И над Ладогой и над лесом,
Словно та, одержимая бесом,
Как на Брокен ночной неслась…
А за мною, тайной сверкая
И назвавши себя «Седьмая»,
На неслыханный мчалась пир,
Притворившись нотной тетрадкой,
Знаменитая ленинградка
Возвращалась в родной эфир.

1942

Ташкент (окончено 18 августа)

Окончательная редакция

Поэма без героя
Триптих
(1940–1965)

Deus conservat omnia.[94]

Девиз в гербе Фонтанного Дома

Вместо предисловия

Иных уж нет, а те далече…

Пушкин

Первый раз она пришла ко мне в Фонтанный Дом в ночь на 27 декабря 1940 г., прислав как вестника еще осенью один небольшой отрывок («Ты в Россию пришла ниоткуда…»).

Я не звала ее. Я даже не ждала ее в тот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы.

Ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями.

В ту ночь я написала два куска первой части («1913») и «Посвящение». В начале января я почти неожиданно для себя написала «Решку», а в Ташкенте (в два приема) – «Эпилог», ставший третьей частью поэмы, и сделала несколько существенных вставок в обе первые части.

Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей – моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады.

Их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи.

8 апреля 1943

Ташкент

До меня часто доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях «Поэмы без героя». И кто-то даже советует мне сделать поэму более понятной.

Я воздержусь от этого.

Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит.

Ни изменять ее, ни объяснять я не буду.

«Еже писахъ – писахъ».

Ноябрь 1944

Ленинград

Посвящение
27 декабря 1940

Вс. К.

…….
…а так как мне бумаги не хватило,
Я на твоем пишу черновике.
И вот чужое слово проступает
И, как тогда снежинка на руке,
Доверчиво и без упрека тает.
И темные ресницы Антиноя 1
Вдруг поднялись – и там зеленый дым,
И ветерком повеяло родным…
Не море ли?
Нет, это только хвоя
Могильная, и в накипаньи пен
Все ближе, ближе…
Marche funèbre…[95]
Шопен.

Ночь

Фонтанный Дом

Второе посвящение

О. С.

Ты ли, Путаница-Психея 2,
Черно-белым веером вея,
Наклоняешься надо мной,
Хочешь мне сказать по секрету,
Что уже миновала Лету
И иною дышишь весной.
Не диктуй мне, сама я слышу:
Теплый ливень уперся в крышу,
Щепоточек слышу в плюще.
Кто-то маленький жить собрался,
Зеленел, пушился, старался
Завтра в новом блеснуть плаще.
Сплю –
она одна надо мною, –
Ту, что люди зовут весною,
Одиночеством я зову.
Сплю –
мне снится молодость наша,
Та, ЕГО миновавшая чаша;
Я ее тебе наяву,
Если хочешь, отдам на память,
Словно в глине чистое пламя
Иль подснежник в могильном рву.

25 мая 1945

Фонтанный Дом

Третье и последнее
(Le jour des rois) [96]

Раз в Крещенский вечерок…
Жуковский

Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,
А за ней войдет человек…
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый Век.
Я его приняла случайно
За того, кто дарован тайной,
С кем горчайшее суждено,
Он ко мне во дворец Фонтанный
Опоздает ночью туманной
Новогоднее пить вино.
И запомнит Крещенский вечер,
Клен в окне, венчальные свечи
И поэмы смертный полет…
Но не первую ветвь сирени,
Не кольцо, не сладость молений –
Он погибель мне принесет.

5 января 1956

Вступление

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу.

25 августа 1941

Осажденный Ленинград

Часть первая
Девятьсот тринадцатый год
Петербургская повесть

Di rider finirai
Pria dell'aurora.

Don Giovanni[97]

Глава первая

Новогодний праздник длится пышно,
Влажны стебли новогодних роз.

1914

С Татьяной нам не ворожить…

Пушкин

Новогодний вечер. Фонтанный. Дом. К автору вместо того, кого ждали, приходят тени из тринадцатого года под видом ряженых. Белый зеркальный зал. Лирическое отступление – «Гость из будущего». Маскарад. Поэт. Призрак.

Я зажгла заветные свечи,
Чтобы этот светился вечер,
И с тобой, ко мне не пришедшим,
Сорок первый встречаю год.
Но…
Господняя сила с нами!
В хрустале утонуло пламя,
«И вино, как отрава, жжет»[98].
Это всплески жесткой беседы,
Когда все воскресают бреды,
А часы все еще не бьют…
Нету меры моей тревоге,
Я сама, как тень на пороге,
Стерегу последний уют.
И я слышу звонок протяжный,
И я чувствую холод влажный,
Каменею, стыну, горю…

И как будто припомнив что-то,
Повернувшись вполоборота,
Тихим голосом говорю:
«Вы ошиблись: Венеция дожей –
Это рядом… Но маски в прихожей
И плащи, и жезлы, и венцы
Вам сегодня придется оставить.
Вас я вздумала нынче прославить,
Новогодние сорванцы!»

Этот Фаустом, тот Дон-Жуаном,
Дапертутто 4, Иоканааном 5,
Самый скромный – северным Гланом,
Иль убийцею Дорианом,
И все шепчут своим дианам
Твердо выученный урок.

А для них расступились стены,
Вспыхнул свет, завыли сирены
И, как купол, вспух потолок.

Я не то что боюсь огласки…
Что́ мне Гамлетовы подвязки,
Что́ мне вихрь Саломеиной пляски,
Что́ мне поступь Железной Маски,
Я еще пожелезней тех…

И чья очередь испугаться,
Отшатнуться, отпрянуть, сдаться
И замаливать давний грех?
Ясно все:
Не ко мне, так к кому же?[99]
Не для них здесь готовился ужин,
И не им со мной по пути.
Хвост запрятал под фалды фрака…
Как он хром и изящен…
Однако
Я надеюсь, Владыку Мрака
Вы не смели сюда ввести?
Маска это, череп, лицо ли –
Выражение злобной боли,
Что лишь Гойя смел передать.
Общий баловень и насмешник,

Перед ним самый смрадный грешник –
Воплощенная благодать…

Веселиться – так веселиться,
Только как же могло случиться,
Что одна я из них жива?
Завтра утро меня разбудит,
И никто меня не осудит,
И в лицо мне смеяться будет

Заоконная синева.
Но мне страшно: войду сама я,
Кружевную шаль не снимая,
Улыбнусь всем и замолчу.
С той, какою была когда-то
В ожерелье черных агатов
До долины Иосафата 6
Снова встретиться не хочу…
Не последние ль близки сроки?..
Я забыла ваши уроки,
Краснобаи и лжепророки! –
Но меня не забыли вы.
Как в прошедшем грядущее зреет,
Так в грядущем прошлое тлеет –
Страшный праздник мертвой листвы.

Б *Звук шагов, тех, которых нету,*
Е *По сияющему паркету*
И сигары синий дымок.
Л *И во всех зеркалах отразился*
Ы *Человек, что не появился*
Й *И проникнуть в тот зал не мог.*
Он не лучше других и не хуже,
З *Но не веет летейской стужей,*
И в руке его теплота.
А *Гость из Будущего! – Неужели*
Л *Он придет ко мне в самом деле,*
Повернув налево с моста?

С детства ряженых я боялась,
Мне всегда почему-то казалось,
Что какая-то лишняя тень
Среди них «без лица и названья»
Затесалась…
Откроем собранье
В новогодний торжественный день!
Ту полночную Гофманиану
Разглашать я по свету не стану
И других бы просила…
Постой,
Ты как будто не значишься в списках,
В калиострах, магах, лизисках 7
Полосатой наряжен верстой, –

Размалеван пестро и грубо –
Ты…
ровесник Мамврийского дуба 8,
Вековой собеседник луны.
Не обманут притворные стоны,
Ты железные пишешь законы,
Хаммураби, ликурги, солоны 9
У тебя поучиться должны.
Существо это странного нрава.
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество.
И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем…
Поэтам
Вообще не пристали грехи.
Проплясать пред Ковчегом Завета 10
Или сгинуть!..
Да что там!
Про это
Лучше их рассказали стихи.
Крик петуший нам только снится,
За окошком Нева дымится,
Ночь бездонна – и длится, длится
Петербургская чертовня…
В черном небе звезды́ не видно,
Гибель где-то здесь, очевидно,
Но беспечна, пряна, бесстыдна
Маскарадная болтовня…
Крик:
«Героя на авансцену!»
Не волнуйтесь: дылде на смену
Непременно выйдет сейчас
И споет о священной мести…
Что ж вы все убегаете вместе,
Словно каждый нашел по невесте,
Оставляя с глазу на глаз
Меня в сумраке с черной рамой,
Из которой глядит тот самый,
Ставший наигорчайшей драмой
И еще не оплаканный час?

Это все наплывает не сразу.
Как одну музыкальную фразу,
Слышу шепот: «Прощай! Пора!
Я оставлю тебя живою,
Но ты будешь моей вдовою,
Ты – Голубка, солнце, сестра!»
На площадке две слитые тени…
После – лестницы плоской ступени,
Вопль: «Не надо!» и в отдаленьи
Чистый голос:
«Я к смерти готов».

Факелы гаснут, потолок опускается. Белый (зеркальный) зал снова делается комнатой автора. Слова из мрака:

Смерти нет – это всем известно,
Повторять это стало пресно,
А что есть – пусть расскажут мне.
Кто стучится?
Ведь всех впустили.
Это гость зазеркальный? Или
То, что вдруг мелькнуло в окне…
Шутки ль месяца молодого,
Или вправду там кто-то снова
Между печкой и шкафом стоит?
Бледен лоб и глаза открыты…
Значит, хрупки могильные плиты,
Значит, мягче воска гранит…
Вздор, вздор, вздор! – От такого вздора
Я седою сделаюсь скоро
Или стану совсем другой.
Что ты манишь меня рукою?!

За одну минуту покоя
Я посмертный отдам покой.

Через площадку
Интермедия

Где-то вокруг этого места («… но беспечна, пряна, бесстыдна маскарадная болтовня…») бродили еще такие строки, но я не пустила их в основной текст:

«Уверяю, это не ново…
Вы дитя, синьор Казанова…»
«На Исакьевской ровно в шесть…»
«Как-нибудь побредем по мраку,
Мы отсюда еще в “Собаку”…»
«Вы отсюда куда?» –
«Бог весть!»
Санчо Пансы и Дон-Кихоты
И, увы, содомские Лоты 13
Смертоносный пробуют сок,
Афродиты возникли из пены,
Шевельнулись в стекле Елены,
И безумья близится срок.
И опять из Фонтанного грота,
Где любовная стонет дремота,
Через призрачные ворота
И мохнатый и рыжий кто-то
Козлоногую приволок.
Всех наряднее и всех выше,
Хоть не видит она и не слышит –
Не клянет, не молит, не дышит,
Голова madame de Lamballe,
А смиренница и красотка,
Ты, что козью пляшешь чечетку,
Снова гулишь томно и кротко:
«Que me veut mon Prince Carnaval?»[100]

И в то же время в глубина залы, сцены, ада или на вершине гетевского Брокена появляется Она же (а может быть – ее тень):

Как копытца, топочут сапожки,
Как бубенчик, звенят сережки,
В бледных локонах злые рожки,
Окаянной пляской пьяна, –
Словно с вазы чернофигурной

Прибежала к волне лазурной

Так парадно обнажена.
А за ней в шинели и в каске
Ты, вошедший сюда без маски,
Ты, Иванушка древней сказки,
Что тебя сегодня томит?
Сколько горечи в каждом слове,
Сколько мрака в твоей любови,
И зачем эта струйка крови
Бередит лепесток ланит?

Глава вторая

Иль того ты видишь у своих колен,
Кто для белой смерти твой покинул плен?

1913

Спальня Героини. Горит восковая свеча. Над кроватью три портрета хозяйки дома в ролях. Справа она – Козлоногая, посредине – Путаница, слева – портрет в тени. Одним кажется, что это Коломбина, другим – Донна Анна (из «Шагов Командора»). За мансардным окном арапчата играют в снежки. Метель. Новогодняя полночь. Путаница оживает, сходит с портрета, и ей чудится голос, который читает:

Распахнулась атласная шубка!
Не сердись на меня, Голубка,
Что коснусь я этого кубка:
Не тебя, а себя казню.
Все равно подходит расплата –
Видишь там, за вьюгой крупчатой
Мейерхольдовы арапчата
Затевают опять возню?
А вокруг старый город Питер,
Что народу бока повытер
(Как тогда народ говорил), –
В гривах, в сбруях, в мучных обозах,
В размалеванных чайных розах
И под тучей вороньих крыл.
Но летит, улыбаясь мнимо,
Над Мариинскою сценой prima,
Ты – наш лебедь непостижимый,
И острит опоздавший сноб.
Звук оркестра, как с того света
(Тень чего-то мелькнула где-то),
Не предчувствием ли рассвета
По рядам пробежал озноб?
И опять тот голос знакомый,
Будто эхо горного грома, –
Ужас, смерть, прощенье, любовь…

Ни на что на земле не похожий,
Он несется, как вестник Божий,
Настигая нас вновь и вновь.
Сучья в иссиня-белом снеге…
Коридор Петровских Коллегий 15
Бесконечен, гулок и прям
(Что угодно может случиться,
Но он будет упрямо сниться
Тем, кто нынче проходит там).
До смешного близка развязка;
Из-за ширм Петрушкина маска[101],
Вкруг костров кучерская пляска,
Над дворцом черно-желтый стяг…
Все уже на местах, кто надо;
Пятым актом из Летнего сада
Пахнет… Признак цусимского ада
Тут же. – Пьяный поет моряк…
Как парадно звенят полозья

И волочится полость козья…
Мимо, тени! – Он там один.
На стене его твердый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице:
Плоть, почти что ставшая духом.
И античный локон над ухом –
Все таинственно в пришлеце.
Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале
Или все это было сном?
С мертвым сердцем и мертвым взором
Он ли встретился с Командором,
В тот пробравшись проклятый дом?
И его поведано словом,
Как вы были в пространстве новом,
Как вне времени были вы, –
И в каких хрусталях полярных,
И в каких сияньях янтарных
Там, у устья Леты – Невы.
Ты сбежала сюда с портрета,
И пустая рама до света

На стене тебя будет ждать.
Так плясать тебе – без партнера!
Я же роль рокового хора
На себя согласна принять.

На щеках твоих алые пятна;
Шла бы ты в полотно обратно;
Ведь сегодня такая ночь,
Когда нужно платить по счету…
А дурманящую дремоту
Мне трудней, чем смерть, превозмочь.
Ты в Россию пришла ниоткуда,
О мое белокурое чудо,
Коломбина десятых годов!
Что глядишь ты так смутно и зорко,
Петербургская кукла, актерка[102],
Ты – один из моих двойников.

К прочим титулам надо и этот
Приписать. О подруга поэтов,
Я наследница славы твоей.
Здесь под музыку дивного мэтра,
Ленинградского дикого ветра
И в тени заповедного кедра
Вижу танец придворных костей…
Оплывают венчальные свечи,
Под фатой «поцелуйные плечи»,
Храм гремит: «Голубица, гряди!»
Горы пармских фиалок в апреле –
И свиданье в Мальтийской Капелле,
Как проклятье в твоей груди.
Золотого ль века виденье
Или черное преступленье
В грозном хаосе давних дней?
Мне ответь хоть теперь:
неужели
Ты когда-то жила в самом деле
И топтала торцы площадей
Ослепительной ножкой своей?..
Дом пестрей комедьянтской фуры,
Облупившиеся амуры
Охраняют Венерин алтарь.
Певчих птиц не сажала в клетку,
Спальню ты убрала как беседку,

Деревенскую девку-соседку

Не узнает веселый скобарь 19.
В стенах лесенки скрыты витые,
А на стенах лазурных святые –
Полукрадено это добро…
Вся в цветах, как «Весна» Боттичелли,
Ты друзей принимала в постели,
И томился драгунский Пьеро, –
Всех влюбленных в тебя суеверней
Тот, с улыбкой жертвы вечерней,
Ты ему как стали – магнит.
Побледнев, он глядит сквозь слезы,
Как тебе протянули розы
И как враг его знаменит.
Твоего я не видела мужа,
Я, к стеклу приникавшая стужа…
Вот он, бой крепостных часов…
Ты не бойся – дома́ не ме́чу, –
Выходи ко мне смело навстречу –
Гороскоп твой давно готов…

Глава третья

И под аркой на Галерной…

А. Ахматова

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем.

О. Мандельштам

То был последний год…
М. Лозинский

Петербург 1913 года. Лирическое отступление: последнее воспоминание о Царском Селе. Ветер, не то вспоминая, не то пророчествуя, бормочет:

Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл
По неведомому назначенью,
По Неве иль против теченья, –
Только прочь от своих могил.
На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка,
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.
Оттого, что по всем дорогам,
Оттого, что ко всем порогам
Приближалась медленно тень,
Ветер рвал со стены афиши,
Дым плясал вприсядку на крыше
И кладбищем пахла сирень.
И царицей Авдотьей заклятый,
Достоевский и бесноватый,
Город в свой уходил туман.
И выглядывал вновь из мрака
Старый питерщик и гуляка,
Как пред казнью бил барабан…
И всегда в духоте морозной,
Предвоенной, блудной и грозной,
Жил какой-то будущий гул…

Но тогда он был слышен глуше,
Он почти не тревожил души
И в сугробах невских тонул.
Словно в зеркале страшной ночи
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек,
А по набережной легендарной
Приближался не календарный –
Настоящий Двадцатый Век.

А теперь бы домой скорее
Камероновой Галереей
В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять[103] *мне будут рады,*
Как бывал ты когда-то рад,
Что над юностью встал мятежной,
Незабвенный мой друг и нежный,
Только раз приснившийся сон,
Чья сияла юная сила,
Чья забыта навек могила,
Словно вовсе и не жил он.
Там за островом, там за садом
Разве мы не встретимся взглядом
Наших прежних ясных очей,
Разве ты мне не скажешь снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей?

Глава четвертая и последняя

Любовь прошла, и стали ясны
И близки смертные черты.

Вс. К.

Угол Марсова Поля. Дом, построенный в начале XIX века братьями Адамини. В него будет прямое попадание авиабомбы в 1942 году. Горит высокий костер. Слышны удары колокольного звона от Спаса-на-Крови. На Поле за метелью призрак дворцового бала. В промежутке между этими звуками говорит сама Тишина:

Кто застыл у померкших окон,
На чьем сердце «палевый локон»,
У кого пред глазами тьма?
«Помогите, еще не поздно!
Никогда ты такой морозной
И чужою, ночь, не была!»
Ветер, полный балтийской соли,
Бал метелей на Марсовом Поле
И невидимых звон копыт…
И безмерная в том тревога,
Кому жить осталось немного,
Кто лишь смерти просит у Бога
И кто будет навек забыт.
Он за полночь под окнами бродит,
На него беспощадно наводит
Тусклый луч угловой фонарь, –
И дождался он. Стройная маска
На обратном «Пути из Дамаска»
Возвратилась домой… не одна!
Кто-то с ней «без лица и названья»…
Недвусмысленное расставанье
Сквозь косое пламя костра
Он увидел. Рухнули зданья…
И в ответ обрывок рыданья:
«Ты – Голубка, солнце, сестра! –
Я оставлю тебя живою,
Но ты будешь моей вдовою,
А теперь…
Прощаться пора!»
На площадке пахнет духами,

И драгунский корнет со стихами
И с бессмысленной смертью в груди
Позвонит, если смелости хватит…
Он мгновение последнее тратит,
Чтобы славить тебя.
Гляди:
Не в проклятых Мазурских болотах,
Не на синих Карпатских высотах…
Он – на твой порог!
Поперек.
Да простит тебя Бог!

(*Сколько гибелей шло к поэту,*
Глупый мальчик: он выбрал эту, –
Первых он не стерпел обид,
Он не знал, на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид…)

Это я – твоя старая совесть
Разыскала сожженную повесть
И на край подоконника
В доме покойника
Положила –
и на цыпочках ушла…

Послесловие

ВСЕ В ПОРЯДКЕ: ЛЕЖИТ ПОЭМА
И, КАК СВОЙСТВЕННО ЕЙ, МОЛЧИТ.
НУ, А ВДРУГ КАК ВЫРВЕТСЯ ТЕМА,
КУЛАКОМ В ОКНО ЗАСТУЧИТ, –
И ОТКЛИКНЕТСЯ ИЗДАЛЕКА
НА ПРИЗЫВ ЭТОТ СТРАШНЫЙ ЗВУК –
КЛОКОТАНИЕ, СТОН И КЛЕКОТ
И ВИДЕНЬЕ СКРЕЩЕННЫХ РУК?..

Часть вторая
Решка

…я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость.

Пушкин

In my beginning is my end.

T. S. Eliot[104]

…жасминный куст,
Где Данте шел и воздух пуст.

Н. К.

Место действия – Фонтанный Дом. Время – 5 января 1941 г. В окне призрак оснеженного клена. Только что пронеслась адская арлекинада тринадцатого года, разбудив безмолвие великой молчальницы-эпохи и оставив за собою тот свойственный каждому праздничному или похоронному шествию беспорядок – дым факелов, цветы на полу, навсегда потерянные священные сувениры… В печной трубе воет ветер, и в этом вое можно угадать очень глубоко и очень умело спрятанные обрывки Реквиема. О том, что мерещится в зеркалах, лучше не думать.

I

Мой редактор был недоволен,
Клялся мне, что занят и болен,
Засекретил свой телефон
И ворчал: «Там три темы сразу!
Дочитав последнюю фразу,
Не поймешь, кто в кого влюблен,

II

Кто, когда и зачем встречался,

Кто погиб, и кто жив остался,
И кто автор, и кто герой, –
И к чему нам сегодня эти
Рассуждения о поэте
И каких-то призраков рой?»

III

Я ответила: «Там их трое –
Главный был наряжен верстою,
А другой как демон одет, –
Чтоб они столетьям достались,
Их стихи за них постарались,
Третий прожил лишь двадцать лет,

IV

И мне жалко его». И снова
Выпадало за словом слово,
Музыкальный ящик гремел.
И над тем флаконом надбитым
Языком кривым и сердитым
Яд неведомый пламенел.

V

А во сне все казалось, что это
Я пишу для Артура либретто,
И отбоя от музыки нет.
А ведь сон – это тоже вещица,
Soft embalmer 20, Синяя птица,
Эльсинорских террас парапет.

VI

И сама я была не рада,

Этой адской арлекинады
Издалека заслышав вой.
Все надеялась я, что мимо
Белой залы, как хлопья дыма,
Пронесется сквозь сумрак хвой.

VII

Не отбиться от рухляди пестрой.
Это старый чудит Калиостро –
Сам изящнейший сатана,
Кто над мертвым со мной не плачет,
Кто не знает, что́ совесть значит
И зачем существует она.

VIII

Карнавальной полночью римской
И не пахнет. Напев Херувимской
У закрытых церквей дрожит.
В дверь мою никто не стучится,
Только зеркало зеркалу снится,
Тишина тишину сторожит.

IX

И со мною моя «Седьмая»[105],
Полумертвая и немая,
Рот ее сведен и открыт,
Словно рот трагической маски,
Но он черной замазан краской
И сухою землей набит.

X[106]

Враг пытал: «А ну, расскажи-ка».

Но ни слова, ни стона, ни крика
Не услышать ее врагу.
И проходят десятилетья,
Пытки, ссылки и казни – петь я
В этом ужасе не могу.

XI

И особенно, если снится
То, что с нами должно случиться:
Смерть повсюду – город в огне,
И Ташкент в цвету подвенечном…
Скоро там о верном и вечном
Ветр азийский расскажет мне.

XII

Торжествами гражданской смерти
Я по горло сыта. Поверьте,
Вижу их, что ни ночь, во сне.
Отлучить от стола и ложа –
Это вздор еще, но негоже
Выносить, что досталось мне.

XIII

Ты спроси моих современниц,
Каторжанок, «стопятниц», пленниц,
И тебе порасскажем мы,
Как в беспамятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.

XIV

Посинелые стиснув губы,

Обезумевшие Гекубы
И Кассандры из Чухломы,
Загремим мы безмолвным хором,
Мы, увенчанные позором:
«По ту сторону ада мы…»

XV

Я ль растаю в казенном гимне?
Не дари, не дари, не дари мне
Диадему с мертвого лба.
Скоро мне нужна будет лира,
Но Софокла уже, не Шекспира.
На пороге стоит – Судьба.

XVI

Не боюсь ни смерти, ни срама,
Это тайнопись, криптограмма,
Запрещенный это прием.
Знают все, по какому краю
Лунатически я ступаю
И в какой направляюсь дом.

XVII

Но была для меня та тема
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут.
Между «помнить» и «вспомнить», други,
Расстояние, как от Луги
До страны атласных баут 22.

XVIII

Бес попутал в укладке рыться…

Ну, а как же могло случиться,
Что во всем виновата я?
Я – тишайшая, я – простая,
«Подорожник», «Белая стая»…
Оправдаться… но как, друзья?

XIX

Так и знай: обвинят в плагиате…
Разве я других виноватей?
Впрочем, это мне все равно.
Я согласна на неудачу
И смущенье свое не прячу…
У шкатулки ж тройное дно.

XX

Но сознаюсь, что применила
Симпатические чернила…
Я зеркальным письмом пишу,
И другой мне дороги нету –
Чудом я набрела на эту
И расстаться с ней не спешу.

XXI

Чтоб посланец давнего века
Из заветнейших снов Эль Греко
Объяснил мне совсем без слов,
А одной улыбкою летней,
Как была я ему запретней
Всех семи смертельных грехов.

XXII

И тогда из грядущего века

Незнакомого человека
Пусть посмотрят дерзко глаза,
Чтобы он отлетающей тени
Дал охапку мокрой сирени
В час, как эта минет гроза.

XXIII

А столетняя чаровница[107]
Вдруг очнулась и веселиться
Захотела. Я ни при чем.
Кружевной роняет платочек,
Томно жмурится из-за строчек
И брюлловским манит плечом.

XXIV

Я пила ее в капле каждой
И бесовскою черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой:
Я грозила ей Звездной Палатой 23
И гнала на родной чердак[108],

XXV

В темноту, под Манфредовы ели,
И на берег, где мертвый Шелли,
Прямо в небо глядя, лежал, –
И все жаворонки всего мира 24
Разрывали бездну эфира
И факел Георг 25 держал.

XXVI

Но она твердила упрямо:

«Я не та английская дама
И совсем не Клара Газуль 26,
Вовсе нет у меня родословной,
Кроме солнечной и баснословной,
И привел меня сам Июль.

XXVII

А твоей двусмысленной славе,
Двадцать лет лежавшей в канаве,
Я еще не так послужу,
Мы с тобой еще попируем,
И я царским моим поцелуем
Злую полночь твою награжу».

3–5 января 1941

Фонтанный Дом; в Ташкенте и после

Часть третья
Эпилог

Быть пусту месту сему…
?
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
Анненский

Люблю тебя, Петра творенье!
Пушкин

Моему городу

Белая ночь 24 июня 1942 г. Город в развалинах. От Гавани до Смольного все как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары, В Шереметевском саду цветут липы и поет соловей. Одно окно третьего этажа (перед которым увечный клен) выбито, и за ним зияет черная пустота. В стороне Кронштадта ухают тяжелые орудия. Но в общем тихо. Голос автора, находящегося за семь тысяч километров, произносит:

Так под кровлей Фонтанного Дома,
Где вечерняя бродит истома
С фонарем и связкой ключей, –
Я аукалась с дальним эхом,
Неуместным смущая смехом
Непробудную сонь вещей,
Где, свидетель всего на свете,
На закате и на рассвете
Смотрит в комнату старый клен
И, предвидя нашу разлуку,
Мне иссохшую черную руку,
Как за помощью, тянет он.
Но земля под ногой гудела
И такая звезда глядела[109]
В мой еще не брошенный дом
И ждала условного звука…
Это где-то там – у Тобрука,
Это где-то здесь – за углом.
Ты не первый и не последний
Темный слушатель светлых бредней,
Мне какую готовишь месть?

Ты не выпьешь, только пригубишь
Эту горечь из самой глуби –
Этой нашей разлуки весть.
Не клади мне руку на темя –
Пусть навек остановится время
На тобою данных часах.
Нас несчастие не минует
И кукушка не закукует
В опаленных наших лесах…

* * *

А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей
Я не знаю, который год,
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет,
А потом он идет с допроса,
Двум посланцам Девки Безносой
Суждено охранять его.
И я слышу даже отсюда –
Неужели это не чудо! –
Звуки голоса своего:
За тебя я заплатила
Чистоганом,
Ровно десять лет ходила
Под наганом,
Ни налево, ни направо
Не глядела,
А за мной худая слава
Шелестела.

* * *

А не ставший моей могилой,
Ты, крамольный, опальный, милый,
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,

Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах.
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил,
И на старом Волковом Поле
Где могу я рыдать на воле
Над безмолвием братских могил.
Все, что сказано в Первой части
О любви, измене и страсти
Сбросил с крыльев свободный стих,
И стоит мой Город «зашитый»…
Тяжелы надгробные плиты
На бессонных очах твоих.
Мне казалось, за мной ты гнался.
Ты, что там погибать остался
В блеске шпилей, в отблеске вод.
Не дождался желанных вестниц…
Над тобой – лишь твоих прелестниц,
Белых ноченек хоровод.
А веселое слово – до́ма –
Никому теперь незнакомо,
Все в чужое глядят окно.
Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке,
И изгнания воздух горький –
Как отравленное вино.
Все вы мной любоваться могли бы,
Когда в брюхе летучей рыбы
Я от злой погони спаслась
И над полным врагами лесом,
Словно та, одержимая бесом,
Как на Брокен ночной неслась…

И уже предо мною прямо
Леденела и стыла Кама,
И «Quo vadis?»[110] кто-то сказал,
Но не дал шевельнуть устами,
Как тоннелями и мостами
Загремел сумасшедший Урал.
И открылась мне та дорога,
По которой ушло так много,
По которой сына везли,
И был долог путь погребальный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли.

От того, что сделалось прахом,
Обуянная смертным страхом
И отмщения зная срок,

Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Предо мною шла на восток.[111]

Окончено в Ташкенте 18 августа 1942

Примечания редактора

1 *Антиной* – античный красавец.

2 *«Ты ли, Путаница-Психея»* – героиня одноименной пьесы Юрия Беляева.

3 *Le jour des rois* (франц.) – канун Крещенья: 5 января.

4 *Дапертутто* – псевдоним Всеволода Мейерхольда.

5 *Иоканаан* – святой Иоанн Креститель.

6 *Долина Иосафата* – предполагаемое место Страшного Суда.

7 *Лизиска* – псевдоним императрицы Мессалины в римских притонах.

8 *Мамврийский дуб* – см. Книгу Бытия.

9 *Хаммураби, Ликург, Солон* – законодатели.

10 *Ковчег Завета* – см. Библию (Книга Царств).

11 *Зал* – Белый зеркальный зал (работы Кваренги) в Фонтанном Доме, через площадку от квартиры автора.

12 *«Собака»* – «Бродячая собака» – артистическое кабаре в десятых годах (1912–1914, до войны).

13 *Содомские Лоты* – см. Книгу Бытия.

14 *Фонтанный грот* – построен в 1757 г. Аргуновым в саду Шереметевского дворца; был разрушен в начале 10-х годов.

15 *Коридор Петровских Коллегий* – коридор Петербургского университета.

16 *Петрушкина маска* – «Петрушка» – балет Стравинского.

17 *«Голубица, гряди!»* – церковное песнопение; пели, когда невеста вступала на ковер в храме.

18 *Мальтийская капелла* – построена по проекту Кваренги в 1798–1800 гг. во внутреннем дворе Воронцовского дворца, в котором потом помещался Пажеский Корпус.

19 *Скобарь* – обидное прозвище псковичей.

20 *Soft embalmer* (англ.) – «нежный утешитель». См. сонет Китса «To the Sleep» (*«К сну»*).

21 *Пропущенные строфы* – подражание Пушкину. См. «Об Евгении Онегине»: «смиренно сознаюсь также, что в «Дон-Жуане» есть две пропущенные строфы», – писал Пушкин.

22 *Баута* – в Италии – маска с капюшоном.

23 *Звездная Палата* – тайное судилище в Англии, которое помещалось в зале, где на потолке было изображено звездное небо.

24 См. знаменитое стихотворение Шелли «To the Skilark» (*англ.*). – «К жаворонку».

25 *Георг* – лорд Байрон.

26 *Клара Газуль* – псевдоним Мериме.

27 *Волково Поле* – старое название Волкова кладбища.

28 *«Седьмая»* – Ленинградская симфония Шостаковича. Первую часть этой симфонии автор вывез на самолете из осажденного города 29 сентября 1941 г.

<Строфы, не вошедшие в поэму>

* * *

Что бормочешь ты, полночь наша?
Все равно умерла Параша,
Молодая хозяйка дворца.
Тянет ладаном из всех окон,
Срезан самый любимый локон,
И темнеет овал лица.
Не достроена галерея –
Эта свадебная затея,
Где опять под подсказку Борея
Это все я для вас пишу.

5 января 1941

* * *

А за правой стенкой, откуда
Я ушла, не дождавшись чуда,
В сентябре в ненастную ночь –
Старый друг не спит и бормочет,
Что он больше, чем счастья, хочет
Позабыть про царскую дочь.

1955

* * *

Я иду навстречу виденью
И борюсь я с собственной тенью
Беспощаднее нет борьбы.

Рвется тень моя к вечной славе,
Я как страж стою на заставе
И велю ей идти назад…
…….

…….
Как теперь в Москве говорят.
Я хочу растоптать ногами
Ту, что светится в светлой раме,
Самозванку

Над плечами ее не крылья

Октябрь 1956

Будка

* * *

Верьте мне вы или не верьте,
Где-то здесь в обычном конверте
С вычислением общей смерти
Промелькнет измятый листок.
Он не спрятан, но зашифрован,
Но им целый мир расколдован,
И на нем разумно основан
Небытья незримый поток.

Март 1961

* * *

Я еще не таких забывала,
Забывала, представь, навсегда.
Я таких забывала, что имя
Их не смею теперь произнесть,
Так могуче сиянье над ними,
(Превратившихся в мрамор, в камею)
Превратившихся в знамя и честь.

26 августа 1961

Комарово

* * *

Не кружился в Европах бальных,
Рисовал оленей наскальных,
Гильгамеш ты, Геракл, Гесер –
Не поэт, а миф о поэте,
Взрослым был ты уже на рассвете
Отдаленнейших стран и вер.

* * *

Институтка, кузина, Джульетта!..
Не дождаться тебе корнета,
В монастырь ты уйдешь тайком.
Нем твой бубен, моя цыганка,
И уже почернела ранка
У тебя под левым соском.

* * *

Вкруг него дорогие тени.
Но напрасны слова молений,
Милых губ напрасен привет.
И сияет в ночи алмазной,
Как одно виденье соблазна,
Тот загадочный силуэт.

* * *

И с ухватками византийца
С ними там Арлекии-убийца,
А по-здешнему – мэтр и друг.
Он глядит, как будто с картины,
И под пальцами клавесины,
И безмерный уют вокруг.

* * *

Ты приедешь в черной карете,
Царскосельские кони эти
И упряжка их à l'anglaise
На минуту напомнят детство
И отвергнутое наследство.

* * *

Словно память «Народной воли».
Тут уже до Горячего поля,
Вероятно, рукой подать.
И смолкает мой голос вещий.
Тут еще чудеса похлеще,
Но уйдем – мне некогда ждать.

* * *

И уже, заглушая друг друга,
Два оркестра из тайного круга
Звуки шлют в лебединую сень.
……
Но где голос мой и где эхо,
В чем спасенье и в чем помеха,
Где сама я и где только тень? –
Как спастись от второго шага…

* * *

Вот беда в чем, о дорогая,
Рядом с этой идет другая,
Слышишь легкий шаг и сухой,
А где голос мой и где эхо, –
Кто рыдает, кто пьян от смеха
И которая тень другой?

Анна Ахматова

Проза о поэме

Из письма к NN

Ты, зная обстановку моей тогдашней жизни, можете судить об этом лучше других.

Осенью 1940 года, разбирая мой старый (впоследствии погибший во время осады) архив, я наткнулась на давно бывшие у меня письма и стихи, прежде не читанные мною («Бес попутал в укладке рыться»). Они относились к трагическому событию 1913 г., о котором повествуется в «Поэме без героя».

Тогда я написала стихотворный отрывок «Ты в Россию пришла ниоткуда» в связи с стихотворением «Современница». Вы даже, может быть, еще помните, как я читала Вам оба эти стихотворения в Фонтанном Доме в присутствии старого шереметевского клена («а свидетель всего на свете…»).

В бессонную ночь 26–27 декабря этот стихотворный отрывок стал неожиданно расти и превращаться в первый набросок «Поэмы без героя». История дальнейшего роста поэмы кое-как изложена в бормотании под заглавием «Вместо предисловия».

Вы не можете себе представить, скольких диких, нелепых и смешных толков породила эта «Петербургская повесть».

Строже всего, как это ни странно, ее судили мои современники, и их обвинения сформулировал в Ташкенте Х., когда он сказал, что я свожу какие-то старые счеты с эпохой (10-е годы) и людьми, которых или уже нет, или которые не могут мне ответить. Тем же, кто не знает некоторые «петербургские обстоятельства», поэма будет непонятна и неинтересна.

Другие, в особенности женщины, считали, что «Поэма без героя» – измена какому-то прежнему «идеалу» и, что еще хуже, разоблачение моих давних стихов «Четки», которые они «так любят».

Так в первый раз в жизни я встретила вместо потока патоки искреннее негодование читателей, и это, естественно, вдохновило меня. Затем… я совсем перестала писать стихи, и все же в течение 15 лет эта поэма неожиданно, как припадки какой-то неизлечимой болезни, вновь и вновь настигала меня (случалось это всюду – в концерте при музыке, на улице, даже во сне). Всего сильнее она терзала меня в декабре 1959 года в Ленинграде – снова превращаясь в трагический балет, что явствует из дневниковых записей (13 декабря) и строфы о Блоке. И я не могла от нее оторваться, дополняя и исправляя по-видимому оконченную вещь.

(Но была для меня та тема,

Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут.
Я пила ее в капле каждой
И, бесовскою черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой).

И неудивительно, что Х., как Вам известно, сказал мне: «Ну, Вы пропали, она Вас никогда не отпустит».

Но… я замечаю, что письмо мое длиннее, чем ему следует быть, а мне еще надо…

27 мая 1955

Москва

Глава могла бы называться
Второе письмо

…увлекшись сообщением последних новостей 1955 <года>, я действительно несколько затянула последнее письмо, потом я, кажется, потеряла его, потому что Вы никогда не упомянули о нем во время наших многочисленных московских встреч. С тех пор случилось нежданное и великое – стихи вернулись в мир. В том письме я, между прочим, писала Вам о моей Поэме. Теперь могу прибавить, что она действительно вела себя очень дурно, так что я одно время предполагала совсем отказаться от нее, как хозяин пса, искусавшего кого-нибудь на улице, делает незнакомое лицо и удаляется, не ускоряя шаг. Но из этого тоже ничего не вышло (а мне с самого начала казалось, что ей пошло бы быть анонимной, а приписать ее уже умершему поэту было бы совсем бессовестно) –

а) потому что никто не хотел взять ее на себя, б) потому что все, с кем я заводила беседу на эту тему, утверждали, что у их родственников есть списки, сделанные моей рукой со всеми мне присущими орфографическими ошибками (ложь, конечно).

Однако вышеупомянутое письмо не пропало для благодарного потомства, и если этому уготована та же участь, не теряйте надежды увидеть его напечатанным в Лос-Анджелесе или Тимбукту с священной надписью

ALL RIGHTS RESERVED[112]

Мне лично приходится любоваться этой надписью на моих никому мною не переуступленных писаниях… Однако это детали. Гораздо хуже то, что делает сама Поэма. По слухам, она старается подмять под себя никакого к ней отношения не имеющие другие мои произведения, искажая этим и мой (какой ни есть) творческий путь, и мою биографию.

Затем я еще раз убеждаюсь, что женщине лучше кокетничать, когда она находится Du bon côté de la quaratain[113], а не наоборот, а я, грешница, из чистейшего кокетства все в том же злополучном письме к Вам любовно перечислила все случаи, когда Поэма была встречена *в штыки*. По-видимому, такой «откровенности» автора соблазнительно поверить.

Конечно, каждое сколько-нибудь значительное произведение искусства можно (и должно) толковать по-разному (тем более это относится к шедеврам). Например, «Пиковая дама» и просто –

светская повесть 30-х годов 19 в., и некий мост между 18 и 19 веками (вплоть до обстановки комнаты графини), и библейское «Не убий» (отсюда все «Преступление и наказание»), и трагедия старости, и новый герой (разночинец), и психология игрока (очевидно, беспощадное самонаблюдение), и проблема языка (каждый говорит по-своему, особенно интересен *русский* язык старухи – до-карамзинский; по-французски, надо думать, она говорит не так), но… я, простите, забалтываюсь – меня нельзя подпускать к Пушкину… Но когда я слышу, что Поэма и «трагедия совести» (В. Шкловский в Ташкенте), и объяснение, отчего произошла Революция (И. Шток в Москве), и «Реквием по всей Европе» (голос из зеркала), трагедия искупления и еще невесть что, мне становится страшновато… (и «исполненная мечта символистов» – В. М. Жирмунский в Комарове; 1960 г.). Многим в ней чудится трагический балет (однако Л. Я. Гинзбург считает, что ее магия – запрещенный прием – why?[114]).

Не дожить до конца столетья…
Двадцать первое, двадцать третье…
Будто стружка летит с верстака!

Это, извините, стихи трезвейшего и знаменитого физика-атомщика, но… довольно – боюсь, что в третьем письме мне придется извиняться за эти цитаты, как я извиняюсь в этом за цитаты 1955 г.

Но что мне делать с старой шаманкой, которая защищается «заклинаниями» и «Посвящениями» из музыки и огня. Это она заставляет меня испытывать весьма лестные для авторского самолюбия ощущения курицы, высидевшей лебединое яйцо и беспомощно хлопающей крыльями на берегу в то время, как лебеденок уже далеко уплыл. По старой дружбе не скрою от Вас, что знатные иностранцы спрашивали меня – действительно ли я автор этого произведения. К чести нашей Родины должна сознаться, что по сю сторону границы таких сомнений не возникало.

Просто люди с улицы приходят и жалуются, что их измучила Поэма. И мне приходит в голову, что мне ее действительно кто-то продиктовал, причем приберег лучшие строфы под конец. Особенно меня убеждает в этом та демонская легкость, с которой я писала Поэму: редчайшие рифмы просто висели на кончике карандаша, сложнейшие повороты сами выступали из бумаги.

22 августа 1961

Комарово

Что вставить во второе письмо

1) О Белкинстве.

2) Об уходе Поэмы в балет, в кино и т. п. Мейерхольд. (Демонский профиль).

3) О тенях, кот. мерещатся читателям.

4) «Не с нашим счастьем», как говорили москвичи в конце дек. 1916, обсуждая слухи о смерти Распутина.

5) …и я уже слышу голос, предупреждающий меня, чтобы я не проваливалась в нее, как провалился Пастернак в «Живаго», что и стало его гибелью, но я отвечаю – нет, мне грозит нечто совершенно иное. Я сейчас прочла свои стихи (довольно избранные). Они показались мне невероятно суровыми (какая уж там нежность ранних!), обнаженными, нищими, но в них нет жалоб, плача над собой и всего невыносимого. Но кому они нужны! Я бы, положа руку на сердце, ни за что не стала бы их читать, если бы их написал кто-нибудь другой. Они ничего не дают читателю. Они похожи на стихи человека, 20 л. просидевшего в тюрьме. Уважаешь судьбу, но в них нечему учиться, они не несут утешения, они не так совершенны, чтобы ими любоваться, за ними, по-моему, нельзя идти. И этот суровый черный, как уголь, голос, и ни проблеска, ни луча, ни капли… Все кончено бесповоротно. Может быть, если их соединить с последней книжкой (1961 г.), это будет не так заметно или может создаться иное впечатление. Величья никакого я в них не вижу. Вообще это так голо, так в лоб – так однообразно, хотя тема несчастной любви отсутствует. Как-то поярче – «Выцветшие картинки», но боюсь, что их будут воспринимать как стилизацию – не дай Бог! – (а это мое первое по времени Царское, до-версальское, до-расстреллиевское). А остальное! – углем по дегтю. Боже! – неужели это стихи? Сама трагедия не должна быть такой. Так и кажется, что люди, собравшиеся, чтобы их читать, должны потихоньку говорить друг другу: «Пойдем выпьем» или что-нибудь в этом роде.

Мир не видел такой нищеты,
Существа он не видел бесправней,
Даже ветер со мною на – ты
Там, за той оборвавшейся ставней.

Как я завидую Вам в Вашем волшебном Подмосковии, с каким тяжелым ужасом вспоминаю Коломенское, без которого почти невозможно жить, и Лавру, кот. когда-то защищал князь

Долгорукий-Роща (как сказано на доске над Воротами), а при первом взгляде на иконостас ясно, что в этой стране будут и Пушкин, и Достоевский.

И один Бог знает, что я писала: то ли балетное либретто, то ли киношный сценарий. Я так и забыла спросить об этом у Алеши Баталова. Об этой моей деятельности я подробнее пишу в другом месте.

Примечание

Единственное место, где я упоминаю о ней в моих стихах – это –

Или вышедший вдруг из рамы
Новогодний страшный портрет.

(Cinque, IV)

т. е. предлагаю оставить ее кому-то на память.

Читателей поражает, что нигде не видны швы новых заплат, но я тут ни при чем.

Может быть из дневника

…Я сразу услышала и увидела ее всю – какая она сейчас (кроме войны, разумеется), но понадобилось двадцать лет, чтобы из первого наброска выросла вся поэма.

На месяцы, на годы она закрывалась герметически, я забывала ее, я не любила ее, я внутренне боролась с ней. Работа над ней (когда она подпускала меня к себе) напоминала проявление пластинки. Там уже все были. Демон всегда был Блоком, Верстовой Столб – Поэтом вообще, Поэтом с большой буквы (чем-то вроде Маяковского) и т. д. Характеры развивались, менялись, жизнь приводила новые действующие лица. Кто-то уходил. Борьба с читателем продолжалась все время. Помощь читателя (особенно в Ташкенте) тоже. Там мне казалось, что мы пишем ее все вместе. Иногда она вся устремлялась в балет (два раза), и тогда ее было ничем не удержать. Я думала, что она там и останется навсегда. Я писала некое подобие балетного либретто, но потом она возвращалась, и все шло по-старому.

Первый росток (первый толчок), который я десятилетиями скрывала от себя самой, – это, конечно, запись Пушкина: «Только первый любовник производит впечатление на женщину, как первый убитый на войне»! Всеволод был не первым убитым и никогда моим любовником не был, но его самоубийство было так похоже на другую катастрофу… что они навсегда слились для меня.

Вторая картина, выхваченная прожектором памяти из мрака прошлого, это мы с Ольгой после похорон Блока, ищущие на Смоленском кладбище, могилу Всеволода (1913). «Это где-то у стены», – сказала Ольга, но найти не могли. Я почему-то запомнила эту минуту навсегда.

17 декабря 1959

Ленинград

* * *

Эта поэма – своеобразный бунт вещей[115]. (Ольгины) вещи, среди которых я долго жила, вдруг потребовали своего места под поэтическим солнцем. Они ожили как бы на мгновенье, но оставшийся от этого звук продолжал вибрировать долгие годы, ритм, рожденный этим шоком, то затихая, то снова возникая,

сопровождал меня в столь непохожие друг на друга периоды моей жизни, когда я делала совсем другое и думала о другом. Поэма оказалась вместительнее, чем я думала вначале. Она незаметно приняла в себя события и чувства разных временных слоев, и теперь, когда я, наконец, избавилась от нее – я вижу ее совершенно единой и цельной. И мне не мешает, что, как я сказала в Ташкенте:

Рядом с этой идет другая…

Март 1959

Красная Конница

20 августа 1962

Комарово

* * *

Поэма опять двоится. Все время звучит второй шаг. Что-то идущее рядом – другой текст, и не понять, где голос, где эхо и которая тень другой, поэтому она так вместительна, чтобы не сказать бездонна. Никогда еще брошенный в нее факел не осветил ее дна. Я, как дождь, проникаю в самые узкие щелочки, расширяю их – так появляются новые строфы. За словами мне порой чудится петербургский период русской истории:

Да будет пусто место сие…

дальше Суздаль – Покровский монастырь – Евдокия Федоровна Лопухина. Петербургские ужасы: могила царевича Алексея, смерть Петра, Павла, Параша Жемчугова, дуэль Пушкина, наводнение, тюремные очереди 1937–8, блокада. Все это должно звучать в еще не существующей музыке.

Опять декабрь, опять она стучится в мою дверь и клянется, что это в последний раз. Опять я вижу ее в пустом зеркале, куда ушел гость из будущего, и во сне.

1961

Ордынка

Еще о поэме

Х.У. (икс-игрек) сказал сегодня, что для Поэмы всего характернее следующее: еще *первая* строка строфы вызывает, скажем, изумление, *вторая* – желание спорить, *третья* – куда-то завлекает, *четвертая* – *пугает*, пятая – глубоко умиляет, а *шестая* – дарит последний покой или сладостное удовлетворение – читатель меньше всего ждет, что в следующей строфе для него уготовано опять все только что перечисленное. Такого о Поэме я еще не слыхала. Это открывает какую-то новую ее сторону.

2 марта 1963. Ленинград после Москвы.

(Значит, еще до 10-го марта в Комарове, когда возникла одна элегия.)

* * *

Вообще все, что этот человек говорит о моих стихах, нисколько не похоже на то, что о них говорили или писали (на многих языках) в течение полувека. Ему как будто дано слышать их во сне или видеть в каком-то заколдованном зеркале.

Про отдельные стихи он знает то, чего не знает никто, и я всегда боюсь читать ему новое. Он никогда (ни разу) не задал мне ни одного вопроса о моих стихах или обстоятельствах, с которыми они связаны, – об их месте в моей жизни. В его отношении есть что-то суровое и сдержанно-целомудренное.

Это так не похоже на все остальное, с чем приходится бороться почти каждый день…

1964

Москва, ул. Мира

* * *

Больше всего будут спрашивать, кто же «Владыка Мрака» (про верстовой столб уже спрашивали…), т. е. попросту черт. Он же в «Решке»: «Сам изящнейший Сатана». Мне не очень хочется говорить об этом, но для тех, кто знает всю историю 1913 г., – это не тайна. Скажу только, что он, вероятно, родился в рубашке, он один из тех, кому все можно. Я сейчас не буду перечислять, что

было можно ему, но если бы я это сделала, у современного читателя волосы бы стали дыбом.

Того же, кто упомянут в ее заглавии и кого так жадно искала сталинская охранка, в Поэме действительно нет, но многое основано на его отсутствии.

Не надо узнавать его в герое «Царскосельского лирического отступления» (III главка), а тем более не надо вводить в Поэму ни в чем не повинного графа Комаровского только за то, что он был царскоселом, его инициалы В. К. и он покончил с собой осенью 1914 в сумасшедшем доме.

Таинственный «Гость из Будущего», вероятно, предпочтет остаться неназванным, а так как он один из всех «не веет летейской стужей», я им не заведую.

Но ведь это нужно только для музыкальных характеристик, как в «Карнавале» Шумана, или для совсем пустого любопытства.

Кто-то «без лица и названья» («Лишняя тень» I главки), конечно – никто, постоянный спутник нашей жизни и виновник стольких бед.

Итак, эта шестая страница неизвестно чего почти неожиданно для меня самой стала вместилищем этих авторских тайн. Но кто обязан верить автору? И отчего думать, что будущих читателей (если они окажутся) будут интересовать именно эти мелочи. В таких случаях мне почему-то вспоминается Блок, который с таким воодушевлением в своем дневнике записывает всю историю «Песни Судьбы». Мы узнаем имена всех, кто слушал первое чтение в доме автора, кто что сказал и почему (см. 9, с. 106).

Видно, Александр Александрович придавал очень важное значение этой пьесе. А я почти за полвека не слышала, чтобы кто-нибудь сказал о ней доброе или вообще какое-нибудь слово (бранить Блока вообще не принято).

* * *

Кроме попытки увода Поэмы в предместья (Вяземская Лавра, букинисты, церковные ограды и т. д.) к процессу заземления относится и попытка дать драгуну какую-то биографию, какую-то предысторию (невеста-смолянка, кузина, ушедшая в монастырь – «Великий Постриг», и заколовшаяся от его измены цыганка). Обе пришли из балета, и их обратно в Поэму не пустили («Две тени милые»). Может быть, они возникнут в одной из музык. Но само́й Поэме обе девушки оказались совершенно не нужны. Другая линия его *настоящей* биографии для меня слишком мало известна и вся восходила бы к сборнику его стихов (Михаил

Кузмин).

Биография героини (полу-Ольга, – полу-Т. Вечеслова) записана в одной из моих записных книжек – там балетная школа (Т. В.), полонез с Нижинским, Дягилев, Париж, Москва – балаганы, *художник*, la danse russe в Царскосельском дворце и т. д. Всего этого Поэма не захотела. Интересно, чего же она еще захочет?

* * *

По слухам, в Америке очень смеялись над тем, что автор описывает свой полет «в брюхе летучей рыбы». Для них, видите ли, самолет то же, что для нас трамвай. Дельно! – однако меня уполномочили поставить этих весельчаков в известность (вероятно, чтобы еще потешить их), что «летучая рыба» была не одна, а вокруг нее было еще восемь истребителей, а под ней – немецкие позиции знаменитого ленинградского кольца, и случилось все это 28 сентября 1941 года.

19 февраля 1961

Красная Конница

<Из записных книжек>

План «Прозы о поэме» (Может быть, это будет новое «Вместо предисловия»).

1. Где и когда я ее писала.
2. Как она меня преследовала.
3. О самой Поэме. Провал попыток заземления (запись из пестрой тетради). Ее уходы в балет. Бумеранг. – Карусель. – Поэма Канунов. (Примеры).
4. Ее связь с петербургской гофманианой.
5. Подтекст. «Другая» – траурная – обломки ее в «Триптихе».

Писать широко и свободно. Симфония.

* * *

Определить, когда она начала звучать во мне, невозможно. То ли это случилось, когда я стояла с моим спутником на Невском (после генеральной репетиции «Маскарада» 25 февраля 1917 г.), а конница лавой неслась по мостовой, то ли, когда я стояла уже без моего спутника на Литейном мосту, в то время, когда его неожиданно развели среди бела дня (случай беспрецедентный), чтобы пропустить к Смольному миноносцы для поддержки большевиков (25 окт. 1917 г.). Как знать?!

* * *

Вообще же это апофеоз 10-х годов во всем их великолепии и их слабости.

* * *

Ощущение Канунов, Сочельников – *ось*, на которой вращается вся вещь, как волшебная карусель… Это то дыхание, которое приводит в движение все детали и самый окружающий воздух. (Ветер завтрашнего дня).

* * *

…поэма перерастает в мои воспоминания, которые по

крайней мере один раз в год (часто в декабре) требуют, чтобы я с ними что-нибудь сделала.

Это бунт вещей,
Это сам Кащей
На расписанный сел сундук…

* * *

Я начала ее в Ленинграде (в мой самый урожайный 1940 год), продолжала в «Константинополе для бедных», который был для нее волшебной колыбелью, – Ташкенте, потом в последний год войны опять в Фонтанном Доме, среди развалин моего города, в Москве и между сосенок Комарова. Рядом с ней, такой пестрой (несмотря на отсутствие красочных эпитетов) и тонущей в музыке, шел траурный Requiem, единственным аккомпанементом которого может быть только Тишина и редкие отдаленные удары похоронного звона. В Ташкенте у нее появилась еще одна попутчица – пьеса «Энума Элиш» – одновременно шутовская и пророческая, от которой и пепла нет. Лирика ей не мешала, и она не вмешивалась в нее.

* * *

Рядом с этой идет *«Другая»*… которая так мешает чуть ни с самого начала (во всяком случае в Ташкенте), – это просто пропуски, это незаполненные (Ромео не было, *Эней*, конечно, был) пробелы, из которых иногда почти чудом удается выловить что-то и вставить в текст.

* * *

Другое ее свойство: этот волшебный напиток, лиясь в сосуд, вдруг густеет и превращается в мою биографию, как бы увиденную кем-то во сне или в ряде зеркал. («И я рада или не рада, что иду с тобой…»). Иногда я вижу ее всю сквозную, излучающую непонятный свет (похожий на свет белой ночи, когда все светится изнутри), распахиваются неожиданные галереи, ведущие в никуда, звучит второй шаг, эхо, считая себя самым главным, говорит свое, а не повторяет чужое, тени притворяются теми, кто их отбросил. Все двоится и троится – вплоть до дна

шкатулки.

И вдруг эта фата-моргана обрывается. На столе просто стихи, довольно изящные, искусные, дерзкие. Ни таинственного света, ни второго шага, ни взбунтовавшегося эха, ни теней, получивших отдельное бытие, и тогда я начинаю понимать, почему она оставляет холодными некоторых своих читателей. Это случается, главным образом, тогда, когда я читаю ее кому-нибудь, до кого она не доходит, и она, как бумеранг (прошу извинить за избитое сравнение), возвращается ко мне, но в каком виде (!?), и ранит меня самое.

17 мая 1961

Комарово

* * *

О поэме.

Она кажется всем другой:

– Поэма совести (Шкловский)

– Танец (Берковский)

– Музыка (почти все)

– Исполненная мечта символистов (Жирмунский)

– Поэма Канунов, Сочельников (Б. Филиппов)

– Поэма – моя биография

– Историческая картина, летопись эпохи (Чуковский)

– Почему произошла Революция (Шток)

– Одна из фигур русской пляски (раскинув руки и вперед (Пастернак). Лирика, отступая и закрываясь платочком…

* * *

«Триптих» ничем не связан ни с одним из произведений 10-х годов, как хочется самым четвероногим читателям, которые в «простоте» своей полагают, что это способ легче всего отмахнуться от 40-х. «Это старомодно – так когда-то писали». Кто, когда?

Может быть, это очень плохо, но так никто никогда не писал (и, между прочим, в 10-х годах).

В. М. Жирмунский очень интересно говорил о поэме. Он сказал, что это исполнение мечты символистов. Т. е. это то, что они проповедовали в теории, но никогда не осуществляли в своих произведениях (магия ритма, волшебство видения), что в их

поэмах ничего этого нет.

Например, (Блок о Комиссаржевской): В. Ф. Ком<иссаржевская> голосом своим вторила мировому оркестру. Оттого ее требовательный и нежный голос был подобен голосу весны, он звал нас безмерно дальше, чем содержание произносимых слов.

Вот эту возможность звать голосом неизмеримо дальше, чем это делают произносимые слова, Жирмунский и имеет в виду, говоря о «Поэме без героя». Оттого столь различно отношение к Поэме читателей. Одни сразу слышат это эхо, этот второй шаг. Другие его не слышат (…).

Все это я сообразила очень недавно, и, возможно, это и станет моим разлучением с Поэмой.

* * *

Сегодня М. А. З<енкевич> долго и подробно говорил о «Триптихе». Она (т. е. поэма), по его мнению, – Трагическая Симфония – музыка ей не нужна, потому что содержится в ней самой. Автор говорит как Судьба (Ананке), подымаясь надо всем – людьми, временем, событиями. Сделано очень крепко. Слово акмеистическое, с твердо очерченными границами. По фантастике близко к «Заблудившемуся Трамваю». По простоте сюжета, который можно пересказать в двух словах, – к «Медному Всаднику».

«Итак, если слова Берковского не просто комплимент, – «Поэма без героя» обладает всеми качествами и свойствами совершенно нового и не имеющего в истории литературы (и тени) прецедента – произведения, потому что ссылка на музыку не может быть приложена ни к одному известному нам литературному произведению. О музыке в связи с «Триптихом» начали говорить очень рано, еще в Ташкенте (называли «Карнавал» Шумана – Ж. Санд), но там характеристики даны средствами самой музыки. Установление им же ее танцевальной сущности (о которой говорил и Пастернак – фигуры «Русской») объясняет ее двукратный уход в балетное либретто.

* * *

В наше время кино так же вытеснило и трагедию, и комедию, как в Риме пантомима. Классические произведения греческой драматургии переделывались в либретто для пантомимов (период

империи). Может быть, не случайная аналогия! Не то же ли самое «Ромео и Джульетта» (Прокофьев) и «Отелло» (Хачатурян), превращенные в балеты.

* * *

Если можно шекспировскую трагедию и пушкинскую поэму («Ромео и Джульетта» и «Мавра») переделывать в балет, то я не вижу препятствия, чтобы сделать то же с «Поэмой без героя». Что в ней присутствует музыка, я слышу уже 15 лет и почти от всех читателей этой вещи. Ряд вставных номеров подразумевается. Целая танцевальная сюита в 1-й части. Музыку (реальную) взять у… Я уверена – она у него есть (или будет). Декорация и костюмы мог бы сделать Дм. Бушей, который был почти свидетелем многих событий 10-х годов. (Или Юрка Анненков, который тоже кое-что помнит).

* * *

25 ноября… Так возясь то с балетом, то с киносценарием, я все не могла понять, что собственно я делаю. Следующая цитата разъяснила дело: «This book may be read as a poem or verse play»[116] – пишет Peter Veereck (1961 r. «The Tree Witch»)[117] и затем технически объясняет, каким образом поэма превращается в пьесу. То же и одновременно я делала с «Триптихом». Его «The Tree Witch» – современник моей поэмы и, возможно, такая близость…

1961

* * *

Когда в июне 1941 г. я прочла М. Ц<ветаевой> кусок поэмы (первый набросок), она довольно язвительно сказала: «Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об арлекинах, коломбинах и пьеро», очевидно полагая, что поэма – мирискусническая стилизация в духе Бенуа и Сомова, т. е. то, с чем она, может быть, боролась в эмиграции, как с старомодным хламом. Время показало, что это не так.

* * *

Попытка заземлить ее (по совету покойного Галкина) кончилась полной неудачей. Она категорически отказалась идти в предместия. Ни цыганки на заплеванной мостовой, ни паровика, идущего до Скорбящей, ни о Х<лебникове>, ни Горячего Поля, она не хочет ничего этого. Она не пошла на смертный мост с Маяковским, ни в пропахшие березовым веником пятикопеечные бани, ни в волшебные блоковские портерные, где на стенах корабли, а вокруг тайна и петербургский миф – она упрямо осталась на своем роковом углу у дома, который построили в начале 19 в. братья Адамини, откуда видны окна Мраморного Дворца, а мимо под звуки барабана возвращаются в свои казармы курносые павловцы. В то время, как сквозь мягкую мокрую новогоднюю метель на Марсовом Поле сквозят обрывки ста майских парадов и

Все таинства Летнего Сада –
Наводненья, свиданья, осада…

* * *

Еще одно интересное: я заметила, что чем больше я ее объясняю, тем она загадочнее и непонятнее. Что всякому ясно, что до дна объяснить ее я не могу и не хочу (не смею) и все мои объяснения (при всей их узорности и изобретательности) только запутывают дело, – что она пришла ниоткуда и ушла в никуда, ничего не объяснила…

* * *

И только сегодня мне удалось окончательно сформулировать особенность моего метода (в Поэме). Ничто не сказано в лоб. Сложнейшие и глубочайшие вещи изложены не на десятках страниц, как они привыкли, а в двух строчках, но для всех понятных.

1962

* * *

И наконец произошло нечто невероятное: оказалось возможным раззеркалить ее, во всяком случае, *по одной* линии.

Так возникло «лирическое отступление» в Эпилоге и заполнились точечные строфы «Решки». Стала ли она понятнее, – не думаю! – Осмысленнее, вероятно.

Но по тому высокому счету (выше политики и всего…) помочь ей все равно невозможно. Где-то в моих прозаических заметках мелькают какие-то лучи – не более.

18 декабря 1962

Садово-Каретная

<Из набросков либретто балета по «Поэме без героя»>

…на этом маскараде были «в с е». Отказа никто не прислал. И не написавший еще ни одного любовного стихотворения, но уже знаменитый Осип Мандельштам («Пепел на левом плече»), и приехавшая из Москвы на свой «Нездешний вечер» и все на свете перепутавшая Марина Цветаева… Тень Врубеля – от него все демоны XX в., первый он сам… Таинственный, деревенский Клюев, и заставивший звучать по-своему весь XX век великий Стравинский, и демонический Доктор Дапертутто, и погруженный уже пять лет в безнадежную скуку Блок (трагический тенор эпохи), и пришедший как в «Собаку» Велимир I… И Фауст – Вячеслав Иванов, и прибежавший своей танцующей походкой и с рукописью своего «Петербурга» под мышкой – Андрей Белый, и сказочная Тамара Карсавина. И я не поручусь, что там в углу не поблескивают очки Розанова и не клубится борода Распутина, в глубине залы, сцены, ада (не знаю чего) временами гремит не то горное эхо, не то голос Шаляпина. Там же иногда пролетает не то царскосельский лебедь, не то Анна Павлова, а уж добрѝковский Маяковский, наверно, курит у камина… (но в глубине «мертвых» зеркал, которые оживают и начинают светиться каким-то подозрительно мутным блеском, и в их глубине одноногий старик-шарманщик (так наряжена Судьба) показывает всем собравшимся их будущее – их конец). Последний танец Нижинского, уход Мейерхольда. Нет только того, кто непременно должен был быть, и не только быть, но и стоять на площадке и встречать гостей… А еще:

Мы выпить должны за того,
Кого еще с нами нет.

6–7 января 1962

Примечания

Проза

Проза Анны Ахматовой до сих пор остается наименее изученной частью ее творчества. Среди многочисленных исследований, посвященных Ахматовой, почти нет специальных работ, анализирующих ее прозу. Едва ли не единственной остается статья Л. А. Мандрыкиной «Ненаписанная книга. «Листки из дневника» А. А. Ахматовой», изданная в 1973 году. Такое отсутствие литературоведческих интересов к ахматовской прозе отчасти объяснимо отношением самого автора к своему творчеству: считая себя прежде всего поэтом, она относилась к своим прозаическим опытам с известной долей осторожности.

«Проза всегда казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи – я никогда ничего не знала о прозе. Я или боялась ее или ненавидела. В приближении к ней чудилось кощунство или это означало редкое для меня душевное равновесие.

В первый раз я написала несколько страничек прозой, вернувшись из Ташкента. Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я не удержалась и описала эту мою с ним встречу («Столицей распятой // Иду я домой»). Тогда же возникли «Три сирени» и «В гостях у смерти (Терийокки)». Все это очень хвалили, но я, конечно, не верила. Позвала Зошенку. Он велел убрать грибоедовскую цитату и еще одно слово и сказал, что с остальным согласен. Я была рада. Потом, после ареста сына, сожгла вместе со всем архивом» (РНБ, ф. 1073, ед. хр. 46).

На самом деле первый прозаический опус Ахматовой – рецензия на книгу стихов поэтессы Надежды Львовой «Старая сказка» – относится еще к 1914 году. В дальнейшем она не раз обращалась к жанру рецензии, писала отклики на книгу Э. Г. Герштейн «Судьба Лермонтова», писала о стихах близкого ей по духу поэта Арсения Тарковского.

На страницах отечественной периодики печатались, начиная с 30-х годов, так называемые «пушкинские штудии» Ахматовой.

Пушкиным она занималась, можно сказать, всю жизнь, но особенно активно – с середины 20-х годов, когда путь ее собственным стихам был закрыт. Некоторые из ее пушкинских работ были напечатаны – «Последняя сказка Пушкина» (1933), «„Адольф” Бенжамена Констана в творчестве Пушкина» (1936), наконец, представленная в настоящем издании статья о «Каменном госте» (1958). Другие – «Пушкин и Мицкевич» (30-е годы), «Пушкин и Достоевский» (1949) (по словам

И. Н. Томашевской, возможно, самое значительное из того, что она написала о Пушкине) – стали жертвами огня. Сгорела статья «Последняя трагедия Анненского» и почти готовая книга автобиографической прозы. Таким образом, участь ахматовской прозы еще более печальна, нежели удел ее стихов, которые с трудом, но все же можно было вспомнить и записать при наступлении очередного «сравнительно вегетарианского времени».

Однако если перелистать почти три тысячи страниц ахматовских записных книжек, относящихся к последнему десятилетию ее жизни (1956–1966), то можно увидеть, что проза в них занимает не меньшее место, чем стихи. Недаром в одном из последних писем она замечает: «Взять бы хорошие переводы, а еще писать прозу, в кот<орой> одно сквозит через другое, и читателю становится легче дышать».

Такая проза – своеобразный дневник поэта – писалась почти ежедневно, где бы Ахматова ни находилась, а ведь больничная койка к этому времени, увы, все чаще заменяла ей письменный стол. «Человеком чувствую себя только с пером в руке», – записала она незадолго до смерти, и это замечание в первую очередь относится к ее прозе – достаточно прочитать недавно опубликованный в журнале «Литературное обозрение» (1989, № 5, с. 15–17) дневник последнего месяца ее жизни.

Ахматовскую прозу можно назвать «прозой сопротивления» – сопротивления неумолимому бегу времени, клевете и кривотолкам ее мнимых друзей по ту и по эту стороны границы нашей родины. «Успеть записать одну сотую того, что думается, было бы счастьем», – писала она для себя. Прозу эту Ахматова ощущала еще и как долг перед памятью друзей, вырванных из жизни преждевременно и страшно. Задуманная и частично осуществленная ею книга «Мои полвека» – это меньше всего книга о себе, поэте и человеке Анне Ахматовой. В большей степени это – запечатленная память о Мандельштаме, Модильяни, Лозинском, Гумилеве. Некоторые из «листков из дневника» – так называла она разрозненные главы строящейся книги – уже опубликованы, большинство же записей еще нуждаются в изучении и систематизации. Когда эта трудная работа будет завершена и читатели получат наконец полное собрание сочинений Ахматовой, всякому станет ясно, что она была не только великим поэтом, но и большим мастером прозы.

Слово о Пушкине – журн. «Звезда», 1962, № 2, с. 171–172.

Стр. 35. *Мой предшественник П. Е. Щеголев…* – известный пушкинист Павел Елисеевич Щеголев (1877–1931), с которым

Ахматова была в добрых отношениях с дореволюционных лет (в рук. отд. Пушкинского Дома сохранились ее письма П. Е. Щеголеву), автор капитального труда «Дуэль и смерть Пушкина» (М., «Книга», 1987). Ахматова много лет работала над книгой «Гибель Пушкина», но так и не закончила свой труд (отдельные фрагменты этой книги изданы после смерти Ахматовой Э. Г. Герштейн в составе книги: **Анна Ахматова.** «О Пушкине». М., «Книга», 1989).

…*глупости полетик*… – имеется в виду Идалия Полетика, заклятый враг Пушкина, принимавшая активное участие в травле поэта.

…*родственничков* Строгановых… – Влиятельный царедворец Г. А. Строганов был родственником жены Пушкина. Он со своим семейством покровительствовал Геккерену и Дантесу. Графиня М. Д. Нессельроде – жена министра иностранных дел в правительстве Николая I, была злейшим врагом Пушкина.

Стр. 37. *Aere perennius* – крепче меди (лат.) – второе полустишие первой строки оды Горация «Exegi monumentum aere perennius» («Я воздвиг памятник крепче меди»). Первое полустишие той же строки Пушкин поставил эпиграфом к своему стихотворению «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».

Пушкин и дети – «Литературная газета», 1974, 1 мая (публикация Э. Г. Герштейн). 9 февраля 1965 г. В. В. Рецептер читал эту заметку в ленинградской телевизионной программе «Литературный вторник». Однако в полном виде заметка никогда до сих пор не публиковалась. Печатается по автографу 1965 года (РНБ, ед. хр. 515).

«Каменный гость» Пушкина – сб. «Пушкин. Исследования и материалы», т. II. М. – Л., Изд-во АН СССР, 1958, с. 171–186. Печатается по кн.: Анна Ахматова. «О Пушкине». Изд. 3, испр. и доп. М., «Книга», 1989, с. 90–109. В этом издании, подготовленном к печати Э. Г. Герштейн, статья печатается с исправлениями по авторскому оттиску и машинописи, куда Ахматова перенесла правку с оттиска и продолжила ее.

В беловой рукописи и машинописи дата: «1947, 20 апреля. Фонтанный Дом». Это означает, что «Каменного гостя» Ахматова писала, очутившись в условиях жесткой социальной и общественной изоляции, последовавшей после уничтожающей критики ее творчества в докладе А. А. Жданова 14 августа 1946 года, будучи уже исключенной из членов Союза советских писателей со всеми вытекающими из этого последствиями. В статье Ахматовой, писавшейся отнюдь не «в стол» (хотя и

опубликованной только десятилетие спустя), сквозь внешне спокойный академизм прорывается желание защитить свое гражданское достоинство в условиях глобального тоталитаризма. Недаром она обнаруживает то, что не замечали другие исследователи: Дон Гуан у Пушкина представлен поэтом, умеющим защитить свое достоинство перед испанским королем. Этот глубоко личный ахматовский «подтекст» свойствен не только «Каменному гостю»; может быть, еще более обнаженно он звучит в опубликованной посмертно статье «Пушкин и Невское взморье» (см. в кн.: Анна Ахматова. «О Пушкине», с. 153–162).

<Дополнения к статье «„Каменный гость" Пушкина» (1958–1959 гг.) > – журн. «Вопросы литературы», 1970, № 1, с. 160–166 (не полностью, публикация Э. Г. Герштейн). Печатается по кн.: Анна Ахматова. «О Пушкине». М., 1989, с.165–175.

Все было подвластно ему – «Литературная газета», 1964, 15 октября.

Слово о Данте – в изд.: Анна Ахматова. «Сочинения», т. 2. М., 1986, с. 183–184, без первого абзаца (публикация В. А. Черных). Печатается по магнитофонной записи выступления Ахматовой на торжественном заседании, посвященном 700-летию со дня рождения Данте, 19 октября 1965 г. в Большом театре, в Москве (ныне эта запись воспроизведена на грампластинке, выпущенной фирмой «Мелодия»). Это было последнее публичное выступление Ахматовой. При прослушивании можно легко обнаружить, что Ахматова произносит: «… в стихах, освященных…», а не «освещенных», как в издании 1986 года, а заканчивая свое выступление стихотворением «Данте» (1936), меняет в последней строке слово «низкой» на «нежной» (А. Ахматова. Сочинения в 2-х томах. М., 1990. Т.1., с. 187).

Воспоминания об Александре Блоке – журн. «Звезда», 1967, № 12, с. 186–187. Написаны для телевизионной передачи Ленинградской студии телевидения, состоявшейся 12 октября 1965 года.

Стр. 75. *Ариадна Владимировна Тыркова-Вергежская* (1869–1962) – во втором браке Вильямс – писательница, общественная деятельница. С 1920 г. жила в эмиграции. «А. А. Блока она знала хорошо лично. Он часто бывал у нас в Петербурге» (Арк. Борман. «А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына». Лувен-Вашингтон, 1964, с. 252). А. В. Тыркова-Вильямс любила поэзию Ахматовой и «на девяносто втором году жизни… с огромным интересом прослушала всю «Поэму без героя», назвав

ее «ироническими поминками по Блоку» (Б. Филиппов. «Памяти А. В. Тырковой». «Грани», 1963, № 53, с. 56.)

Башня – так в литературном быту Петербурга именовалась квартира поэта и теоретика символизма В. И. Иванова (1866–1949) (Таврическая ул., д. 25, кв. 23, на шестом этаже). По поводу литературных собраний на «Башне» сохранилась запись Ахматовой: «Языческая Русь начала 20-го века. Н. Рерих. Лядов. Стравинский. С. Городецкий («Ярь»). Ал. Толстой («За синими реками»). Вел. Хлебников. Я к этим игрищам опоздала» (РГАЛИ, ф. 13, ед. хр. 99, л. 5 об.).

Стр. 76. *Блок посоветовал мне прочесть «Все мы бражники здесь»* – см. это стихотворение в книге «Анна Ахматова “Сочинения в 2-х томах”. М., 1990. Т. 1, с. 48.

«И пьяницы с глазами кроликов» – строка из стихотворения А. Блока «Незнакомка».

Игорь Северянин (псевд.; наст. фамилия Лотарев) Игорь Васильевич (1887–1941) – поэт, царивший на эстраде в 10-х годах.

А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: «Красота страшна, вам скажут…» – Текст этого мадригала:

Анне Ахматовой

«Красота страшна» – Вам скажут, –
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан – в волосах.

«Красота проста» – Вам скажут, –
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан – на полу.

Но, рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:

«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».

16 декабря 1913

Это стихотворение вместе со стихотворением Анны Ахматовой «Я пришла к поэту в гости…», посвященным Ал. Блоку, было впервые напечатано в журн. «Любовь к трем апельсинам», 1914, № 1, с. 5–6.

Стр. 77. …*открываю «Записную книжку» Блока*… – Имеется в виду издание: Александр Блок. «Записные книжки. 1901–1920». М., 1965.

Блок записывает в другом месте, что я… измучила его по телефону. – Имеется в виду запись Блока от 13 декабря 1914: «Вечером, едва я надел телефонную трубку, меня истерзали: Л. А. Дельмас, Е. Ю. Кузьмина-Караваева и А. А. Ахматова» (Александр Блок. «Записные книжки». 1901–1920», с. 250).

Лозинский – печатается впервые по автографу (РГАЛИ, ф. 13, ед. хр. 114, л. 105, 208–215).

В мае 1965 г. на Ленинградской студии телевидения готовили вечер памяти поэта и переводчика, давнего друга Ахматовой, Михаила Леонидовича Лозинского (1886–1955). Для этого вечера Ахматова наговорила на магнитофон свое «Слово о Лозинском», которое после ее смерти было напечатано в альманахе «День поэзии» (1966 г., Ленинград, с. 51–52) и во многих других изданиях Ахматовой.

«Слово о Лозинском», произнесенное для телевидения, оказалось слишком кратким и не вместило в себя всех воспоминаний (кроме того, Ахматова считала его, по-видимому, утерянным). И вот, находясь в Боткинской больнице в Москве, едва оправившись после тяжелого инфаркта, Ахматова начинает писать о Лозинском заново. «Пишу в Ботк<инской> больнице в Москве 30 янв<аря> 1966 <года>» – этой датой означено начало работы над воспоминаниями (РГАЛИ, ед. хр., 114, л. 105). Дата раскрывает смысл эпиграфа из стихотворения Ф. И. Тютчева «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»:

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня…

Ахматова начала писать воспоминания о Лозинском в канун годовщины его смерти (Михаил Леонидович умер 31 января 1955 г.), а закончила 6 февраля 1966 г., за неделю. В этот день она пометила: «*Кажется, написала все о Лозинском* (выделено Ахматовой. – М. К.). Пойдет в книгу портретов (Модильяни, Мандельштам и др.» (РГАЛИ, ед. хр. 114, л. 219). По сути дела,

это последняя, предсмертная проза Ахматовой, написанная «залпом», не имеющая редакций и вариантов. «5 марта я с букетиком нарциссов отправился в Домодедово – 3-го, прощаясь, мы условились, что я приеду переписать набело перед сдачей в журнал воспоминания о Лозинском, которые вчерне были уже готовы и требовали лишь незначительных доделок и компоновки». (Анатолий Найман. «Рассказы о Анне Ахматовой», М., 1989, с. 225–226).

В больничных условиях Ахматова могла полагаться только на свою память, не имела возможности проверить цитаты по источникам – этим объясняются некоторые неточности, оговоренные ниже. Она выполнила последний долг перед самым преданным своим другом – остальное было не столь уж важно.

Стр. 77. – Елизавета Юрьевна *Кузьмина-Караваева* (1891–1945) – девичья фамилия Пиленко – поэтесса, участница Цеха поэтов; после революции жила во Франции; активная участница Сопротивления, известная как «Мать Мария»; погибла в фашистском концлагере.

Стр. 79. *На этот вечер не пошел Блок* (*См. «Записные книжки»*) – ошибка памяти Анны Андреевны. Эта запись сделана Блоком не в Записных книжках, а в Дневнике от 11 ноября 1911 г.: «Вчера вечером не пошел ни слушать рассказ Ясинского, ни к матери жены Кузьмина-Караваева, где собралось «Гумилевско-Городецкое общество»… (Александр Блок. Собр. соч., т. 7, М. – Л., 1963, с. 86). Следовательно, знакомство Ахматовой с Лозинским произошло 10 ноября 1911 года.

Я считаю, что лучшее из написанных тогда мне стихов принадлежит ему (*«Не забывшая»*). – Приводим это стихотворение:

Не забывшая
Анне Ахматовой

Еще свою я помню колыбель,
И ласково земное новоселье,
И тихих песен мимолетный хмель,
И жизни милой беглое веселье.
Я отдаюсь, как кроткому лучу,
Неярким дням моей страны родимой.
Я знаю – есть покой, и я хочу
Тебя любить и быть тобой любимой.

Но в душном сердце – дивно и темно,

И ужас в нем, и скорбь, и песнопенье,
И на губах, как темное пятно,
Холодных губ горит напечатленье.

И слух прибоем и стенаньем полн,
Как будто вновь, еще взглянуть не смея,
Я уношу от безутешных волн
Замученную голову Орфея.

В автографе (РГАЛИ) стихотворение имеет дату: «СПб., 11. XI. 1912». Напечатано в первом и единственном сборнике стихов М. Л. Лозинского «Горный ключ» (М., Пг., 1916).

Стр. 80. *Это он при мне сказал Осипу, чтобы тот исправил стих «И отравительница Федра…»* – В исправленном виде строка из стихотворения О. Мандельштама «Ахматова» читается: «Так негодующая Федра».

Маковский Сергей Константинович (1878–1962) – поэт и художественный критик, редактор журнала «Аполлон». Автор вышедших за границей мемуаров «На Парнасе Серебряного века» (Мюнхен, 1962), вызвавших резко отрицательную оценку Ахматовой («Полный бред и старческий маразм»).

Татьяна Борисовна – жена М. Л. Лозинского.

«Гиперборей» – журнал, единственный печатный орган поэтов-акмеистов. *Это на «Тучке»…* – В Петербурге, в Тучковом переулке, Ахматова и Н. С. Гумилев снимали небольшую комнату. В это время (1914) Лозинский приходил к Ахматовой на «Тучку».

Стр. 81. *Последняя его помощь мне: чтение рукописи «Марьон Делорм».* – Трагедию Виктора Гюго «Марьон Делорм» Ахматова перевела в 1952 году. *Смотрел он и мои «Письма Рубенса…»* – в кн.: Петр Павел Рубенс. «Письма». Перевод А. А. Ахматовой. Редакция и предисловие А. М. Эфроса. М. – Л., «Academia», 1933.

В 30-х годах – тяжелые осложнения в личной жизни… – В этом фрагменте Ахматова, вольно или сознательно, допускает ряд неточностей, объяснимых, видимо, тем, что она передает историю любви М. Л. Лозинского, не зная подробностей. Молодая девушка, о которой пишет Ахматова, – поэтесса и переводчица, ученица Лозинского Ада Ивановна Оношкевич-Яцына (1897–1935). Лозинский полюбил ее не в 30-х годах, а по крайней мере десятилетием раньше. Уже в начале 20-х годов Оношкевич-Яцына вышла замуж за офицера флота, впоследствии контр-адмирала, Евг. Евг. Шведе (1890–1977); в 1922 г. у них родился сын Николай.

Стр. 82. *В моей книге…* – Ахматова в последние годы жизни

писала книгу прозы «о времени и о себе», название которой менялось («Листки из Дневника», «Мои полвека» и т. д.). Книга закончена не была.

Стр. 83. …(*цитата*) … – Ахматова не успела подобрать цитату из испанских комедий, переведенных Лозинским (в больнице книги у нее не было), и оставила ряд точек, надеясь заполнить их, выйдя «на волю», однако не успела этого сделать.

Наша переписка сохранилась. – Действительно, в архиве М. Л. Лозинского (Ленинград) сохранилась вся их переписка, однако нынешняя владелица этого архива, И. В. Платонова-Лозинская, отказалась предоставить для публикации ранние письма Ахматовой к Лозинскому. Приводим те фрагменты писем, которые к настоящему времени опубликованы (журн. «Литературное обозрение», 1989, № 5, с. 23, публикация Р. Д. Тименчика).

22 июля 1917 года

«… Деревня – сущий рай. Мужики клянутся, что дом (наш) на их костях стоит, выкосили наш луг, а когда для разбора этого дела приехало начальство из города, они слезно просили «матушка барыня, простите, уж это последний раз!». Тоже социалисты!

Прибывающие дезертиры сообщают, что положение дел на войне отличное, и крестьяне им свято верят. О матросах кронштадтцах говорят: «Они за самодержавие!» и вообще тьма кромешная царит в умах».

31 июля 1917

«…Приехать в Петербург тоже хочется и в Аполлоне побывать! Но крестьяне обещали уничтожить Слепневскую усадьбу 6 августа, пот. что это местный праздник и к ним приедут «гости». Недурной способ занимать гостей. Я хожу дергать лен и пишу плохие стихи».

16 августа 1917 г.

«…Сегодня я получила письмо от Вали Срезневской, кот. начинается так: опять, кажется, назрела резня. От таких новостей все делается постылым. ‹…›

Буду ли я в Париже или в Бежецке, эта зима представляется мне одинаково неприятной. Единственное место, где я дышала вольно, был Петербург. Но с тех пор, как там завели обычай поливать мостовую кровью граждан, и он потерял некоторую

часть своей прелести в моих глазах…»

К моей Вале… – Имеется в виду Валерия Сергеевна Срезневская, ближайшая подруга Ахматовой с гимназических лет.

Стр. 85. *Когда Шилейко женился на мне…* – Владимир Казимирович Шилейко женился на Ахматовой в декабре 1918 г.

Ивановский, ученик и секретарь М. Л. … – Ивановский Игнатий Михайлович (1932–2016) – переводчик, ученик М. Л. Лозинского; составил полную опись архива своего учителя; автор воспоминаний об Ахматовой и Лозинском («О двух мастерах» – журн. «Север», 1969, № 6).

…при восстановлении меня в Союзе… – Повестку о восстановлении ее в правах члена Союза советских писателей Ахматова получила 14 февраля 1951 г.

Закончив писать воспоминания о Лозинском, Ахматова продолжала вести дневник. Непосредственно в текст воспоминаний вклинивается запись, имеющая скорее автобиографический характер: «Все это я пишу в больнице, где нахожусь с 10 ноября (сегодня 2 февр.), а мне еще предстоит полубольница – санатория. И подумать только, что когда-то наши бабушки мирно умирали на печке в родной избе. ‹…› Все вынесла боярыня Морозова, а перед смертью все-таки попросила сторожившего ее стрельца: «Достань мне яблочко». «Где же я тебе яблоко достану?» – ответил ей стрелец.

Я часто вспоминаю эту страницу биографии Морозовой» (ед. хр. 114, л. 214).

Амедео Модильяни – альм. «Воздушные пути», IV, Нью-Йорк, 1965, с. 15–22. В СССР – альм. «День поэзии 1967», М., 1967, с. 248–252, с приложением очерка Н. И. Харджиева «О рисунке А. Модильяни» (с. 252–253). Печатается по машинописи, подаренной Ахматовой ее невестке, Ханне Вульфовне Горенко (1896–1979), хранящейся в архиве последней (ОР ГБЛ, ф. 218, № 1351, ед. хо. 10, лл. 1–5).

Ахматова работала над воспоминаниями об Амедео Модильяни с 1958 по 1964 год. Машинопись в архиве Х. В. Горенко имеет дату завершения работы над данным вариантом – 18 апреля 1964 г. По-видимому, этот вариант следует признать окончательным, так как именно в таком виде рукопись воспоминаний о Модильяни Ахматова дарила друзьям (аналогичный вариант имеется в собрании В. С. Муравьева, Москва); этот вариант был положен в основу магнитофонной записи, которая ныне воспроизведена Л. А. Шиловым на грампластинке. Почему же Н. И. Харджиев взял за основу первой публикации в «Дне поэзии» другой вариант, который и

перепечатывался во всех последующих изданиях Ахматовой?

По-видимому, вариант, напечатанный Н. И. Харджиевым, и сама Ахматова считала более подходящим для печати (он менее эмоционален, а главное, в нем отсутствуют места, заведомо непроходимые через цензурные рогатки). Вариант «для друзей» обладает большей полнотой информации и вполне может конкурировать с ранее печатавшимся. Кстати, в нем она выполнила просьбу В. Я. Виленкина «хотя бы смягчить резко уничижительную оценку фильма «Монпарнас, 19», которой заканчиваются ее воспоминания…» (В. Виленкин. «В сто первом зеркале», М., 1990, с. 76). Если в первом варианте воспоминания заканчиваются негативной оценкой фильма («Но и совсем недавно Модильяни стал героем достаточно пошлого французского фильма «Монпарнас, 19». Это очень горько!»), то во втором всякая субъективная оценка фильма отсутствует.

Что же послужило для Ахматовой толчком к тому, чтобы возникли воспоминания «Амедео Модильяни»? Ведь до 1958 года в ее бумагах не обнаружено ни одного упоминания о художнике.

З. Б. Томашевская рассказала составителю, что в 1956 году известный итальянский славист, профессор Этторе Ле-Гатто прислал в подарок ее отцу, Борису Викторовичу Томашевскому, «Словарь искусств» в 4 томах. Зоя Борисовна, перелистывая это издание, обнаружила в нем вкладыш (картина «Жанна в желтой кофточке») и статью, посвященную великому итальянскому художнику и скульптору Амедео Модильяни (1884–1920). Она немедленно отправилась, захватив с собой книгу, к Анне Андреевне, которая жила тогда на ул. Красной Конницы. Ахматова очень внимательно прочитала итальянский текст… и на следующий день забрала у З. Б. Томашевской рисунок работы Модильяни, который хранился в семье Томашевских (Зоя Борисовна взяла его с собой при эвакуации семьи из блокадного Ленинграда) и который впоследствии висел у нее в комнате в течение 15 лет. Взамен подлинника Ахматова подарила Зое Борисовне контактную фотографию с рисунка с дарственной надписью на обороте: «Зое, которая спасла этот единственный рисунок во время войны».

Тогда же, в 1956 году, в Русском музее была выставка репродукций произведений западных художников, среди которых находились и работы Модильяни. И, наконец, в 1959 году Ахматова познакомилась с Анатолием Найманом, который своим внешним видом напомнил ей давнего парижского друга (об этом сама Ахматова говорила поэту А. А. Тарковскому).

Среди ранних стихов Ахматовой как будто нет ни одного, в котором бы отразился образ Модильяни. Но в РНБ сохранился

автограф конца 50-х годов стихотворения «В углу старик, похожий на барана…», которое датировано: «1911. Весна». Однако дата скорее указывает на время происходящих в стихотворении событий. Некоторые текстуальные совпадения в воспоминаниях о Модильяни и в этом стихотворении позволяют сделать предположение, что произведения писались одновременно и, возможно героем стихотворения «В углу старик…» является Модильяни.

В эти же годы Ахматова сделала попытку ввести образ Модильяни и в «Поэму без героя». На полях рукописи второй части, «Решки» (РНБ), после строфы 7-й, кончающейся словами: «Кто над мертвым со мной не плачет, // Кто не знает, что совесть значит // И зачем существует она», карандашом записаны еще две строфы, не вошедшие в окончательную редакцию поэмы:

7а

В черноватом Париж тумане,
И наверно, опять Модильяни
Незаметно бродил за мной.
У него печальное свойство
Даже в сон мой вносить расстройство
И быть многих бедствий виной.

76

Но он мне – своей Египтянке…
Что играет старик на шарманке,
А под ней весь парижский гул,
Словно гул подземного моря, –
Этот тоже довольно горя
И стыда и лиха хлебнул.

(Опубл. в кн.: **В. Виленкин.** «В сто первом зеркале». М., 1990, с. 75–76.)

После 1964 года Ахматова не возвращалась к работе над воспоминаниями о Модильяни. Единственное добавление находим в записной книжке «Лермонтов» (РГАЛИ, ед. хр. 114, л. 262). Оно относится к 1966 году: «*Прибавить к Моди:* … а когда через 54 года в ослепительный июньский день я ехала мимо Люксембургского сада, то вдруг вспомнила, что Моди страдал какими-то страшными удушьями, начинал рвать рубаху на груди и уверял, что задыхается в саду».

Стр. 87. *Антиной* – юноша, любимец римского императора Адриана, утонул в 130 г. н. э. в Ниле, считался образцом идеальной мужской красоты.

Стр. 90. Слова Беатрисы Хестингс, которые приводит Ахматова, – в кн.: J. Lipchitz. «Amedeo Modiliani», Paris, 1954, заключительный раздел. По мнению В. Я. Виленкина, в ахматовской характеристике этой близкой Модильяни женщины, талантливой английской поэтессы и критика, проявилась «несправедливость и рискованная неполнота».

Первый иностранец… – Имеется в виду сэр Исайя Берлин, посетивший Ахматову в ноябре 1945 г.

…сказал мне об этом портрете нечто такое, что я не могу «ни вспомнить, ни забыть», как сказал один неизвестный поэт о чем-то совсем другом. – Ахматова цитирует строку из стихотворения Н. В. Крандиевской «Не могу я вспомнить, что мне снилось…» (**Н. Крандиевская.** «Стихотворения», М., 1913, с. 18):

Не могу я вспомнить, что мне снилось,
Не могу ни вспомнить, ни забыть.

Впервые на источник этой цитаты указал Э. Г. Бабаев в статье «Пушкинские страницы Ахматовой» («Новый мир», 1987, № 1, с. 161).

Стр. 92. *Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк.* – Далее Ахматова приводит строки из баллады «О дамах минувших дней» французского поэта Франсуа Вийона (1431 – после 1463).

Стр. 93. *Что он родом из-под Ливорно…* – На самом деле Модильяни был родом из Ливорно (Виленкин, с. 69).

Стр. 94. *… над моей ржавой и кривоватой современницей (1889) – Эйфелевой башней.* – В автобиографической заметке (РНБ, ф. 1073, ед. хр. 46) Ахматова пишет: «Год Эйфелевой башни, Крейцеровой сонаты, рождения Чаплина и Габриэллы Мистраль был и годом моего рождения».

«А далеко на Севере…» – цитата из «Каменного гостя» А. С. Пушкина.

…Александр Блок пророчествовал в стихах… – Ахматова приводит цитаты из стихотворений Блока «Голос из хора», «Авиатор» и дневниковую запись Блока от 10 ноября 1911 г. (у Блока: «Это «американское» проявится, когда на нас пойдет великий Китай…» – Александр Блок. Собр. соч., т. 7, М. – Л., 1963, с. 85).

Стр. 97. Французский фильм *«Монпарнас, 19»* вышел на экраны в 1958 г. (режиссер Жан Бекер), в роли Модильяни снимался великий французский киноактер Жерар Филипп.

Листки из дневника (О Мандельштаме) – альм. «Воздушные пути», IV, 1965, Нью-Йорк, с. 23–43. В СССР наиболее полный текст – журн. «Вопросы литературы», 1989, № 2, с. 182–216 (публикация В. Виленкина). Другие публикации – журн. «Звезда», 1989, № 6, с. 21–34 (публикация Л. А. Мандрыкиной, примечания Л. А. Ильюниной и Ц. Т. Снеговской); сб.: Анна Ахматова. «Requiem», М., 1989, с. 121–146 (публикация Р. Д. Тименчика).

«Новелла об О. Э. Мандельштаме», как сама Ахматова называла свои воспоминания, несомненно, наиболее разработанная и законченная глава из нескольких, предназначавшихся ею для книги «Мои полвека». Ахматова работала над воспоминаниями о Мандельштаме в основном с 1957 по 1963 год, однако канонического текста воспоминаний не существует (ряд редакций хранится в РНБ и в частных собраниях). Текстологическая работа над рукописями Ахматовой о Мандельштаме подробно изложена В. Виленкиным («Вопросы литературы», с. 178–182). Однако и в публикации В. Виленкина, которую он сам называет «контаминацией» (поскольку в принятый за основу текст публикатор включает фрагменты других редакций), встречаются отдельные неточности и неверные, на наш взгляд, прочтения тех или иных мест рукописей. Наиболее точной является публикация Р. Д. Тименчика, но по сравнению с публикацией В. Виленкина она несколько уступает в полноте. Печатающийся в настоящем издании текст тоже своего рода контаминация.

Стр. 98. *«Шум времени»* – книга автобиографической прозы О. Э. Мандельштама; вышла в Ленинграде в издательстве «Время» в 1925 г.

Незадолго до смерти просил Надю… – Надежда Яковлевна Мандельштам (урожд. Хазина) (1901–1980) – жена поэта.

…бывал чудовищно несправедлив, например, к Блоку. – В одной из черновых рукописей: «К Блоку О. Э. был несправедлив. Он всегда попрекал его «красивостью» (РНБ, ед. хр. 76, л. 76 об.).

Стр. 99. Строки *«На грязь горячую от топота коней…»* принадлежат поэту Тихону Чурилину.

«Тучка» – так в дружеском кругу называлась комната Н. С. Гумилева, которую он снимал в Тучковом переулке (д. 17, кв. 29).

Я познакомилась с Мандельштамом на «Башне» Вячеслава Иванова летом 1911 года. – В воспоминаниях сестры поэтессы А. К. Герцык – Евгении Казимировны Герцык – рассказывается о «Башне» Вяч. Иванова: «Однажды бабушка привела внука на суд к В. Иванову, и мы очень веселились на эту поэтову бабушку и на

самого мальчика Мандельштама, читавшего четкие фарфоровые стихи».

Стр. 100. *Н. В. Н<едоброво> не переступал порога «Тучки»*. – Ахматова имеет в виду очерк поэта Г. В. Иванова «Поэты», где эпизод с Н. В. Недоброво описывается так: «Редкий гость на «Тучке» Н. В. Недоброво, барин-дилетант, высоким голосом с английским акцентом просит извинения, что стихи, которые он сейчас прочтет, не отделаны, так как недавно написаны – всего пять лет назад. Отделанные или нет, его сонеты несколько тяжелы. Есть такие строчки:

В искусстве чувств труд изощрить чтеца…

или:

Мощь мышц от тела тяжесть отняла…»

(Первая строчка принадлежит не Недоброво, а его другу, поэту Е. Г. Лисенкову.)

Зенкевич Михаил Александрович (1891–1973) – поэт и переводчик, входил в первую «шестерку» поэтов-акмеистов.

Ужас друзей! – Златозуб… – пародия на строку «Ужас морей – однозуб» из баллады Шиллера «Кубок» в переводе В. А. Жуковского; Златозуб – т. е. обладатель золотой коронки.

Стр. 101. *…супруг Анеты…* – Н. С. Гумилев; *Владимир Нарбут* (1888–1938) – поэт-акмеист; в сонете назван «волком» по своему одноименному стихотворению; *Моравская* Мария Людвиговна (1889–1947) – участница Цеха поэтов.

В. В. Гиппиус (1876–1941) – поэт, литературовед.

Стр. 102. *Недавно найдены письма О. Э. к Вячеславу Иванову* (*1909*). – Десять писем О. Э. Мандельштама к В. И. Иванову (за 1909–1911 гг.) опубликованы А. Морозовым в кн.: «Записки Отдела рукописей РНБ им. В. И. Ленина». Вып. 34. М., 1973.

Стр. 103. *Тогда же он написал таинственное* (*и не очень удачное*) *стихотворение про черного ангела на снегу*. – Стихотворение было напечатано посмертно, в альманахе «Воздушные пути», III, Нью-Йорк, 1963.

Как Черный ангел на снегу
Ты показалась мне сегодня,
И утаить я не могу,
Что на тебе печать Господня.
Такая странная печать –

Как бы дарованная свыше –
Что, кажется, в церковной нише
Тебе назначено стоять.
Пускай нездешняя любовь
С любовью здешней будут слиты,
Пускай бушующая кровь
Не перейдет в твои ланиты
И пышный мрамор оттенит
Всю призрачность твоих лохмотий,
Всю наготу нежнейшей плоти,
Но не краснеющих ланит.

1910

Стр. 104. *Черных ангелов крылья остры…* – из стихотворения Ахматовой «Как ты можешь смотреть на Неву…» (1914). Вряд ли Ахматова права, говоря о влиянии этого стихотворения на «Черного ангела» – он написан на четыре года раньше.

Стр. 105. *… он был одно время влюблен в актрису Александрийского театра Ольгу Арбенину…* – Арбенина-Гильдебрандт Ольга Николаевна (1901–1980) – актриса и художница. О ней сохранилась отдельная запись Ахматовой (РГАЛИ, ед. хр. 115, л. 12): «Мал<енькая> актриса и художница Ольга Ник. Арбенина была необычайно хороша собой. Жива и находится в Ленинграде. Вдова Юрия Юркуна и, следов<ательно>, хозяйка салона Кузмина. У нее был очень бурный роман с Гумилевым, ей же посвящено все театральное Мандельштама (1920). С Гум<илевым> была оживленная переписка, она давала читать письма Г<умилева> П. Н. Л<укницкому> (20-е годы). Дружила с А. Н. Г<умилевой>».

Ваксель Ольга Александровна (1903–1932). – Ахматова вспоминает обращенные к ней два стихотворения, разделенные десятью годами: *«В холодной стокгольмской постели…»* – строка из стихотворения 1935 г. «Возможна ли женщине мертвой хвала?..»; *«Хочешь валенки сниму»* – строка из стихотворения 1925 г. «Жизнь упала, как зарница…».

Стр. 106. *Петровых* Мария Сергеевна (1908–1979) – поэтесса, переводчица, близкий друг Ахматовой.

Бяка – Вера Артуровна Шиллинг (де Боссе) – актриса Камерного театра. Жила со своим тогдашним мужем, художником С. Ю. Судейкиным, летом 1917 г. в Крыму. Тогда же Мандельштам написал стихотворение «Золотистого меда струя из бутылки текла…», строку из которого (*«через плечо поглядела»*)

вспоминает Ахматова.

Штемпель Наталья Евгеньевна (1910–1988) – преподавательница литературы в Воронеже, близкая приятельница О. Э. Мандельштама.

Радлова Анна Дмитриевна (1891–1949) – поэтесса, переводчица.

Стр. 107. *«Гилея»* – так называла себя группа футуристов, в которую входили поэты Д. и Н. Бурлюки, В. Каменский, А. Крученых, Б. Лившиц, В. Маяковский, В. Хлебников.

Стр. 108. *Что же касается стихотворения «Вполоборота»…* – Стихотворение О. Э. Мандельштама «Ахматова» начинается строкой: «Вполоборота, о печаль…».

Пронин Борис Константинович (1875–1946) – актер, режиссер, основатель литературно-артистических кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов».

Стр. 109. *Таким же наброском с натуры было четверостишие «Черты лица искажены…»*:

Черты лица искажены
Какой-то старческой улыбкой.
Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены…

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) – поэт, в начале творческого пути – символист, позднее вместе с Н. С. Гумилевым стал одним из основателей («синдиков») акмеизма. См. о нем главу «Лишний акмеист» во «Второй книге» Н. Я. Мандельштам (М., 1990, с. 31–38). В одной из черновых редакций «Листков из дневника» Ахматова писала: «М<андельштам> всегда говорил, что у Георгия Иванова мелкий и злобный ум и что Городецкий обладает живостью, которая заменяет ему ум (1923). Потоки клеветы, которую извергало это чудовище на обоих погибших товарищей (Гумилева и Мандельштама), не имеют себе равных (Ташкент, эвакуация). Покойный Макридин, человек сериозный и порядочный, нахлебавшись этого пойла, с ужасом спросил меня: «Уж не он ли их обоих погубил? – или он совсем сумасшедший». (Цит. по сб.: Анна Ахматова. «Requiem», с. 146). Макридин Николай Васильевич (1888–1942) – инженер-мелиоратор, член Цеха поэтов.

Этот список я давала японцу Наруми в 30-х годах. – Кандзо Наруми (1899–1974) – японский филолог-русист.

Стр. 111. Приводим тексты стихотворений О. Э. Мандельштама, посвященных Ахматовой.

Первое стихотворение – «Я не искал в цветущие мгновенья…» (таким текст был продиктован автором в 1961 г. В. Виленкину; хранится в его архиве):

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественные бденья –
Воспоминанья мучат нас.

И в декабре семнадцатого года
Всего лишились мы, любя, –
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя.

Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике на берегу Невы
Под звуки омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.

Но если эта жизнь – необходимость бреда
И корабельный лес – высокие дома,
Лети, безрукая победа –
Гиперборейская чума.

На площади с броневиками
Я вижу человека – он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.

Касатка милая, Кассандра!
Ты стонешь, ты горишь – зачем
Сияло солнце Александра
Сто лет тому назад, сияло всем?

(Впервые напечатано в газ. «Воля народа» 31 декабря 1917 г. в другой редакции.)

Второе стихотворение:

Твое чудесное произношенье –
Горячий посвист хищных птиц.
Скажу ль: живое впечатленье
Каких-то шелковых зарниц.

«Что» – голова отяжелела.

«Цо» – это я тебя зову!
И далеко прошелестело:
Я тоже на земле живу.

Пусть говорят: любовь крылата, –
Смерть окрыленнее стократ.
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.

И столько воздуха и шелка
И ветра в шепоте твоем,
И, как слепые, ночью долгой
Мы смесь бессолнечную пьем.

1918

Кроме того, ко мне в разное время обращены четыре четверостишия… – Вот тексты этих четверостиший:

1. Вы хотите быть игрушечной,
Но испорчен ваш завод:
К вам никто на выстрел пушечный
Без стихов не подойдет.

2. Черты лица искажены
Какой-то старческой улыбкой.
Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены…

3. Привыкают к пчеловоду пчелы –
Такова пчелиная порода.
Только я Ахматовой уколы
Двадцать три уже считаю года.

4. Знакомства нашего на склоне
Шервинский нас к себе зазвал –
Послушать, как Эдип в Колоне
С Нилендером маршировал.

К последнему четверостишию прямо относятся строки из черновой рукописи Ахматовой (РНБ, ф. 1073, ед. хр. 76): «Мы (Мандельштам и я) у Шервинского слушаем перевод Ш<ервинского> и Нилендера «Эдип в Колоне» (когда?).

Эпиграмма».

Стр. 114. *«Вчерашнее солнце на черных носилках несут»* – строка из стихотворения О. Э. Мандельштама «Сестры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы…» (1920).

Стр. 115. *…в Китайской деревне, где они жили с Лившицами.* – Имеются в виду поэт Бенедикт Константинович Лившиц (1886/87–1938) и его жена Екатерина Константиновна (1902–1987).

«Там улыбаются уланы». – В первом сборнике Мандельштама «Камень» и в дальнейших переизданиях стихотворение «Царское Село» начиналось строфой:

Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло…
Поедем в Царское Село!

Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется. – В черновой рукописи (РНБ, ед. хр. 76) есть строки: «Когда я стояла в очереди «на прикрепление» на март 1921 г. в Доме ученых, в соседней очереди оказался Н. С. Гумилев, с которым я тогда редко встречалась. Очутившись со мной рядом, он заговорил о стихах Мандельштама и особенно восхищался стихотворением о Трое («За то, что я руки твои…»). Он всегда очень высоко ценил поэзию О. Э.».

Стр. 116. *Тынянов* Юрий Николаевич (1894–1943), Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959), *Гуковский* Григорий Александрович (1902–1950) – видные ленинградские литературоведы.

Знакомство с Белым было коктебельского происхождения. – Имеется в виду Андрей Белый (Бугаев Борис Николаевич. 1880–1934) – поэт, писатель-символист. В черновой рукописи (РНБ, ед. хр. 76, л. 2): «Встречи и беседы с Белым в Коктебеле произвели на него очень сильное впечатление (когда?). О смерти Белого он сказал мне по телефону в Ленинград: «Я сейчас стоял в почетном карауле у гроба Андрея Белого».

Стр. 117. *Вольпе* Цезарь Самойлович (1904–1941) – литературовед.

«Квартира тиха, как бумага…» – Вот как это стихотворение звучит полностью:

Квартира тиха, как бумага –
Пустая, без всяких затей,

И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать –
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть…
Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни наглей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Кулацкому баю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проверенный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель –
Такую ухлопает моль…

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать, –
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя

Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Ноябрь 1933

Москва, ул. Фурманова

(Архив В. Виленкина. Дано ему Н. Я. Мандельштам.)

Стр. 120. *А его театр, а Комиссаржевская, про которую он не говорит последнее слово: королева модерна…* – Это «последнее слово» договаривает за Мандельштама Ахматова в строках из погибшей поэмы 1940-х годов (см. в книге «Анна Ахматова “Сочинения в 2-х томах”», М., 1990. Т.2, с. 89).

Стр. 166. *…для помещения в книгу «Писатели советской эпохи»* (*цитата*). – Что именно предполагала процитировать здесь Ахматова, установить не удалось. В кн.: «Писатели современной эпохи» (1928) под ред. Б. П. Козьмина, на которую она дважды ссылается, ничего похожего нет.

…прочел «Под собой мы не чуем…». – Стихотворение О. Э. Мандельштама, начинающееся строкой: «Мы живем, под собою не чуя страны…» (1933) – сатира на Сталина; в СССР было напечатано только в 1988 г., в журн. «Огонек» № 47. Приводим полный текст:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, –
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет.
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подковы, кует за указом указ –
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина.

Стр. 121. *О своих стихах, где он хвалит Сталина…* – Имеется в виду стихотворение «Когда б я уголь взял для высшей похвалы…» (1937).

…в стихотворении «Немного географии…» – см. в книге «Анна Ахматова “Сочинения в 2-х томах”». М., 1990. Т. 1, с. 254–255.

…я взяла с собой мой орденский знак Обезьяньей Палаты… – Имеется в виду шуточный «орден», обозначавший принадлежность награждаемого к выдуманному писателем А. М. Ремизовым (1877–1957) «тайному сообществу» людей искусства близкого ему круга. Каждому принятому в сообщество выдавалась замысловато разрисованная и собственноручно изготовленная самим Ремизовым грамота.

Кирсанов Семен Исаакович (1906–1972) – поэт.

Стр. 121–122. *Следователь при мне нашел «Волка»…* – то есть стихотворение Мандельштама:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе.
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

17–28 марта 1931

Стр. 122. *…ему казалось, что за ним пришли* (*см. «Стансы», строфа 4-я*) … – Ахматова отсылает читателя к стихотворению О. Э. Мандельштама «Стансы»:

Подумаешь, как в Чердыне-голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,

В семивершковой я метался кутерьме.
Клевещущих козлов не досмотрел я драки,
Как петушок в прозрачной летней тьме,
Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки, –
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.

Потом звонил Пастернаку. – К этому месту в одной из рукописей Ахматова делает следующее примечание: «Все, связанное с этим звонком, требует особого рассмотрения. Об этом пишут обе вдовы, и Надя и Зина, и существует бесконечный фольклор. Какая-то Триолешка даже осмелилась написать (конечно, в пастернаковские дни), что Борис погубил Осипа. Мы с Надей считаем, что Пастернак вел себя на крепкую четверку.

Еще более поразительными сведениями о Мандельштаме обладает в книге о Пастернаке Х.: там чудовищно описана внешность и история с телефонным звонком Сталина. Все это припахивает информацией Зинаиды Николаевны Пастернак, которая люто ненавидела Мандельштамов и считала, что они компрометируют ее «лояльного мужа».

Стр. 123. *…подлинные слова оратора были смягчены* (*см. «Лит. газети» 1934 года, май*). – В черновой рукописи (РНБ, ед. хр. 76): «Коктебель – рассадник клеветы и сплетен. Роль салона Бриков, где Мандельштам и я назывались «внутренними эмигрантами». (Городецкий в мае 1934)».

…еще не тронутая бедствиями Сима Нарбут… – Серафима Густавовна Нарбут – жена поэта В. И. Нарбута, арестованного в 1936 году (погиб в лагере в 1938-м).

Нина Ольшевская – ближайшая приятельница Ахматовой, в то время актриса МХАТа.

Стр. 124. *…читавших Пушкина «славных ребят из железных ворот ГПУ…»* – цитата из стихотворения О. Э. Мандельштама «День стоял о пяти головах…» (1935):

…Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?
Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов…

Стр. 125. *«Письмо о русской поэзии», 1922, Харьков…* – ошибка памяти: статья Мандельштама «Письмо о русской поэзии» была напечатана в газ. «Советский юг» (Ростов-на-Дону, 1922, 21 января).

Стр. 126. *Рудаков* Сергей Борисович (1909–1944) –

литературовед, поэт; друг Мандельштама и Ахматовой, которая посвятила его памяти стихотворение «Памяти друга» (1945) – автограф с посвящением хранится в частном собрании – и специальную «новеллу», примыкающую к воспоминаниям о Мандельштаме, но не входящую ни в одну из редакций. Приводим эту новеллу по рукописи, хранящейся в РНБ (т. 1073, ед. хр. 84, л. 1–1 об.):

«*Рудаков.* Листки из дневника

Перелом руки очень долго давал себя чувствовать: когда я приехала в Воронеж, у Осипа Эмильевича рука была на перевязи, он не мог сам надеть пальто, не мог и писать. Свои стихи он диктовал жене, и поэтому огромное количество его стихов написано не его почерком. Рядом с ним или, вернее, около него появился новый человек – Сергей Борисович Рудаков, молодой ленинградский литературовед и поклонник стихов Мандельштама. Всего один месяц Осип Э. диктовал ему свои стихи (цикл «Чернозем»). Под конец этот юноша начал раздражать Осипа Эмильевича. Получив освобождение в июле 1938 г. (он был выслан в Воронеж), Рудаков вернулся в Ленинград, где продолжал заниматься Пушкиным. Я была в Пушдоме на его докладе о «Медном всаднике». В конце войны он (Рудаков) был убит на фронте.

И вот вчера мне пришлось увидеть письмо С. Б. Рудакова воронежского периода к его жене Л. С., в котором он утверждает, что 160 стихов (строк) Мандельштама написаны им, Рудаковым (или, вернее, сотворены из какой-то мертвой массы), что они втроем (он – Рудаков, Вагинов и Мандельштам – составляют всю русскую поэзию) (Пастернак, Цветаева и Ходасевич не в счет), что (о ужас!) потомки будут восхищаться им, Рудаковым, что он объяснил Мандельштаму, как писать стихи и т. п. Все это, конечно, больше всего похоже на бред мании величия, но, если эти письма попадут в руки недоброжелателей, я могу себе представить, какие узоры будут расшиты на этой канве. Вся «работа» (?!) Рудакова в настоящее время находится неизвестно где. *Собственные стихотворные попытки Рудакова манерны, вычурны, действительно похожи на стихи Вагинова к других представителей тогдашней «левой» поэзии, но ни на что большее претендовать не могут* (выделено Ахматовой. – *М. К.*).

Ясно одно: и до и после Рудакова Мандельштам писал гениальные стихи, так называемый второй период начался с конца 20-х годов (напр., «Армения»…), и претензии Рудакова могут вызвать только усмешку.

В этом страшно одно. Какие бездны у каждого под ногой, какой змеиный шелест зависти и злобы неизбежно сопровождает

людей, одаренных талантом. Придумать, что у нищего, сосланного, бездомного Мандельштама можно что-то украсть – какая светлая благородная мысль, как осторожно и даже грациозно она осуществлена, с какой заботой о потомках и о собственной, очевидно, посмертной славе.

Подумать только, что эти письма (к жене) писались рядом с еще живым, полным мыслей и ритмов гениальным поэтом… в то время, как Надя делила всю еду на три равные части. Хочется закрыть лицо и бежать, но куда…

3 февраля 1960

Красная Конница».

(Более подробную и объективную характеристику С. Б. Рудакова и его отношения к О. Э. Мандельштаму дает Э. Г. Герштейн в ее кн.: «Новое о Мандельштаме», Париж, 1986.)

Стр. 131. *«У подружки Лены…»* – Е. К. Гальперина-Осмеркина (1903–1987) – первая жена художника А. А. Осмеркина; *«… а подружка Надюша овдовела…»* – В черновой рукописи (РНБ, ед. хр. 76, л. 5) за этим следует: «P. S. Когда я написала последнее слово, приехала Ира (Ирина Николаевна Пунина. – *М. К.*) из города и привезла письмо от Нади. Оно кончается так: «… а Ося, слава Богу, умер».

Письма

Существует мнение, что Анна Ахматова почти не писала писем. Действительно, ее нельзя назвать таким любителем эпистолярного жанра, какими были Цветаева или Пастернак. Ее письма, в еще большей степени, чем ее проза, обладают «головокружительной краткостью» (как сама она определила основное свойство прозы Пушкина).

Но Анна Ахматова не только немного написала писем, но и сохранилось их мало. Большая часть эпистолярного наследия Ахматовой сделалась жертвой огня: по взаимному соглашению была сожжена вся досвадебная переписка ее с Н. С. Гумилевым, большое количество писем было сожжено «после визита следователя» в 1949 году. Письма уничтожала не только сама Ахматова, но и ее корреспонденты. Ее сын, Лев Николаевич Гумилев, после освобождения в 1956 году уничтожил почти все письма матери, а их было немало, судя по ответным письмам Льва Николаевича, хранящимся в РНБ (среди них случайно сохранились три письма Ахматовой к сыну, печатающиеся в настоящем издании). Не сохранились, судя по всему, письма Ахматовой к Н. В. Недоброво, А. С. Лурье, В. Г. Гаршину… Последние были уничтожены самой Анной Андреевной после разрыва с Владимиром Георгиевичем. Та же участь должна была постигнуть и письма Ахматовой к Н. Н. Пунину – Марта Андреевна Голубева спасла от аутодафе письма своей соперницы, и ныне они хранятся в РГАЛИ.

Наконец, многие письма Ахматовой (особенно письма к читателям) до сих пор не разысканы и, возможно, хранятся у адресатов. Перед исследователями творчества Ахматовой стоит задача: собрать и опубликовать все ее эпистолярное наследство. Но это – дело будущего. В настоящем издании печатаются избранные письма Ахматовой, впервые собранные более или менее полно и дающие представление о разных сторонах ее «эпистолярной музы». Среди них – и интимные письма к близким людям (В. К. Шилейко, А. Г. Найману), и дружеские – к людям, с которыми Ахматова была душевно близка на протяжении десятков лет (письма М. Л. Лозинскому, Н. И. Харджиеву, Э. Г. Герштейн), и, наконец, письма читателям (Ф. И. Малову, Е. М. Ольшанской, С. И. Четверухину) – как правило, лаконичные, дышащие вниманием и благожелательностью…

С. В. фон Штейну – журн. «Russian Literature Triquarterly», Ann Arbor, 1975, № 13. В СССР – журн. «Новый мир», 1986, № 9, с.

199–207 (публикация Э. Г. Герштейн). Печатается по этому изданию.

Сергей Владимирович фон Штейн (1882–1955) – филолог, поэт, переводчик, муж старшей сестры Ахматовой Инны Андреевны Горенко. Инна Андреевна умерла 15 июля 1906 года. Вторичная женитьба Штейна, возможно, послужила причиной охлаждения к нему Анны Андреевны, отраженного в двух последних письмах.

Впоследствии Штейн навсегда покинул Советскую Россию, а его вторая жена вышла замуж за искусствоведа Э. Ф. Голлербаха (1895–1942). Оказавшись владельцем части архива Штейна, Э. Голлербах передал 8 апреля 1935 года в Государственный литературный музей «десять писем А. А. Горенко-Ахматовой при условии, что они не будут опубликованы при жизни Ахматовой ни целиком, ни в выдержках». Однако в статье «Из воспоминаний о Н. С. Гумилеве» в берлинском журнале «Новая Русская Книга», 1922, № 7, с. 38, он опубликовал выдержку из письма от 13 марта 1907 года, касающуюся издания Н. С. Гумилевым русского журнала «Сириус» в Париже. Этот поступок вызвал негодование Ахматовой. В оправдательном письме (1923) Э. Голлербах писал: «Многоуважаемая Анна Андреевна. П. Е. Щеголев передавал мне, что Вы очень огорчены и раздосадованы опубликованием нескольких строк из Вашего письма в моей статье о Н. С. Гумилеве. ‹…› Я позволил себе привести несколько слов из Вашего письма, не видя в этих словах ничего интимного или «компрометирующего». ‹…› Я думаю, что моя неловкость по отношению к Вам есть совершенно *бессознательная* и беззлобная реакция на ту острую, темную, почти непрерывную боль, которую мне причиняет самое Ваше существование» (цит. по черновому автографу, хранящемуся в собрании А. М. Румянцева, Ленинград). Однако Ахматова так и не простила Голлербаха и до конца своих дней относилась к нему с презрением.

В настоящее время оригиналы писем хранятся в РГАЛИ.

Стр. 136. *Рожество* – устный вариант произношения, употребляемый Ахматовой во всех этих письмах. Валя – Валерия Сергеевна Срезневская, подруга Ахматовой. Андрей – старший брат Ахматовой Андрей Андреевич Горенко (1886–1920). В. Г. – К. – Владимир Викторович Голенищев-Кутузов (1879–?) – студент Петербургского университета, основной «лирический герой» этих писем.

Тоника советую сунуть в… – смысл этой недописанной фразы остается неясным.

Стр. 138. *Летом Феодоров опять целовал меня…* – Федоров Александр Митрофанович (1868–1949) – прозаик и поэт. Ему

посвящено стихотворение Ахматовой «Над черною бездной с тобою я шла…». *Дядя и тетя Вакар* – Виктор Модестович и его жена Анна Эразмовна Вакар (урожд. Стогова), старшая сестра матери Ахматовой.

Стр. 141. *Люблю ли его, я не знаю…* и далее – измененная цитата из стихотворения А. К. Толстого «Средь шумного бала, случайно…» *Сораспятая на муку…* и далее – заключительная строфа стихотворения В. Я. Брюсова «В застенке» (из цикла «Из ада изведенные»). … *всем судило Неизбежное…* и далее – строки из стихотворения В. Брюсова «Тезей Ариадне» (из цикла «Правда вечная кумиров»).

Стр. 144. *Наня* – двоюродная сестра Ахматовой Марья Александровна Змунчилла. Впоследствии она вышла замуж за Андрея Андреевича Горенко. Ей посвящен стихотворный цикл «Обман» в книге «Вечер».

Стр. 145. *«Жизнь человека»* – драма Леонида Андреева.

Стр. 146. *…у вас в кружке…* – подразумевается «Кружок поэтов имени К. К. Случевского».

Стр. 146. *Давид Айзман* (1869–1922) – прозаик и драматург. *…может быть, в 3-м появится маленькое стихотворение…* – В третьем номере журн. «Сириус» стихотворение А. Горенко отсутствует.

Стр. 147. *Тетя Маша* – старшая сестра Андрея Антоновича Горенко, отца Ахматовой.

Стр. 148. *Гимназию кончила…* – Аттестат об окончании Анной Горенко Фундуклеевской гимназии датирован 28 мая 1907 г. … *курсы – смерть. Ну и не иду…* – После окончания гимназии Ахматова поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве, а, переехав в 1910 г. в Петербург, училась на Высших историко-литературных курсах Раева.

В. Я. Брюсову – кн.: «Записки Отдела рукописей» (Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина), М., «Книга», 1979, с. 276–278 (публикация Г. Г. Суперфина и Р. Д. Тименчика), по автографам (ОР ГБЛ, ф. 386). К первому письму приложены стихотворения «Тебе, Афродита, слагаю танец…», с вариантом 10-й строки: «Богиня! покинь Олимп…» и «Старый портрет».

Отношение Ахматовой к творчеству В. Я. Брюсова (1873–1924) с годами претерпело существенную эволюцию. Если в годы учения в Киевской Фундуклеевской гимназии она увлекалась его стихами, а роман Брюсова «Огненный ангел», по свидетельству ее соученицы В. А. Беер, был одной из ее любимых книг, то с годами Ахматова во многом пересмотрела свое отношение к поэзии и

личности Брюсова. Вероятно, этому способствовали крайне отрицательные отзывы последнего о поэзии Ахматовой 20-х годов, напр., в статье «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии» (1922): «Некоторые, однако, шли назад очень далеко, так, напр., Анна Ахматова, расхваленная частью современной критики; в ранних стихах Ахматовой было некоторое своеобразие психологии, выраженной подходящими к тому ломаными ритмами; в новых («У самого моря», «Подорожник», «Anno Domini», 1922), – только бессильные потуги на то же, изложенные стихами, которых бы постыдился ученик любой дельной «студии» (журн. «Печать и революция», 1922, № 7).

А. А. Блоку – кн.: «Александр Блок. Новые материалы и исследования» (Литературное наследство, т. 92, кн. 4, М., 1987, с. 576–577, публикация В. А. Черных), по автографу РГАЛИ. Датируется на основании записи Блока: «7 января. Письмо и стихи от А. А. Ахматовой» (Александр Блок. «Записные книжки». 1901–1920», с. 200).

Стр. 150. *Вы очень добрый, что надписали мне так много книг…* – см. об этом в «Воспоминаниях об Александре Блоке», наст. издание, с. 74. *Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное…* – К письму на отдельном листе приложен автограф стихотворения Ахматовой «Я пришла к поэту в гости…». На письмо Ахматовой Блок ответил письмом 18.1.1914:

«Глубокоуважаемая
Анна Андреевна.

Мейерхольд будет редактировать журнал под названием «Любовь к трем апельсинам». Журнал будет маленький, при его студии, сотрудничают он, Соловьев, Вогак, Гнесин. Позвольте просить Вас (по поручению Мейерхольда) позволить поместить в первом номере этого журнала – Ваше стихотворение, посвященное мне, и мое, посвященное Вам. Гонорара никому не полагается. Если Вы согласны, пошлите стихотворение Мейерхольду (Площадь Мариинского театра, 2), или напишите мне два слова, я его перепишу и передам.

Простите меня, что перепутал № квартиры, я боялся к Вам звонить и передал книги дворнику.

Преданный Вам

Александр Блок

Офицерская, 57, кв. 21, тел. 612–00».
На конверте:
Ее Высокородию

Анне Андреевне Гумилевой.
Царское Село, Малая, 63.

Н. С. Гумилеву – сб.: Анна Ахматова. «Я – голос ваш…», с. 345, по автографам (письмо 1 – РНБ, ф. 474, альбом П. Н. Медведева № 1, лл. 34–40; письмо 2 – РГАЛИ). До сих пор выявлены только эти два письма Ахматовой к Н. С. Гумилеву. К первому письму приложены два стихотворения: «Целый год ты со мной неразлучен…» и «Завещание».

Стр. 150. *О погоде и делах тебе верно напишет мама.* – Речь идет о матери Н. С. Гумилева – Анне Ивановне (1854–1942). *В июньской книге «Нового Слова» меня очень мило похвалил Ясинский.* – Рецензия И. Ясинского «Новые книги» напечатана в журн. «Новое слово», 1914, № 7.

Стр. 151. *Сюда пришел Жамм.* – Жамм Франсис (1868–1938) – французский поэт. Вероятно. Ахматова имеет в виду русское издание: «Стихи и проза», М., 1913. *…письмо Зноски…* – Е. А. Зноско-Боровский (1884–1954) – писатель, театровед, секретарь редакции журнала «Аполлон». *…мама переслала мне сюда твое письмо.* – Речь идет о матери Ахматовой – Инне Эразмовне Горенко. *Посылаю тебе одно сегодня…* – К письму приложено стихотворение «Подошла я к сосновому лесу…». *С недобрым чувством жду июльскую «Русскую мысль».* – В журн. «Русская мысль», 1914, № 7, напечатан обзор В. Я. Брюсова «Год русской поэзии».

Г. И. Чулкову – сб.: Анна Ахматова. «Я – голос ваш…», с. 346, по автографам РГАЛИ.

Чулков Георгий Иванович (1879–1939) – писатель-символист. Он и его жена Надежда Григорьевна были связаны с Ахматовой долгими годами дружеских отношений.

Стр. 152. *Недавно начала писать, наконец, большую вещь…* – то есть поэму «У самого моря».

Стр. 153. *Я, может быть, поеду на 6 недель в Швейцарию…* – Поездка Ахматовой не состоялась из-за начавшейся мировой войны. *…я отдала… Щеголеву…* – Павел Елисеевич Щеголев (1877–1931) – литературовед, пушкинист … *мои стихи были переведены…* (*отдельная книга, пер. Дадингтон*) … – «Семь стихотворений о любви» в переводе дочери русского писателя А. Эртеля Н. А. Даддингтон вышли в Лондоне в 1927 г.

Ф. К. Сологубу – сб.: «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год». Л., «Наука», 1976, с. 55–57 (публикация А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика), по автографам ОР

ИРЛИ.

Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников, 1863–1927) – поэт и прозаик. Не отличавшийся дружественной общительностью, Ф. К. Сологуб относился к Ахматовой с неизменным уважением; особенно они сблизились в 20-х годах. Стихотворение Ахматовой, посвященное Ф. Сологубу – см. в книге «Анна Ахматова “Сочинения в 2-х томах”». М., 1990. Т.2, с. 20.

22 марта 1917 г. Сологуб написал стихотворение «Анне Ахматовой»:

Прекрасно все под нашим небом,
И камни гор, и нив цветы,
И, вечным справедливым Фебом
Опять обласканная, ты.
И это нежное волненье,
Как в пламени синайский куст,
Когда звучит стихотворенье,
Пчела над зыбким медом уст,
И кажется, что сердце вынет
Благочестивая жена
И милостиво нам подвинет,
Как чашу пьяного вина.

А. И. Гумилевой – 1 – кн.: «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год». Л., «Наука», 1976, с. 60 (публикация А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика), по автографу ОР ИРЛИ; 2 – печатается по автографу из архива П. Н. Лукницкого.

Анна Ивановна Гумилева («Мама») – свекровь Ахматовой, мать Н. С. Гумилева.

Стр. 155. *Его письмо П. Н. я передала…* – то есть Павлу Николаевичу Лукницкому (1900–1973) – другу Ахматовой, биографу Н. С. Гумилева, с которым сын Ахматовой, Лева, состоял в дружеской переписке. *Как здоровье Шурочки?* – Имеется в виду Александра Степановна Сверчкова – сводная сестра Н. С. Гумилева.

Л. М. Рейснер – кн.: «Николай Гумилев. Неизданное и несобранное», Париж, 1986, с. 201, по автографу (ГБЛ, ф. 245, к. 5, ед. хр. 37).

Лариса Михайловна Рейснер (1895–1926) – журналистка, писательница, жена Ф. Ф. Раскольникова.

Стр. 155. *Вольдемар Вам кланяется.* – В. К. Шилейко – второй муж Ахматовой. Ахматова была в дружеских отношениях с Л. М. Рейснер, хотя знала о ее романе с Н. С. Гумилевым. После

гибели Гумилева Л. Рейснер писала Ахматовой из Афганистана (вероятно, по цензурным причинам не упоминая имени расстрелянного поэта):

«24 ноября 1921

Дорогая и глубокоуважаемая Анна Андреевна!

Газеты, проехав девять тысяч верст, привезли нам известие о смерти Блока. И почему-то только Вам хочется выразить, как это горько и нелепо. Только Вам – точно рядом с Вами упала колонна, что ли, такая же тонкая, белая и лепная, как Вы, Теперь, когда его уже нет, Вашего равного, единственного духовного брата, – еще виднее, что Вы есть, что Вы дышите, мучаетесь, ходите, такая прекрасная, через двор с ямами, выдаете какие-то книги каким-то людям – книги, гораздо хуже Ваших собственных.

Милый Вы, нежнейший поэт, пишете ли стихи? Нет ничего выше этого дела, за одну Вашу строчку людям отпустится целый злой, пропащий год.

Ваше искусство – смысл и оправдание всего. Черное становится белым, вода может брызнуть из камня, если жива поэзия. Вы радость, содержание и светлая душа всех, кто жил неправильно, захлебывался грязью, умирал от горя. Только не замолчите – не умирайте заживо.

Горы в белых шапках, теплое зимнее небо, ручьи, которые бегут вдоль озимых полей, деревья, уже думающие о будущих листьях и плодах под войлочной оберткой, все они кланяются на языке, который и Ваш и их, и тоже просят стихи.

И горы и земля знают, как молчалива смерть.
Целую Вас, Анна Андреевна…
Искренне Вас любящая

Лариса Раскольникова

P. S. При этом письме посылаю посылку, очень маленькую, «немного хлеба и немного меда».

(Печатается по кн.: Лариса Рейснер. «Избранное», М., 1965, с. 518–519).

А. Э. Вакар – печатается по автографу из архива П. Н. Лукницкого.

Анна Эразмовна Вакар – тетка Ахматовой, в ее доме прожила последние годы мать Ахматовой, Инна Эразмовна Горенко.

Стр. 156. *Судейкина в Париже…* – О. А. Глебова-Судейкина уехала в Париж в 1924 г.

В. К. Шилейко – письма 5, 7, 8 – кн.: Вера Лукницкая. «Перед тобой земля», Л., 1988, с. 317. Остальные письма печатаются по автографам и копиям, снятым П. Н. Лукницким перед отправкой писем адресату. Предоставлены составителю В. К. Лукницкой.

Ахматова вышла замуж за Вольдемара (Владимира) Казимировича Шилейко в декабре 1918 г. Брак был расторгнут 8 июня 1926 года, хотя фактически они расстались гораздо раньше – в 1921 году. Но между ними сохранились дружеские отношения, о чем свидетельствует их переписка (ответные письма В. К. Шилейко хранятся в архиве Ахматовой, РНБ).

Стр. 156. *Тапа* (в дальнейшем *Тушин, Тапуся, Топтан*) – сенбернар, своеобразный герой этих писем. Несмотря на голод, царивший в Петрограде 20-х годов и абсолютную неприспособленность Ахматовой и Шилейко, они умудрялись содержать сенбернара. После отъезда Шилейко в Москву вся забота о Тапе легла на плечи Ахматовой. В этих письмах высвечивается еще одна сторона ее личности – трогательная и ответственная любовь к «братьям нашим меньшим».

Стр. 157. *…привет Вере Константиновне…* – жене Шилейко, урожденной Андреевой. *Скоро выйдут мои книги…* – двухтомник стихотворений Ахматовой так и остался на стадии второй корректуры. Следующий ее сборник стихов вышел только в 1940 г.

Стр. 158. *Букан* – домашнее прозвище В. К. Шилейко.

Стр. 159. *Маня у меня больше не служит…* – Мария Сидоровна Любимова, домработница Ахматовой в начале 20-х годов, *…живу в пустой квартире Рыбаковых*. – Рыбаковы Иосиф Израилевич (1880–1938) и его жена Лидия Яковлевна – друзья Ахматовой на протяжении многих лет.

Стр. 160. *Анна Евгеньевна* Аренс-Пунина (1892–1943) – первая жена Н. Н. Пунина.

Стр. 161. *…вчера я была в твоей мраморной резиденции…* – Имеется в виду квартира в Мраморном дворце, где В. К. Шилейко занимал служебную площадь как работник Академии материальной культуры.

Стр. 163. *…вот твое первое изображение*. – С этим письмом Ахматова послала фотографию В. К. Шилейко в детстве.

О. А. Глебовой-Судейкиной – печатается по автографу из архива П. Н. Лукницкого. Письмо не закончено. Это – единственное из выявленных на сегодня писем Ахматовой к Ольге Афанасьевне Глебовой-Судейкиной (1885–1945), прототипу главной героини «Поэмы без героя». В 1924 г. О. А. Глебова-Судейкина с помощью А. С. Лурье уехала за границу. Жила и

умерла в Париже.

Стр. 164. *Валентина Андреевна* – В. А. Щеголева (Богуславская) (1878–1931) – актриса, жена историка и пушкиниста П. Е. Щеголева.

Н. И. Харджиеву – журн. «Russian Literature», Париж – Гаага, № 7/8, 1974, с. 5–18 (публикация Генриха Барана). В СССР – журн. «Вопросы литературы», 1989, № 6, с. 214–247 (публикация Э. Г. Бабаева). Печатается по этому изданию. Автографы – в архиве Н. И. Харджиева.

Николай Иванович Харджиев (1903–1996) – литературовед, искусствовед. Познакомился с Ахматовой в начале лета 1930 года. Их дружба продолжалась до смерти Анны Андреевны.

Стр. 164. *Ира* – Ирина Николаевна Пунина – искусствовед, дочь А. Е. Аренс-Пуниной и Н. Н. Пунина.

Стр. 165. *Вера Федоровна Румянцева* – (1900–1971) – знакомая Ахматовой и Харджиева, библиограф Третьяковской галереи. *От Левы нет вестей…* – Сын Ахматовой Лев Николаевич Гумилев находился в то время в археологической экспедиции. *Н. Н. замучен музейными делами…* – Имеется в виду Николай Николаевич Пунин. *Что Вы пишете о Пастернаке?* – Н. И. Харджиев и его соавтор В. В. Тренин работали над статьей о Б. Л. Пастернаке.

Стр. 166. *…читаю… доклад о «Золотом Петушке».* – Доклад Ахматовой был напечатан под заглавием «Последняя сказка Пушкина» в журн. «Звезда» (1933, № 1). *О М. М. плохие вести.* – Имеется в виду Михаил Матвеевич Никитин (1906–1942) – друг Харджиева, литературовед, специалист по лубочной литературе. В 1933–1936 гг. он находился в лагере в области Коми. Погиб на фронте. *Николаша* – Н. Н. Пунин. *Спасибо за Чулкова и Левшина.* – Речь идет о книге В. Б. Шкловского «Чулков и Левшин» (Л., 1933). Харджиев помогал Шкловскому в подборе и обработке материалов для книги и был соавтором некоторых ее глав. *В Москве ли Пильняк, Толстая?* – Борис Андреевич *Пильняк* (1894–1938) – писатель, был дружен с Ахматовой; Софья Андреевна *Толстая* (1900–1957) – внучка Л. Н. Толстого, вдова С. А. Есенина. *Привет В. Б.* – Виктору Борисовичу Шкловскому (1893–1984) – писателю, критику, литературоведу и сценаристу. *В. Ф. Вам расскажет…* – т. е. В. Ф. Румянцева.

Стр. 167. *Куда перевели М. М.?* – то есть М. М. Никитина. *Бонч предлагает…* – Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873–1955) – директор Государственного Литературного музея. От продажи всего архива Ахматова отказалась. *Спасибо за альбом, он чудный.* – Н. Харджиев подарил Ахматовой старинный альбом. На первом листе надпись по-французски: «Князь Долгорукий. 1838».

Первые пять страниц заполнены французскими стихотворениями (Ламартина и др.). Ахматова вписывала в этот альбом окончательные редакции своих стихов. После смерти Анны Андреевны альбом исчез, и его местонахождение в настоящее время неизвестно. *Лидия Михайловна Андриевская* – литературовед, жена филолога Бориса Михайловича Энгельгардта. *Люся* – Лидия Яковлевна Гинзбург – литературовед, прозаик, друг Ахматовой.

Стр. 168. *<Ташкент>* – Ахматова приехала в Ташкент в ноябре 1941 г. Ее поселили в доме № 3 по ул. Карла Маркса. В этом доме, где находилась приемная Верховного Совета, было устроено нечто вроде общежития для московских писателей. Здесь жил и С. М. Городецкий. Комната Ахматовой находилась на втором этаже, на солнечной стороне, «заполненная до самого потолка светом» (Нина Татаринова. «Звездный кров Анны Ахматовой». – «Звезда Востока», 1986, № 7, с. 170). *…приеду в Алма-Ату повидаться с Вами.* – Н. Харджиев приехал в Алма-Ату в ноябре 1941 года. Я закончила поэму… – Имеется в виду «Поэма без героя». *Привет Шкловскому, Зощенке и Лиле Брик.* – В. Шкловский, М. Зощенко и Н. Харджиев, встретившись в Алма-Ате, послали совместное письмо Ахматовой в Ташкент. Л. Ю. Брик тогда находилась в г. Молотове. *…Виктор Борисович расскажет…* – Шкловский побывал в Ташкенте весной 1942 г. Студия «Мосфильм», с которой он был связан, находилась в Алма-Ате. *Недавно я получила от него письмо.* – Письмо Н. Н. Пунина к Ахматовой от 14 апреля 1942 г. из Самарканда см. в сб.: «Об Анне Ахматовой». Л., 1990, с. 531–533. *…от Вл. Георг. вестей нет.* – Владимир Георгиевич Гаршин всю блокаду прожил в Ленинграде.

Стр. 169. *«Не теряйте отчаянье»* – любимая поговорка Н. Н. Пунина, которую часто повторяла Ахматова (см. наст. том, с. 64). *…сын Паустовского…* – приемный сын писателя К. Г. Паустовского – С. Навашин. *…после долгого лежания в больнице – я дома.* – Ахматова была больна тифом и находилась на излечении в ТашМИ (Ташкентский медицинский институт).

Стр. 170. *…с Валерией Сергеевной…* – В. С. Познанской – знакомой Ахматовой. *…благодарность Крученыху.* – Алексей Елисеевич Крученых (1886–1968) – поэт-футурист. *Видаетесь ли с Бриками?* – Осип Максимович Брик (1888–1945) – критик, один из теоретиков ЛЕФа, и его жена Лиля Юрьевна Брик (1891–1978). *Марьина Роща* – Н. Харджиев жил в 30–40-е годы в Марьиной роще, где произошла вторая встреча Ахматовой с М. И. Цветаевой.

Стр. 171. *Ждем с Надюшей…* – с Н. Я. Мандельштам. *Вчера выступала на вечере Маяковского.* – В 1943 г. отмечалась 13-я

годовщина со дня гибели В. В. Маяковского. В Ташкенте проходили вечера в драматическом театре имени М. Горького, в Институте мировой литературы (в помещении консерватории) и т. д. На одном из этих вечеров Анна Ахматова читала свое стихотворение «Маяковский в 1913 году». *«Фирса забыли, человека забыли!»*… – Последняя реплика Фирса из пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад»: «Про меня забыли…». *Отсюда всюду далеко – написала я в одном письме*… – в письме И. Н. Томашевской от 2 июня 1943 г. (см. наст. издание, с. 192–193). *У меня новый дом*… – Ахматова имеет в виду дом 54 по улице Жуковской, куда она была переселена в мае 1943 г.

Стр. 172. …*мне приходит в голову послать Вам мою книгу*… – Речь идет о сб.: Анна Ахматова. «Избранное», «Советский писатель», 1943. *Зелинского я называю*… – Корнелий Люцианович Зелинский (1896–1970) – критик и литературовед, составитель ташкентского сборника стихов Ахматовой, … *сейчас она у брата*. – Евгений Яковлевич Хазин (1893–1973) – брат Н. Я. Мандельштам, литератор. …*телеграмма из Новосибирска*. – Новосибирск в письме указан, по-видимому, как иносказательное наименование «отдаленных мест». Передвижная экспедиция, в которой Л. Гумилев работал техником, имела опорную базу в Туруханске. …*друг Наталья Александровна Вишневская*… – актриса, с успехом читавшая Лермонтова на литературных вечерах.

Стр. 173. …*Ася отвезла Вам мою книгу*. – Ася Петровна Сухомлинова – близкий друг Ахматовой. Речь идет о сборнике «Избранное». *Сейчас узнала Римские новости*. – Имеются в виду успешные действия союзников в бассейне Средиземного моря. В июле англичане и американцы начали высадку на Сицилии. … *благодарю Вас за телеграммы и Ваши хлопоты обо мне*. – Н. Харджиев получил от Гослитиздата вызов для Ахматовой, который был необходим для возвращения из эвакуации в Москву. … *он едет обратно в Норильск*. – Работая в экспедиции, Л. Гумилев настойчиво добивался призыва в действующую армию и в 1944 году был направлен на фронт. *В Самарканде умерла Анна Евгеньевна Пунина*. – А. Е. Аренс-Пунина умерла 29 августа 1943 г.

Стр. 174. *«…Но задержала… скарлатина»*. – В Ташкенте Ахматова действительно болела скарлатиной. Так, стихотворение «Предыстория» в списке Н. Л. Дилакторской имеет дату: «1943 Т<ашкент> Октябрь (скарлатина)». Для отъезда из Ташкента необходим был вызов и пропуск, который выдавался на определенный срок. Эпиграмма представляет собой воображаемый разговор поэта с железнодорожным начальником.

…узнала у Ник. Мих… – Николай Михайлович Суетин (1897–1954) – художник-супрематист, друг Харджиева.

Стр. 175. *Сегодня звонили из «Огонька»…* – Публикуемая записка связана с неожиданным для Ахматовой предложением журнала «Огонек» поместить на своих страницах ее стихи. *Привет Лидии Васильевне.* – Имеется в виду Л. В. Чага – жена Н. И. Харджиева, … *посмотрите это.* – Речь идет о мемуарном очерке Ахматовой «Амедео Модильяни» (см. наст. издание, с. 86–97). *Александр Павлович Нилин* – сын писателя П. Нилина. *Взгляните на рисунок…* – снимок с портрета Ахматовой работы Модильяни.

Стр. 176.… *когда приехала дочка Шагала…* – Ида Шагал, дочь художника М. Шагала.

М. Л. Лозинскому. Автографы – в собрании М. Л. Лозинского (Ленинград). Копии снимались с разрешения сына М. Л. Лозинского – Сергея Михайловича Лозинского.

Стр. 177. *Высылаю книгу.* – Имеется в виду сборник стихов Анны Ахматовой «Избранное», «Советский писатель». 1943. *Привет Т. Б. и Наташе.* – Татьяна Борисовна – жена М. Л. Лозинского; Наталья Михайловна – его дочь.

Стр. 178. *…передайте Вл. Г. мамину красную шкатулку…* – то есть Владимиру Георгиевичу Гаршину. Эта фраза свидетельствует о том, что отношения (а возможно, и встречи) Ахматовой и В. Г. Гаршина продолжались и после их «разрыва» в 1944 г. *…я в первый раз поздравила Вас…* – см. стихотворение «8 ноября 1913» в книге «Анна Ахматова “Сочинения в 2-х томах”» М., 1990. Т.1, с. 62, *…шлю два действия моей Марион…* – М. Л. Лозинский помогал Ахматовой в работе над переводом драмы Виктора Гюго «Марьон Делорм» *…видание со Смирновым…* – Смирнов Александр Александрович (1883–1962) – литературовед, переводчик, знакомый Ахматовой со времен ее молодости. Был официальным редактором перевода драмы В. Гюго «Марьон Делорм». *…увидеть на сцене «Сон в летнюю ночь»…* – комедию В. Шекспира в переводе М. Л. Лозинского. «Тартюф» – комедия Мольера в переводе М. Л. Лозинского.

Стр. 180. *А. А. крайне любезен…* – Имеется в виду А. А. Смирнов.

Стр. 181. *Это экземпляр Marion для Акимова.* – Акимов Николай Павлович (1901–1968) – режиссер и художник, с 1955 г. – главный режиссер Ленинградского театра Комедии. Видимо, Ахматова хотела заинтересовать Н. П. Акимова постановкой «Марьон Делорм» в его театре. *…вот мой «Призыв души».* – Ахматова имеет в виду свой перевод поэмы китайского

поэта Цюй Юаня (ок. 340 – ок. 278 до н. з.). В архиве М. Л. Лозинского сохранился черновик письма к Ахматовой от 17 декабря 1953 г. с редакторскими поправками к переводу Цюй Юаня. *Благодарю за память и поздравление…* – то есть за поздравление по случаю именин Ахматовой (16 февраля н. ст.). … *поздравляю сегодняшним днем* – т. е. днем именин М. Л. Лозинского.

О. Э. Мандельштаму – журн. «Вестник Русского Христианского Движения», Париж – Нью-Йорк, 1975, № 116, с. 186, по автографу из архива О. Э. и Н. Я. Мандельштам (хранится в Принстонском университете). В СССР – сб.: Анна Ахматова. «Я – голос ваш…», М., 1989, с. 347.

Стр. 182. … *непременно побываю у Вас*. – Ахматова ездила к сосланному в Воронеж О. Э. Мандельштаму в феврале 1936 г. *Вчера звонил Пастернак…* – Летом 1935 г. Б. Л. Пастернак участвовал в антифашистском Международном конгрессе писателей в Париже. *С моей книжкой вышла какая-то задержка*. – Подготовленная к печати книга стихотворений Анны Ахматовой в 1935 году издана не была.

Э. Г. Герштейн – журн. «Вопросы литературы», 1989, № 6, с. 256–265 (публикация Э. Г. Герштейн).

Стр. 182. …*за Ваше осеннее гостеприимство…* – В августе 1936 г. Ахматова прожила у Э. Г. Герштейн в Москве (Щипок, 6/8) 10–12 дней. *Сейчас мне принесут Вашу статью о Лермонтове…* – В действительности Э. Г. Герштейн посылала Ахматовой не статью о Лермонтове, а библиографию материалов о Н. С. Гумилеве.

Стр. 183. …*где-то в районе Ел. Мих. Фраткиной*. – Елена Михайловна Фраткина, жена Е. Я. Хазина. …*где Сергей Борисович…* – В Ташкенте Анна Андреевна узнала из писем Э. Герштейн, что, тяжело раненный под Ленинградом, С. Б. Рудаков был переведен на тыловую военную службу в Москву. В ноябре 1943 г. снова был направлен на фронт, где погиб 15 января 1944 г. …*я получила от него первую телеграмму*. – После отбытия 10 марта 1943 года срока заключения Л. Гумилев устроился техником в магнитометрическую выездную экспедицию Норильского комбината, базировавшуюся на озере Хантайское, а затем в Туруханске (сообщено Л. Н. Гумилевым в 1989 г.).

Стр. 184. *Очень было горько узнать о Вашей утрате…* – Отец Э. Герштейн, врач-хирург Г. М. Герштейн, умер 14 октября 1943 г. *…я очень тревожилась, не получая от него с фронта ни слова.* – В

конце 1944 г. Л. Гумилев добился отправки на фронт, несмотря ка то, что сотрудники Норильского комбината имели броню и не подлежали призыву в армию. …*его бабушка умерла*… – Анна Ивановна Гумилева (урожд. Львова) умерла 24 декабря 1942 г.

Стр. 185. …*писал ли Вам Эйхенбаум?* – Борис Михайлович Эйхенбаум большую долю своих исследовательских работ посвятил Лермонтову. В 1936 г. Э. Г. Герштейн начинала свою работу над Лермонтовым под его руководством.

Стр. 186. …*принять участие в его юбилее*… – Эти проекты не осуществились. Ахматова в 1945 г. в Москву не приезжала. … *посылаю сегодня Ниночке мой перевод*… – то есть Нине Антоновне Ольшевской, стихотворение В. Гюго «К Л.» («С тростинкой хрупкою надежды наши схожи…»). …*Нине Ильиничне Куцошвили*… – Имеется в виду Н. И. Хуцишвили.

Стр. 189. *Роман Альбертович* – Р. А. Рубинштейн, актер-чтец, второй муж И. Н. Пуниной. …*четыре стихотворения Панта*… – Переводы Ахматовой этих стихотворений напечатаны в кн.: Сумитранандан Пант. «Избранные стихи», М., 1959. Пер. с хинди.

Стр. 190. *Боря Ардов*… – младший сын Ардовых Борис Викторович (1940–2004). *Виноградов* – Виктор Владимирович Виноградов (1895–1969) – языковед, литературовед, автор работ о творчестве Ахматовой.

В. Г. Гаршину – кн.: «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год». Л., 1976, с. 71 (публикация А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика), по автографу ОР ИРЛИ (единственная сохранившаяся открытка Ахматовой, случайно уцелевшая). Остальные письма были возвращены Ахматовой В. Г. Гаршиным после их разрыва и уничтожены ею.

И. Н. Томашевской – журн. «Октябрь», 1989, № 6, с. 190–192, в составе очерка З. Б. Томашевской «Я – как петербургская тумба».

Ирина Николаевна Томашевская (Медведева; 1903–1973) – литературовед, близкий друг Ахматовой.

Стр. 191. *Борис Викторович* – Б. В. Томашевский (1890–1957) – литературовед, пушкинист. Его памяти Ахматова посвятила стихотворение «Август» (см. в книге «Анна Ахматова “Сочинения в 2-х томах”», М., 1990. Т. 2, с. 63–64). В семье Томашевских Ахматова нашла приют после того, как Н. Н. Пунин оставил ее одну в Фонтанном Доме, и прожила до эвакуации 28 сентября 1941 г. …*каждый день вижу Л. К. Чуковскую.* – Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996) – писательница, была летописцем жизни Анны Ахматовой с 1938 года. *Жива ли Л. М. Энгельгар<д>т?* – Лидия Михайловна Энгельгардт – жена Б. М. Энгельгардта,

литератора, переводчика, друга Ахматовой. Умерли в блокаду в феврале 1942 года.

Стр. 192. *Это письмо передаст Вам В. Берестов.* – Валентин Дмитриевич Берестов (1928–1998) – писатель, поэт, познакомился с Ахматовой в Ташкенте еще юношей. *Валерия Сергеевна* – В. С. Познанская, знакомая Ахматовой.

Стр. 193. *Теперь Ася расскажет Вам…* – Ася Петровна Сухомлинова, близкий друг Ахматовой в Ташкенте. *Теперь без Цявловских…* – Цявловские Мстислав Александрович (1883–1947) и его жена Татьяна Григорьевна (1895–1978) – пушкинисты, друзья Ахматовой. *…стретила на улице И. А. Орбели…* – Иосиф Абгарович Орбели (1887–1961) – востоковед, директор Эрмитажа.

Стр. 194. *Володя спрашивал меня…* – Владимир Георгиевич Гаршин. *…восхитительное письмо от Б. Л…* – Это письмо Б. Л. Пастернака не сохранилось.

Н. А. Ольшевской-Ардовой – журн. «Литературное обозрение», 1989, № 5, с. 90–95, в составе статьи Э. Г. Герштейн «Нина Антоновна». В статье приводится лишь несколько писем Ахматовой по автографам из архива В. Е. Ардова (РГАЛИ). *Нина Антоновна Ольшевская-Ардова* (1908–1991) – актриса и режиссер.

Стр. 196. *Я все еще не на Фонтанке…* – После возвращения в Ленинград Ахматова несколько месяцев прожила в квартире своих друзей – Рыбаковых (Наб. Кутузова, д. 12, кв. 5); *Получила милое письмо от Ардова.* – Виктор Ефимович Ардов (1900–1976) – писатель-юморист, муж Н. А. Ольшевской.

Стр. 197. *Занимаюсь Пушкиным – «Маленькими трагедиями» и «Повестями Белкина».* – К этому времени Ахматова почти закончила свою лучшую исследовательскую работу «Каменный гость» Пушкина». Набело переписанная ею статья датирована 20 апреля 1947 г. Что касается «Повестей Белкина», Ахматова вернулась к ним лишь через 10 лет. *Вчера мне принесли для перевода корейскую поэму и «Рыбака».* – Перевод поэмы Юн Сон До «Времена года рыбака» см. в кн.: «Корейская классическая поэзия». М., ГИХЛ, 1956, с. 87–102. *Маргарита взяла у меня пять стихотворений…* – Поэтесса Маргарита Иосифовна Алигер взяла у Ахматовой стихи для третьего выпуска альманаха «Литературная Москва», который так и не вышел.

Миша Ардов – Михаил Викторович Ардов – старший сын Ардовых.

Стр. 198. *Толя* – Анатолий Генрихович Найман, литературный секретарь Ахматовой.

Стр. 199. *…Володя Рецептер прочтет мою маленькую прозу «Пушкин и дети»…* – Владимир Эммануилович Рецептер, актер

Большого драматического театра имени Горького, поэт. «Пушкин и дети» – см. наст. издание, с. 38–39.

В. А. Сутугиной – кн.: «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год», Л., 1976, с. 73, 75 (публикация А. В. Лаврова и Р. Д. Тименчика), по автографам ОР ИРЛИ.

Вера Александровна Сутугина (Кюнер) (1892–1969) – секретарь издательства «Всемирная литература», была знакома с Ахматовой с 1919 года.

Стр. 200. *В Ташкенте я довольно часто встречала Ал. Н. Тихонова…* – Александр Николаевич Тихонов (Серебров) (1880–1956) – писатель, автор мемуаров «Время и люди».

Б. Л. Пастернаку – печатается по автографам, хранящимся в семейном архиве Б. Л. Пастернака, с разрешения Н. А. Пастернак.

Стр. 201. *Поздравляю Вас с успехом Вашей книги…* – В июне 1943 г. вышла книга стихотворений Б. Л. Пастернака «На ранних поездах». *Наталия Александровна Вишневская* – актриса, чтец. *Нина* – Нина Антоновна Ольшевская.

Стр. 202. *…летом 51 года я проделала тот же больничный путь…* – Ахматова имеет в виду свой первый инфаркт и долгое лежание в больнице.

Н. Я. Мандельштам – в изд.: Анна Ахматова. «Сочинения», т. 3, Париж, 1983, с. 339–341. Печатается по этому изданию с исправлением неверной датировки второго письма («1945»), на самом деле – «1952».

Надежда Яковлевна Мандельштам (1899–1980) – жена О. Э. Мандельштама, филолог, мемуаристка, близкий друг Ахматовой.

Стр. 202. *…перед Вами, Эдиком и Ниной.* – Имеются в виду Эдуард Григорьевич Бабаев, общий друг Н. Я. Мандельштам и А. А. Ахматовой, и Н. А. Ольшевская.

Стр. 203. *…завтра сдаю Марьону.* – В 1952 г. Ахматова закончила перевод драмы В. Гюго «Марьон Делорм». *К новому дому словно привыкла.* – В 1952 г. Ахматова переехала из Фонтанного Дома в новую квартиру на ул. Красной Конницы (д. 4, кв. 3). *…очень хочу жить с Вами в Москве…* – Этот проект не осуществился.

Стр. 204. *…посылаю Вам три странички…* – Вероятно, Ахматова вместе с этим письмом послала Н. Я. Мандельштам какой-то фрагмент своих воспоминаний о Мандельштаме («Листки из дневника») – см. наст. издание, с. 97–132. *Сейчас позвоню Вашему Жене…* – то есть брату Надежды Яковлевны,

Евгению Яковлевичу Хазину (1893–1974).

Л. Н. Гумилеву – печатается по автографам (РНБ, ф. 1073).

Лев Николаевич Гумилев (1912–1992) – историк-востоковед, этнолог, географ; сын Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой. Л. Н. Гумилев был в очередной раз арестован 6 ноября 1949, отправлен в лагерь и освобожден лишь в 1956 году. Сохранилось только два письма из той обширной (судя по ответным письмам Л. Н. Гумилева, хранящимся в РНБ) переписки, которую вели мать и сын, будучи насильственно разлученными.

Стр. 205. *29 июня я была на похоронах. А. А. Осмеркина.* – Александр Александрович Осмеркин – художник, многие годы профессор Академии художеств и Московского Суриковского института, после 1948 года был изгнан отовсюду, обвинен во всех злодеяниях против советского искусства и умер фактически в нищете 25 июня 1953 г.

Стр. 206. *Поздравительная посылка тебе еще не отправлена…* – посылка ко дню рождения Льва Николаевича – 1 октября.

Стр. 207. *…мой редактор…* – по-видимому, имеется в виду А. А. Сурков (1899–1983), редактор сборника: Анна Ахматова. «Стихотворения», ГИХЛ, М., 1958.

В. С. Срезневской – печатается по автографу, хранящемуся у Ольги Вячеславовны Срезневской, дочери адресата.

Валерия Сергеевна Срезневская, урожд. Тюльпанова (1888–1964) – близкая приятельница Ахматовой.

Стр. 207. *Кажется, я не писала тебе пятьдесят лет…* – Уцелела записка Ахматовой к Срезневской 1910 года: «Птица моя, – сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу. Вы все знаете, единственная, ненаглядная, любимая, нежная. Валя моя, если бы я умела плакать. Аня» (ИРЛИ, ф. 408, ед. хр. 7; опубликована Р. Д. Тименчиком в статье «Остров искусства» («Дружба народов», 1989, № 6, с. 244). *Прошу тебя сообщить Ире…* – то есть Ирине Николаевне Пуниной, с которой Ахматова жила в одной квартире.

Э. Г. Бабаеву – печатается с разрешения адресата, по автографу РГАЛИ.

Эдуард Григорьевич Бабаев (1927–1995) – писатель, познакомился с Ахматовой в Ташкенте, будучи еще подростком. 14–19 сентября 1959 г. Э. Г. Бабаев написал Ахматовой большое письмо, где речь шла о смысле и сущности ее поэзии (ныне хранится в РНБ).

Стр. 208. *А про стихи свои узнала, что в них главное подтекст.* – В письме составителю наст. изд. от 10.1.1990 Э. Г. Бабаев пишет: «Слова «подтекст» в моем письме нет. А в письме Анны Андреевны оно обозначает «Реквием».

В. Я. Виленкину – сб.: Анна Ахматова. «Я – голос ваш…» М., 1989, с. 348.

Виталий Яковлевич Виленкин (1910–1997) – театровед, писатель, исследователь творчества Ахматовой.

Алексису Ранниту – в изд.: Анна Ахматова. «Сочинения», т. 2. Мюнхен, 1968, с. 304–307, по автографам из собрания А. Раннита. Четвертое письмо печатается впервые, по копии, присланной составителю А. К. Раннитом в 1973 году.

Алексис Раннит – американский поэт и литературовед эстонского происхождения. 18 февраля 1962 года Раннит послал Анне Ахматовой свои стихи (в переводе на русский язык). А. Раннит писал статью о поэзии Ахматовой, в связи с чем просил ее уточнить некоторые данные, почерпнутые из статей об Ахматовой и мемуаров о ней.

Стр. 208. *…сообщать бредовые легенды о моем пребывании в Париже в 1938 году.* – Речь идет о Роберте Пэйне, рассказавшем в своей книге «The Three Worlds of Boris Pasternak» (1961) о «встрече» с Ахматовой в Париже в 1938 г. Когда А. Раннит указал ему на его ошибку (в письме в редакцию «Нью-Йорк таймс»), Р. Пэйн ответил, что он все-таки с Ахматовой встретился в Париже – и встретился именно в 1938 году.

Стр. 209. *…отчего мои стихи кажутся Вам синими…?* – Ахматова сочла присланное ей стихотворение А. Раннита «Синий» («Из всех – я синий цвет избрал – // В нем все свиданья наши живы…») обращенным к ней, хотя это стихотворение не об Ахматовой и не о ее стихах. *Почему Вы не прислали мне оригинала своего стихотворения? – Я свободно читаю по-английски.* – Ахматова полагала, что А. Раннит – англо-американский поэт (на самом деле он писал стихи на эстонском языке).

Стр. 211. *Благодарю Вас за Ваши стихи.* – А. Раннит послал Ахматовой фотокопии восьми своих стихотворений, опубликованных в «Новом журнале» в переводе Лидии Алексеевой. *Сборник «В пути» я получила.* – А. Раннит послал Ахматовой сборник стихов Лидии Алексеевны Алексеевой, русской поэтессы и прозаика.

Стр. 212. *В 21-м году написала балетное либретто «Снежная маска» по Блоку…* – см. в наст. издании, с. 398. *Своими портретами не была довольна* (*пожалуй, кроме Тышлера*). – В

1940-х гг. в Ташкенте художник Александр Григорьевич Тышлер (1898–1980) сделал несколько портретов Ахматовой.

К. И. Чуковскому – журн. «Новый мир», 1987, № 3, с. 227 (публикация Е. Ц. Чуковской), по машинописи из архива Н. Н. Глен.

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – писатель, детский поэт, критик, мемуарист. Отношения Ахматовой с К. И. Чуковским не всегда были ровными; не все приняла она в статье К. Чуковского «Ахматова и Маяковский» (альм. «Дом искусств», Пг., 1921, № 1, с. 23–42). Однако она очень высоко оценила позднюю статью К. И. Чуковского «Читая Ахматову» (журн. «Москва», 1964, № 5, с. 200–203), посвященную анализу «Поэмы без героя», свидетельством чему служит публикуемое письмо.

М. В. Латманизову – журн. «Русская литература», 1989, № 3, с. 67 (публикация А. Г. Терехова). Печатается по автографу, хранящемуся в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Михаил Владимирович Латманизов (1905–1980) – доцент Ленинградского Политехнического института, специалист в области электрических машин. М. В. Латманизов собрал большую коллекцию материалов, относящихся к жизни и творчеству Н. С. Гумилева и Анны Ахматовой, записывал свои беседы с Ахматовой (опубл. в журн. «Русская литература» 1989, № 3). Анна Андреевна называла М. В. Латманизова своим библиографом и постоянно пополняла его коллекцию ценными материалами.

С. Г. Вейнбергу – в изд.: Анна Ахматова. «Сочинения», т. 3, Париж, 1983, с. 353–354. Печатается по этому изданию.

Семен Гершонович (Шимон Цви) Вейнберг (1905–1989) – врач по образованию, переводчик-любитель. Уроженец Виндавы (теперь Вентспилс, Латвия); в 1935 г. переехал в Израиль. Ответные письма С. Вейнберга хранятся в архиве Ахматовой (РНБ).

Д. Е. Максимову – сб.: Анна Ахматова. «Я – голос ваш…», М., «Книга», 1989, с. 348.

Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904–1987) – литературовед, исследователь русской поэзии, автор мемуаров и статей об Ахматовой.

Стр. 215. *…или делаете вид, что помните.* – В этой фразе сквозит некоторая ирония, объяснимая ревностью Ахматовой к научным интересам Д. Е. Максимова, в большей степени

относящимся к творчеству Блока, нежели к ее, Ахматовой.

Т. И. Коншиной – печатается по автографу (ГБЛ, ф. 218, ед. хр. 1353).

Татьяна Ильинична Коншина (1892–1972) – московская знакомая Ахматовой.

Стр. 215. …*благодарю Вас за восхитительный и трогательный подарок* – Т. И. Коншина в мемуарной записке (ГБЛ, ф. 218, ед. хр. 1279) поясняет: «В письме Анны Андреевны говорится о небольшом портфельчике из тисненой светлой кожи с бисерными вставками с двух сторон. Этот старинный портфель долго жил в нашей семье. Надпись (бисером), как и самые картинки, очень мила: «Дарю сей дар тем, кого сердечно люблю и много почитаю». – В сопроводительном письме я написала, что в случае, если вещи сейчас тяготят А-ну А-ну, она может передарить этот дар кому-нибудь, кого любит. А. А., как видно из ее ответного письма, передаривать не будет и намерена оставить портфельчик со своими стихами в Пушкинском Доме «как память о Ней». Она здесь имеет в виду мою сестру, Наталью Ильиничну Игнатову, с которой Анна Андреевна была в очень дружеских отношениях. Ей посвящено стихотворение «Отрывок из дружеского послания» (См. Анна Ахматова. «Стихотворения», М., 1958, стр. 59). Т. К.».

Е. М. Ольшанской – печатается по автографу, хранящемуся в собрании Е. М. Ольшанской (Киев).

Евдокия Мироновна Ольшанская (1929–2003) – поэт, создательница первой в нашей стране крупнейшей коллекции материалов о жизни и творчестве Анны Ахматовой.

Стр. 215. …*стихи*… (*про вокзал*) … – вошли в сборник стихов Е. М. Ольшанской «Диалог» (Киев, 1970, с. 23):

Только взглядом, болью сожженным,
Все, что чувствую, передам…
Плакать можно одним лишь женам,
Провожая мужей к поездам.

Подгляжу их слезы нечаянно,
С удивленьем подумаю я:
«Ну зачем такое отчаянье?
Возвратятся же к ним мужья!»

Я была б такой терпеливою,
Ждать могла бы любые сроки я…
На вокзалах плачут счастливые,

Улыбаются одинокие.

Жоржу Нива – в изд.: Анна Ахматова. «Сочинения», т. 3, Париж, 1983, с. 354.

Жорж Нива (р. 1935) – французский славист, профессор Женевского университета.

В 1962 г. в переводе Ж. Нива был напечатан очерк С. К. Маковского о Николае Гумилеве, который он переслал Ахматовой. К сожалению, Ж. Нива так и не получил «подробного и убедительного» второго письма, которое намеревалась написать ему Ахматова. Известно, что о воспоминаниях С. К. Маковского, напечатанных за границей, Ахматова отзывалась крайне отрицательно.

В. А. Горенко – журн. «Russian Literature Triquaterly», Ann Arbor, 1974, № 9, с. 512–518 (публикация К. и Э. Профферов). В СССР – журн. «Звезда», 1989, № 6, с. 151 (публикация М. Кралина).

Виктор Андреевич Горенко (1896–1979) – младший брат Ахматовой. С 1918 г. жил на Сахалине, в 1929 эмигрировал в Китай, а с 1947 г. жил в США. Письма печатаются по фотокопиям, присланным составителю Виктором Андреевичем в 1974 году.

Стр. 217. *Все лето буду у себя на даче в Комарове с Ханной.* – Ханна Вульфовна Горенко – первая жена В. А. Горенко. В 1950-е годы вернулась в СССР, в 60-х годах была домоправительницей на даче Ахматовой.

А. Г. Найману – кн.: Анатолий Найман. «Рассказы о Анне Ахматовой», М., 1989, с. 25–27, 146, 157, 160–161, 170–172, 179–182, 191, 223–224; письма 2, 24, 25 печатаются по автографам РГАЛИ.

Анатолий Генрихович Найман (р. 1936) – поэт, переводчик; с 1962 года литературный секретарь Ахматовой.

Стр. 219. *На целый ряд Ваших писем…* – Об этом письме А. Г. Найман пишет: «Я получил его из ее рук, хотя написано оно не мне, вернее – не именно мне. Это одно из «писем к NN», которые наиболее основательный исследователь ахматовской поэзии Тименчик «назвал посланиями «на предъявителя». В последнее десятилетие жизни она написала их несколько, и несколько человек, один из них я, могли бы с достаточным основанием, ссылаясь на ту или иную конкретную фразу, считать себя их адресатами. То, о котором идет речь, лежало в старом итальянском сундуке, креденце, стоявшем в ее комнате и полном

рукописями, папками, тетрадями, старыми корректурами и т. п. В один из зимних дней 1964 г., прервав беседу, коснувшуюся тогдашнего поэтического бума и поворота в ее судьбе (публикация на Западе «Реквиема», итальянская премия и т. д.), она сказала: «Откройте креденцу и найдите там такое-то письмо». Я нашел, в него был вложен еще один исписанный лист, о котором разговор дальше. «Это вам». Я прочел оба и положил листки на стол. «Это вам». Я поблагодарил и спрятал их в карман». (Анатолий Найман. «Рассказы о Анне Ахматовой», с. 25).

Стр. 220. *Вчера я сама в первый раз прочла эту роковую книгу.* – Речь идет о сб.: Анна Ахматова. «Стихотворения», ГИХЛ, М.

Стр. 222. …*безмолвная и таинственная Марина рисует меня.* – Марина Павловна Басманова, художница, в то время – невеста И. А. Бродского.

Стр. 223. *Ника устроила для Вас письмо о Леопарди.* – Ника Николаевна Глен (1928–2005) – редактор Гослитиздата, переводчица, близкий друг Ахматовой. *Борис произносит о Вашей пьесе очень большие слова…* – Борис Викторович Ардов – младший сын В. Е. Ардова; речь идет о пьесе, которую А. Г. Найман предлагал для театра «Современник».

Стр. 224. *Лида Ч. нашла эпиграф ко всем моим стихам…* – Речь идет о Лидии Корнеевне Чуковской; эпиграф, предложенный ею к ахматовским стихам, – это строчки из четверостишия, открывающего цикл «Черепки» (см. в книге «Анна Ахматова “Сочинения в 2-х томах”», М., 1990. Т. 1, с. 257–258). *Вечером приходила Раневская. Алексей приглашал ее в свою картину: «Три толстяка».* – А. В. Баталов готовился снимать фильм по политической сказке Юрия Олеши «Три толстяка». Ф. Г. Раневская согласилась сниматься в фильме, но в конце концов тетушку Ганимед сыграла Рина Зеленая. *Анюта по ошибке захватила томик Мистраль и мои стихи. Пусть Таня вернет их на место.* – Речь идет о художнице А. С. Шервинской, старшей дочери переводчика С. В. Шервинского, и о книге Габриель Мистраль (1889–1957) – чилийской поэтессы, лауреата Нобелевской премии. В 1963 году вышел сборник стихов Г. Мистраль в переводе О. Савича: на некоторое время эта книга стала главным чтением Ахматовой; Таня Макарова – поэтесса и переводчица, дочь М. И. Алигер.

Стр. 225. *Вчера у меня были Карпушкин и Маруся.* – Карпушкин – редактор ахматовских переводов Тагора; Маруся – Мария Сергеевна Петровых, тоже участвовала в работе Ахматовой над переводами Тагора. *Наташа Горбаневская принесла мне «Польшу».* – Наталья Горбаневская – поэтесса (1936–2013);

«Польша» – журнал, в котором были напечатаны стихи польской поэтессы Веславы Шимборской в переводе Ахматовой. *Н. А.* – Нина Антоновна Ольшевская.

Стр. 226. *Саша* – Александр Павлович Нилин, ближайший друг братьев Ардовых. *Кома…* – Вячеслав Всеволодович Иванов, лингвист, филолог, носивший такое домашнее имя. *Была у меня и ленинградская гостья – Женя Берковская.* – Евгения Михайловна Берковская (1900–1966) – в 50-е годы литературный секретарь Ахматовой.

Стр. 227. *7-го у здешних Хайкиных будет исполнена моя «Тень».* – А. Найман комментирует; «Стихотворение «Тень», посвященное Саломее Андрониковой, о которой перед поездкой в Англию Ахматова написала в дневнике: «Мы не виделись 49 лет, да и не увидимся, она ведь слепая», – было положено на музыку Артуром Лурье, и ноты присланы в Москву. Хайкины были кузенами Ардова, но «Тень» исполнялась дома не у Бориса Эммануиловича Хайкина, известного дирижера, и не у его брата, известного физика, а у сына физика, женатого на музыкантше. Сохранилась магнитофонная запись того вечера, дважды спетый романс, а затем стихи Ахматовой, которые она с охотой стала после музыки читать». («Рассказы о Анне Ахматовой», с. 177–178). *Вчера у нас были Слонимы и Ильина, сегодня Муравьев принесет летнее пальто…* – Илья Львович Слоним – скульптор и его жена Татьяна Максимовна Литвинова, писательница и художница; Наталья Иосифовна Ильина – писательница, мемуаристка; Владимир Сергеевич Муравьев – литературовед, переводчик.

Стр. 230. *Сейчас у меня был Ал-ей Алекс.* – Алексей Александрович Сурков – поэт, возглавлявший в то время Союз писателей.

Стр. 234. *…решаюсь беспокоить Асю Давыдовну.* – Имеется в виду мать А. Г. Наймана.

Стр. 235. *Вчера у меня был Миша Мейлах с Арсением…* – Михаил Борисович Мейлах – литературовед; Арсений Александрович Тарковский (1907–1989) – поэт, стихи которого Ахматова ценила очень высоко.

Ф. И. Малову – печатается по автографу (РГАЛИ, р. 13, ед. хр. 112, л. 42, 42 об.).

Федор Иванович Малов – сельскохозяйственный работник, читатель. Ахматова редко отвечала на письма читателей, но письмо Ф. И. Малова (РНБ, ф. 1073, ед. хр. 1283) привлекло ее оригинальностью и своеобразием языкового строя автора. Вот письмо Р. И. Малова:

«Дорогая Анна Андреевна!

«В вере и во плоти воскресаемся!» – так говаривал в комаристые лесные навечерия мой дедушка, нелюдимый пеньколом, увалистый в ходьбе старовер, неистовый веровоитель, клянувший всю свою каторжную жизнь предательство, продажность, духовное зловоние и пресмыкательство, хотя грамоте не разумел, курсов гомилетики, литургики не проходил, а кончил всего лишь одну академию – мозоли от выщербленного и тускло облудевшего мужицкого топорика. Это он, наш трудовой дед, кричал, замахивался на свою старуху Харламьевну, когда та доводила его, молчаливого старовера, до каленого бешенства: «Суешься ты, щепеня мне разум, щепетуха отпетая!» Откуда эта языковая ярость, самостийность в некнижном, лесном, ороделом затворнике, молчальнике великом!.. И главное: в вере и во плоти воскресаемся!!!

Вся эта заумь, смутность, волнительная истома непреодолимая охлынула меня ровнехонько год назад, как только прочитал я Ваши «Полночные стихи», опубликованные в «Литературной газете». Стихи, как теперь говорится, потрясли меня. Да, потрясли, разжалобили, опалили, хотя я и далек от поэзии, раскрывающей возвышенное и бессмертие. Стихия моя – высокие нагулы и привесы, беспривязное содержание скота, круглогодовая яйценоскость, плановые опоросы, гранулированные удобрения, наземное силосование. Видите, как далеко стою я от высокой поэтессы, коей при каких-то обстоятельствах могла выпасть участь убийцы божественного слова поэзии. Ее, в слове которой мы и во плоти воскресаемся, перефразирую, простите, деда своего.

Я собирался написать Вам сразу, в огне опаления. Собирался ото всей души поблагодарить Вас, почтеннейшая Анна Андреевна, за благостное прободение презело очерствелой моей души, видимо, ничем не отличающейся от высохшей греческой губки: трескуча, мертва, ни единого живого микробика в безвлажных спорах! Но гербициды, плановые опоросы, мышиная возня в отсеках измотавшейся души, в соединении с великими тревогами и шалостями времени, так-таки и помешали мне исполнить читательское намерение свое. Поэтам много писалось. Надоедало, небось. И не было бы бедой – промолчи такой неуклюжий читатель стихов, каким я себя считаю. Тем более, сегодняшних поэтов я не читаю, хотя среди них немало и очень даровитых, читательскими откликами не занимаюсь, времени свободного у меня нет совсем. Затворник и молчальник, как и покойный лесной дед. Право, хорошо делал, промолчавши целый год. И все-таки Ваш полночный цикл выбил меня из обычных упрочившихся

обыкновений: так Вы своими стихами меня взвеселили, обрадовали, встряхнули. Вспомнились канувшие в тысячелетнюю давность Тютчев, Лермонтов, Клюев. (Опять, опять у меня неуклюжее лезет, простите великодушно!)

Ото всей души желаю Вам, Анна Андреевна, доброго здоровья и всяческого житейского благополучия. Извините, пожалуйста, за такой нескладный отзыв читательский.

Прекрасное и поэзия – не моя тема. Мы насчет силоса, насчет опоросов больше.

Бабье лето, 1964

Фед. Малов»

Джанкарло Вигорелли – печатается по изд.: Анна Ахматова. «Сочинения», т. 2, Мюнхен, 1968, с. 307–308.

Джанкарло Вигорелли – итальянский писатель, генеральный секретарь Европейского содружества писателей. Письмо написано Ахматовой после получения от Вигорелли извещения о том, что ей, вместе с итальянским поэтом Марио Луци, присуждена международная премия «Этна-Таормина».

Г. П. Корниловой – печатается по автографам, хранящимся у адресата.

Галина Петровна Корнилова (р. 1928) – прозаик.

Стр. 238. *Возвращаю корректуру, сделанную академиком Жирмунским.* – Речь идет о гранках последнего сборника стихов Ахматовой «Бег времени». Виктор Максимович *Жирмунский* (1891–1971) – академик, автор работ о творчестве Ахматовой. *Лесневский* Станислав Стефанович (1930–2014) – литературовед. *…посылаю Вам, как обещала «Решку».* – В те годы Г. П. Корнилова работала зав. отделом поэзии журнала «Знамя» и пыталась опубликовать в этом журнале фрагменты «Поэмы без героя» и воспоминания Ахматовой об Амедео Модильяни. Эти попытки оказались безуспешными.

И. А. Бродскому – газ. «Ленинградский рабочий», 1989, 23 июня (публикация Я. Гордина).

Иосиф Александрович Бродский (1940–1996) – поэт, лауреат Нобелевской премии; в настоящее время живет в США.

Стр. 240. *Стихи на смерть Элиота…* – Речь идет о стихах И. Бродского (опубликованы в альманахе «День поэзии», 1967, Л., с. 134–135).

Стр. 242. *…Вам бы понравилась моя встреча с Гарри.* – Речь идет о друге И. Бродского – Г. Гинзбурге-Воскове.

А. Т. Твардовскому – сб.: Анна Ахматова. «Я – голос ваш…», М., 1989, с. 348.

Александр Трифонович Твардовский (1910–1971) – поэт, редактор «Нового мира». А. Т. Твардовский присутствовал на торжественном заседании во дворце Урсино в Катании по случаю присуждения Ахматовой международной литературной премии «Этна-Таормина».

М. И. Дикман – печатается по автографу (ЦГАЛИ СПб, ф. 344, оп. 3, ед. хр. 366).

Мина Исаевна Дикман (1910–1989) – редактор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель».

Стр. 243. *По окончательной договоренности с А. А. Сурковым решено напечатать целиком 1-ю часть моей поэмы…* – М. И. Дикман была редактором последнего сборника стихов Ахматовой «Бег времени». А. А. Сурков, который в течение многих лет принимал самое активное участие в издательских делах Ахматовой, не остался в стороне и при решении окончательной судьбы «Бега времени». Именно по его настоянию Ахматова была вынуждена отказаться от первоначального плана – напечатать в своем последнем сборнике «Поэму без героя» целиком. В «Деле по изданию «Бега времени» (ЛГАЛИ, ф. 344, оп. 3, ед. хр. 366, с. 18–19) хранится письмо А. Суркова главному редактору «Советского писателя» М. Смирнову от 12 февраля 1965 г. Стоит привести этот документ, показывающий, в какой зависимости находилась Ахматова от своего литературного «опекуна»: «Но я категорически считаю, что «Триптих» из книги надо снять, что не на пользу Ахматовой пойдет завершение книги и так довольно сильно окрашенной закатными тонами, поэмой, отбрасывающей и автора, и с ним вместе читателя в предреволюционный Петербург, в мир мистики и фантасмагорий, являющихся странным декадентским рецидивом на фоне стихов второй части книги.

О своем мнении насчет поэмы я, параллельно с письмом к Вам, пишу Анне Андреевне. Я знаю, что она хочет обязательно оставить поэму в книге. Я догадываюсь о личных мотивах этой настойчивости. Но я стараюсь убедить автора, что в нынешнюю пору, когда она, наконец, восстановила свои права на внимание широкого советского читателя и вышла на простор широкого международного признания, «Триптих» с его подчеркнуто дореволюционной поэзией и поэтикой и ненужными двусмысленностями вроде шкатулки с тройным дном, симпатических чернил и зеркального письма – ни к чему».

С. И. Четверухину – печатается по автографу РНБ.

Серафим Ильич Четверухин (1911–1983) – писатель и художник. В 1936 г. был осужден по статье 58, п. 6 и 10; в 1957 г. реабилитирован. В 1965 г. прислал Ахматовой цикл стихотворений, написанных в лагере и ссылке на Воркуте (РНБ, ф. 1073, ед. хр. 2016). Письмо Ахматовой – отклик на эти стихи.

Поэма без героя

Печаталась в отрывках в разных изданиях, начиная с 1944 года. Наиболее полная прижизненная публикация первой части в редакции 1962 г. – сб. «Бег времени», с. 309–335. Все три части – в сб.: Анна Ахматова. «Избранное». М., 1974, с. 413–440. В издании «Библиотеки поэта» (1976) В. М. Жирмунский напечатал Поэму по авторизованной копии 1963 года, подаренной ему автором, и, кроме того, впервые напечатал первую, «ташкентскую», редакцию Поэмы (в разделе «Другие редакции и варианты», с. 431–442), а также «Строфы, не вошедшие в текст «Поэмы без героя» (с. 379–380). «Проза о Поэме» была напечатана в сб.: Анна Ахматова. «Сочинения», т. 2, М., 1986, с. 221–235. Эти публикации взяты за основу при подготовке настоящего издания. В настоящем издании, поскольку не существует канонического текста, предпринимается попытка объединения двух редакций Поэмы, строф, не вошедших в основной текст, и «Прозы о поэме» как единого художественного комплекса.

Первая редакция (1940–1942). – Первая, так называемая «ташкентская» редакция «Поэмы без героя» печатается по нескольким авторизованным спискам, находящимся в РГАЛИ, РНБ и в частных собраниях. Они дополняют и уточняют друг друга. В основу публикации положен экземпляр Поэмы, хранящийся в архиве М. Л. Лозинского (Ленинград). Это машинопись, с пометой М. Л. Лозинского: «Подарено М. С. Шервинской. Москва. 14.11.1944 г.». При подготовке текста учтены разночтения по списку Поэмы, хранящемуся в собрании В. П. Михайлова (Ленинград) – друга, ученика и биографа В. Г. Гаршина. На этом машинописном экземпляре есть правка рукой Ахматовой, посвящение в правом верхнем углу первой страницы – «В. Г. Г.», то есть Владимиру Георгиевичу Гаршину, и запись карандашом рукой Ахматовой в правом нижнем углу той же страницы: «Читала 2 июня 1944 в Ленинграде». Учтен также «гаршинский» экземпляр Поэмы, хранящийся в собрании О. И. Рыбаковой (Ленинград).

С самого начала «Поэма без героя» задумывалась как трехчастная композиция (заглавие «Триптих» было конкурирующим с основным заглавием поэмы). Название «триптиха» – «Поэма без героя» – могло быть подсказано Ахматовой строкой из стихотворения Н. Гумилева «Современность»: «Может быть, мне совсем и не надо героя…» С именем Гумилева связана так называемая «Линия отсутствующего

героя» в Поэме. «Того, кого так тщательно искала сталинская охранка, в Поэме действительно нет, но многое в ней основано на его отсутствии», – писала Ахматова. Эпиграф – афоризм из «Максимов» французского писателя Франсуа де Ларошфуко (1613–1680). Вместо предисловия. – Печатается по машинописному списку (архив М. Л. Лозинского). Эпиграф – из стихотворения американского поэта Эдгара Аллана По (1809–1849) «Ворон». *Поэму я посвящаю памяти ее первых слушателей…* – Впервые Ахматова читала Поэму «на публику» в январе 1941 года в Красной гостиной Ленинградского Союза писателей. **Часть первая. Тысяча девятьсот тринадцатый год.** Эпиграф – из либретто Л. Да Понте к опере Моцарта «Дон-Жуан». Второй эпиграф – из стихотворения Ахматовой «Тот голос, с тишиной великой споря…» («Анна Ахматова “Сочинения в 2-х томах”». М., 1990. Т. 1, с. 97). Посвящение. – В первой редакции Поэмы посвящение без указания его конкретного адресата. Правомерно поставить вопрос о том, что «Посвящение» было обращено к А. С. Пушкину. Работая над черновиками поэта, Ахматова не могла не обратить внимание на черновые редакции элегии «Погасло дневное светило…» (в так называемой «тетради Капниста»), имеющей название «Черное море», эпиграф из Байрона, использованный Ахматовой для цикла «Смерть», и строку, от которой ритмически да и по смыслу могло отталкиваться ахматовское «Посвящение»: «Глубоких сердца ран ничто не излечило…» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 2, изд. АН СССР, 1949, с. 628). **Глава I.** Эпиграф из поэмы Д. Н. Г. Байрона (1788–1824) «Дон-Жуан» (Ахматова знала эту поэму в подлиннике). *В колдунах, звездочетах, лизисках.* – см. наст. издание, с. 297, 7-е примечание редактора. В Сатире VI римского поэта-сатирика Ювенала (ок. 60 – ок. 127) гневно обличаются похождения императрицы Мессалины, посещавшей притоны под именем Лициски (в ахматовской транскрипции – Лизиски). **Глава II.** Эпиграф – из стихотворения Е. А. Баратынского «Всегда и в пурпуре и в злате…». *Если бы не такая ночь, // Когда нужно платить по счету…* – В этих строках ощущается явная (и полемическая) перекличка со словами Воланда из романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Сегодня такая ночь, когда сводятся счеты…» По-видимому, Ахматова познакомилась с романом Булгакова в Ташкенте, когда встретилась там с вдовой писателя – Еленой Сергеевной. Об этом косвенно свидетельствует запись Ахматовой в тетради «Лермонтов»: «5 ноября <1965>. Читала у Ел<ены> Сер<геевны> «Мастера и Маргариту». Вспомнила Ташкент» (РГАЛИ, ед. хр. 114, с. 172). *Вижу теней, придворных костей* – ср.

в стихотворении поэта-декабриста А. И. Одоевского «Бал»: «Плясало сборище костей». **Глава III.** Эпиграф – из стихотворения В. Хлебникова «Где волк воскликнул кровью…», вошедшего в поэму «Война в мышеловке». *Не глядевших на казнь очей.* – В более поздних редакциях Ахматова изменила эту строку, чтобы у читателей не возникало ассоциаций с казнью Н. С. Гумилева, к которому эти строки не имеют отношения. Эти строки обращены к Н. В. Недоброво. **Часть вторая. Решка.** – Значение названия неоднозначно. Возможно, в какой-то степени оно подсказано строками из предсмертного монолога Гондлы – героя одноименной трагедии Н. Гумилева:

Вот оно. Я вином благодати
Опьянялся и к смерти готов,
Я монета, которой Создатель
Покупает спасенье волков.

Эпиграф – из «Домика в Коломне» А. С. Пушкина, строфа XII. *Мой редактор мной недоволен* – имеется в виду Владимир Николаевич Орлов (1908–1985), литературовед, редактор книги Ахматовой «Стихотворения». М. – Л., Гослитиздат, 1946, весь тираж которой был уничтожен цензурой. «Поэма без героя» в эту книгу включена не была. *И во сне мне казалось, что это // Я пишу для кого-то либретто.* – В 1920–1921 годах А. Ахматова писала либретто к балету А. С. Лурье «Снежная маска» (по лирическому циклу Ал. Блока). Текст либретто до нас не дошел, но в некоторых редакциях Поэмы существует вариант строки: «Я пишу для Артура либретто». С другой стороны, и саму «Поэму без героя» Ахматова рассматривает как возможное либретто к еще не существующей музыке Лурье (в 1959 году он действительно напишет «Заклинания» к «Поэме без героя»). *И цыганочка лижет кровь* – в подлиннике цитата звучит так:

«Девушка, смеясь, с полосы кремневой
Узким язычком слизывает кровь».

(Н. Гумилев.

«У цыган», сб. «Огненный столп»).

Расстояние как от Луги // до страны атласных баут. – Зоя Борисовна Томашевская помнит другой вариант, однажды читанный Ахматовой в семье Томашевских: «Расстояние как от

Луги // До сионских горних высот» – явная перекличка со стихотворением А. С. Пушкина «Напрасно я бегу к сионским высотам…» (1836). *Так и знай – обвинят в плагиате.* – На полях рукописи, напротив этой строфы, рукой Ахматовой карандашом написано: «Форель разбивает лед» (Собрание О. И. Рыбаковой). Под «плагиатом» Ахматова имела в виду заимствование ритмического рисунка (с некоторыми вариациями) строфы Поэмы из «Второго удара» поэмы М. А. Кузмина «Форель разбивает лед». В широком смысле «плагиат» – своего рода творческий прием Ахматовой; при создании Поэмы она, обычно без ссылок на источники, вводит в текст множество полускрытых цитат из самых разных авторов, независимо от степени их известности, не ссылаясь при этом на источники. Характерна пометка акад. М. В. Нечкиной на полях «Поэмы»: «Мое! Как можно!» (сообщено составителю знакомой Ахматовой – З. Д. Виноград). В настоящее время исследователями «цитатный слой Поэмы» в значительной степени опознан, но вряд ли эта работа может быть доведена до конца. **Часть третья. Эпилог.** Эпиграф – из романа американского писателя Эрнеста Хемингуэя (1899–1961) «Прощай, оружие!». В подлиннике выражение звучит мягче: «Мне кажется, что с нами случится все самое ужасное». *Городу и другу* – то есть поэму в «ташкентской редакции» Ахматова посвятила одновременно Ленинграду – городу и другу – Владимиру Георгиевичу Гаршину, который всю блокаду проработал в осажденном Ленинграде. Впоследствии, после встречи и разрыва в 1944 году с Гаршиным, она везде сняла посвящения и переделала строки в «Эпилоге» (Ср. «Ты мой грозный и мой последний» и «Ты не первый и не последний…» – в поздних редакциях). *И на старом Валковом поле.* – В списке «ташкентской» редакции Поэмы, сделанном в Ташкенте юным другом Ахматовой Эдуардом Бабаевым, сохранился иной, очевидно, более ранний вариант: «И на старом Марсовом поле». Однако «крестов» на братских могилах не было ни на Марсовом, ни на Волковом, поэтому в более поздних редакциях Ахматова изменила строку «В чаще новых твоих крестов» на «Над безмолвием братских могил». *Кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке.* – В Нью-Йорке в это время оказался А. С. Лурье, который бежал из оккупированной гитлеровцами Франции в США, где и прожил всю оставшуюся жизнь. *Словно та, одержимая бесом, // Как на Брокен ночной неслась.* – По немецкой народной легенде, на гору Броккен в Гарце в Вальпургиеву ночь (накануне 1 мая) слетаются ведьмы.

Окончательная редакция (1940–1965). – В течение четверти века Ахматова работала над Поэмой, создавая время от

времени ее «окончательные» редакции. Так было и в 1946 году, и в 1960, и в 1962. Однако и в 1963 в Поэме появляются новые строфы, а последняя запись о работе над Поэмой относится к 19 апреля 1965 года, когда в Доме творчества в Комарове Ахматова в последний раз просматривала ее текст. Однако канонического текста Поэмы не существует. Во-первых, Ахматова до конца жизни не решалась заменить «точечные» строфы «Решки» в принадлежащих ей рукописях поэмы, и эти замены стали известны в нашей стране только теперь, благодаря публикациям Л. К. Чуковской («Горизонт», 1988, № 4, с. 51–55). Во-вторых, стремясь опубликовать поэму, Ахматова шла на цензурные уступки и в дальнейших, уже посмертных републикациях, эти уступки печатались как соответствующие воле автора и, тем самым, превращались (и до сих пор превращаются) в ложные каноны. Очевидно, перед текстологами-ахматоведами стоит задача издания единого комментированного свода всех редакций «Поэмы без героя» в серии «Литературные памятники». В настоящем издании, не претендующем на исчерпывающе научный характер, представлены с возможной полнотой и в соответствии с авторской волей лишь первая и последняя редакции Поэмы, а также частично «Проза о Поэме», углубляющая представление о произведении в целом, хотя требующая, в ряде случаев, отдельных комментариев.

По объему окончательная редакция поэмы превышает «ташкентскую» почти вдвое. За двадцать пять лет работы над ней Поэма превратилась для Ахматовой в род своеобразного лирического дневника, на страницы которого жизнь время от времени приводила новые персонажи. Так, в редакции 1946 года в Поэме впервые появляется «Гость из Будущего», в редакции 1962 года – «лагерная» тема, связанная с постановлением 1946 года и новым арестом в 1949 году сына Л. Н. Гумилева.

В записных тетрадях Ахматовой последнего года ее жизни сохранились следы дальнейшей работы над Поэмой. В 1965 году Ахматова записывает новый эпиграф к «Поэме без героя» из романа гр. В. А. Комаровского «До Цусимы». В этом несохранившемся романе, который Ахматова слушала в 1915 году у Кардовских в Царском Селе, когда его читал Д. Святополк-Мирский (душеприказчик Комаровского), сестра героя, петербургская светская дама, узнав, что брат умирает, произносит бессмертную фразу: «Мне надо раньше лечь спать – Je dois être fraiche pour la панихида» («Я должна хорошо выглядеть на панихиде» – франц.) (РГАЛИ, ед. хр. 114, стр. 101). Французская фраза, воспроизведенная Ахматовой по памяти, должна была стать еще одним эпиграфом к Поэме. Можно, таким образом,

сделать вывод, что, проживи Ахматова дольше, работа над Поэмой продолжалась бы. Об этом свидетельствуют новые строфы к Поэме, сохранившиеся в записных книжках последних лет (РГАЛИ, ф. 13, ед. хр. 110, с. 56.)

И тогда мой гость зазеркальный,
Не веселый и не печальный,
Просто спросит: «Простите – меня?»
Обовьет, как цепью жемчужной,
И мне сразу станет не нужно
Мрака ночи и блеска дня.

или

И тогда, как страшное действо,
Возникают следы злодейства,
Пестро кружится карусель,
И какие-то новые дети
Из еще не бывших столетий
Украшают в Сочельник ель.

(РГАЛИ, ф. 13, ед. хр. 103, с. 30).

Текст последней редакции «Поэмы без героя» печатается по своду рукописей, хранящихся в РНБ, РГАЛИ и в архиве Л. К. Чуковской. **Вместо предисловия.** – Эпиграф – из «Евгения Онегина» (гл. VIII, строфа I). «Еже писахъ – писахъ» («что я написал, то написал» – церковнослав.) – слова Понтия Пилата, отказавшегося исправить надпись «Иисус Назорей, Царь Иудейский», сделанную им на кресте, на котором был распят Христос (Иоанн, XIX, 22). **Посвящение.** – *Вс. К.* – Всеволод Гаврилович Князев (1891–1913) – поэт, прототип «драгунского корнета», персонаж первой части Поэмы. См. о нем в статье Р. Д. Тименчика «Рижский эпизод в «Поэме без героя» («Даугава», 1984, № 2, с. 113–121). Впоследствии Ахматова узнала, что дата написания Посвящения оказалась датой второй годовщины гибели О. Э. Мандельштама (27 декабря 1938 года). В некоторых списках Первое посвящение, возможно, из-за этого совпадения, переадресовано О. Мандельштаму. **Второе посвящение.** – *О. С.* – Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, актриса, умерла в Париже в 1945 году; Путаница и Психея – роли, которые она исполняла в 1913 году в пьесах Ю. Беляева. *Та, его миновавшая чаша…* – ср. в стихотворении В. Комаровского «Видел тебя красивой лишь

раз…» (1913), посвященном Ахматовой: «Или это лишь молодость – общая чаша?» (В. А. Комаровский покончил с собой в 1914 г.) **Третье и последнее.** Эпиграф – первая строка баллады В. А. Жуковского «Светлана». Второй эпиграф указывает на то, что речь идет не о православном, а о католическом Крещении. Время действия в этом «Посвящении» – 5 января 1946 года, когда, в канун Крещения, Ахматова гадает на того, кто когда-то ей играл «Чакону» Баха (А. Лурье в 1915 году), но вместо него приходит сэр Исайя Берлин, приходит, чтобы «заслужить» Посвящение и проститься на 10 лет (дата написания «Посвящения» – 5 января 1956 года). **Часть первая. Глава первая.** Эпиграфы: первый – из стихотворения Ахматовой «После ветра и мороза было…»; второй – из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. V, строфа X). *Фауст, Дон-Жуан, Дапертутто, Иоканаан, Глан, Дориан* – волшебно оживающие куклы, оставленные Ольгой Глебовой-Судейкиной своей подруге Ахматовой на хранение перед отъездом за границу в 1924 году. Эти куклы хранились в особых коробках и показывались друзьям только в торжественных случаях. Они не только изображали легендарных исторических лиц, но носили черты сходства с некоторыми «знаменитыми современниками», имевшими аналогичные прозвища (Так, Фауст отождествлялся с Вяч. Ивановым, Иоканаан – с Шилейко, Дапертутто – с Мейерхольдом и т. п.). Образы Иоканаана и Саломеи в контексте петербургской литературной мифологии начала XX века подсказаны трагедией О. Уайльда «Саломея» (1893) и оперой Штрауса на ее текст. *Общий баловень и насмешник* – здесь и далее под масками Калиостро, Сатаны изображен главный антагонист Ахматовой в поэме – поэт Михаил Алексеевич Кузмин (см. о нем на с. 315–316 в «Прозе о Поэме»). Отношение Ахматовой к Кузмину на протяжении долгих лет их знакомства было далеко не однозначным. Дружеские вначале, они были окончательно испорчены в 20-е годы, когда Кузмин выдвигал на роль «королевы поэзии» Анну Радлову, а Ахматову едко называл «бедной родственницей», имея в виду ее положение в семье Пуниных (сообщено составителю О. Н. Арбениной-Гильдебрандт). Таких вещей Ахматова не прощала. *Гость из будущего! – Неужели // Он придет ко мне в самом деле, // Повернув налево с моста?* – Сэр Исайя Берлин в первый раз пришел в гости к Ахматовой 26 ноября 1945 г., повернув налево с Аничкова моста к Фонтанному Дому, где она тогда жила. **Глава вторая.** Эпиграф – из стихотворения Ахматовой «Голос памяти», посвященного О. А. Глебовой-Судейкиной. *И опять тот голос знакомый…* – «шаляпинская строфа» в сб. «Бег времени» печаталась в смягченном варианте:

И опять тот голос знакомый,
Будто эхо горного грома –
Не последнее ль торжество!
Он сердца наполняет дрожью
И несется по бездорожью
Над страной, вскормившей его.

В наст. издании восстанавливается вариант ранней редакции этой строфы. *С мертвым сердцем и мертвым взором…* – Характеризуя Блока, черты которого угадываются под маской «Демона с улыбкой Тамары», Ахматова почти цитирует стихотворение Н. Гумилева «Жизнь»: «С тусклым взором, с мертвым сердцем…». Впрочем, тема «мертвеца среди людей» так же характерна и для поэзии самого Блока. **Глава третья.** Эпиграфы: первый – из стихотворения Ахматовой «Сердце бьется ровно, мерно…» («Анна Ахматова “Сочинения в 2-х томах”», М., 1990. Т.1, с. 69); второй – первые строки стихотворения О. Мандельштама; третий – начало первой строки стихотворения М. Лозинского. *Лирическое отступление: последнее воспоминание о Царском Селе* – начиная со слов «А теперь бы домой скорее…», посвящено близкому другу и вдохновителю Ахматовой – Николаю Владимировичу Недоброво. Строки «Что над юностью встал мятежной» и «Словно вовсе и не жил он» печатаются в основном тексте впервые. Н. В. Недоброво умер 3 декабря 1919 года, похоронен на Аутском кладбище в Ялте, могила его не обнаружена до сих пор. *Победившее смерть слово* – Ахматова говорит здесь о статье Недоброво, посвященной ее раннему творчеству («Русская мысль», 1915, № 7), которую она считала «предсказательной», во многом предопределившей ее поэтическую судьбу. **Глава четвертая и последняя.** Эпиграф – из стихотворения Вс. Князева «И нет напевов, нет созвучий…». В доме, построенном братьями Адамини, на углу Марсова поля и набережной р. Мойки жила О. А. Глебова-Судейкина – именно здесь, у двери ее квартиры, по воле Ахматовой, происходит самоубийство влюбленного драгуна. *«Палевый локон»* – из стихотворения Вс. Князева «Сколько раз проходил мимо окон…» *На обратном «Пути из Дамаска»*. – Образ этот, возможно, заимствован из стихов Вс. Князева, обращенных к Судейкиной в январе 1913 г., незадолго до самоубийства: «Я целовал «врата Дамаска», // Врата с щитом, увитым в мех, // И пусть теперь надета маска // На мне, счастливейшем из всех». О. А. Глебова-Судейкина участвовала в постановке в «Бродячей собаке» миракля «Путь из Дамаска» (Ср. мадригал Ф. Сологуба, обращенный к

Глебовой: «И если жаркие персты // Тебе сулят любовь и ласку, // Глаза легко опустишь ты // К благоуханному Дамаску». В *Мазурских болотах* в августе 1914 г. была окружена и разгромлена армия генерала Самсонова; тяжелыми потерями сопровождались также бои с австро-венгерскими войсками в Карпатах летом 1917 года. Часть вторая. Решка. Эпиграфы: первый – из «Домика в Коломне», второй из стихотворения английского поэта Томаса Стэркса Элиота (1888–1965); третий – из стихотворения Н. А. Клюева (1887–1937). Строки, посвященные Ахматовой, цитируются ею произвольно; в подлиннике: «Ахматова – жасминный куст, // Обо́женный асфальтом серым, // Тропу утратила ль к пещерам, // Где Данте шел, и воздух густ, // И нимфа лен прядет хрустальный?» *И со мною моя «Седьмая»* – имеется в виду «Седьмая» элегия, которую Ахматова называла также «Последняя речь подсудимой»; в записных тетрадях (РГАЛИ) сохранилось множество вариантов этой элегии, но произведение так и осталось незаконченным. Строфы X–XVI при жизни Ахматовой не печатались, либо заменялись рядом точек. Опубликованы Л. К. Чуковской по автографам, хранящимся в ее собрании, в журнале «Горизонт», 1988, № 4. *Отлучить от стола и ложа* – формулировка, обозначающая в римском праве лишение гражданства; Ахматова сравнивает свое положение после исключения из ССП в 1946 году с положением человека, подвергнутого обряду гражданской казни (действительно, Ахматова была на некоторое время лишена продовольственных карточек, т. е. обречена на голодную смерть). *«Стопятницы»* – лица, высланные за пределы стокилометровой зоны вокруг Москвы и Ленинграда, «на сто пятый километр». *Из заветнейших снов Эль Греко.* – Как и у Ахматовой, в творчестве знаменитого испанского художника Эль Греко (1541–1614) заметную роль играет мотив сновидения. Эта строфа была написана в 1963 году и первоначально замыкала собой цикл «Полночные стихи». *«Я не та английская дама…»* – здесь, возможно, имеется в виду Мария Гамильтон, облику которой художник В. П. Белкин придал черты портретного сходства с Ахматовой (иллюстрации к поэме Г. Чулкова «Мария Гамильтон»). Возможно, такой прием мистификации Ахматова назвала «белкинством» (см. с. 310). **Часть третья. Эпилог.** Эпиграфы: первый – по народному преданию, слова «царицы Авдотьи» – Евдокии Петровны Лопухиной, первой жены Петра I, проклявшей новую столицу России; второй – из стих. И. Ф. Анненского «Петербург»; третий – из «Медного всадника» А. С. Пушкина. *Тобрук* – город в Ливии, в январе 1941 г. был занят английскими войсками и в апреле – декабре выдержал восьмимесячную осаду немецко-итальянских

войск. *А за проволокой колючей.* – Эти 20 строк были впервые в нашей стране опубликованы в сб.: Анна Ахматова. «Лирика». М., 1989, с. 352–353. *Примечания редактора* написаны самой Ахматовой.

Строфы, не вошедшие в поэму – частично публиковались в посмертных сборниках. «Что бормочешь ты, полночь наша?» – кн.: В. М. Жирмунский. «Творчество Анны Ахматовой». Л., 1973, с. 168. *Параша* – Прасковья Ивановна Ковалева (по сцене – Жемчугова, 1768–1802), крепостная актриса, с 1801 г. – жена гр. Н. П. Шереметева; умерла при родах. *Борей* – северный ветер. «А за правой стенкой, откуда…» – сб.: Анна Ахматова. «Стихотворения и поэмы» (Библиотека поэта), Л., 1976, с. 379. В примечании к автографу (РГАЛИ) – указание Ахматовой на источник образа: стих. Лермонтова «Едет царевич»; имеется в виду строка «Будет он помнить про царскую дочь» из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Морская царевна», якобы сказанная Н. Н. Пуниным в момент разрыва их отношений.

«Я иду навстречу виденью…»; «Верьте мне вы или не верьте…»; «Я еще не таких забывала…»; «Не кружился в Европах бальных…» – печатается по автографу (РНБ). «Институтка, кузина, Джульетта!..» – кн.: В. М. Жирмунский. «Творчество Анны Ахматовой»., Л., 1973, с. 167. Сюжетно связано с балетным сценарием к «Поэме без героя». «Вкруг него дорогие тени…» – печатается по автографу (РНБ). «И с ухватками византийца…» – печатается по автографу (РНБ). Это еще одна поэтическая зарисовка М. А. Кузмина. «Ты приедешь в черной карете…» – журн. «Искусство Ленинграда», 1989, № 1, с. 35. «Словно память «Народной воли»…»; «И уже, заглушая друг друга…» – сб.: Анна Ахматова. «Стихотворения и поэмы». (Библиотека поэта), Л., 1976, с. 429, 380. «Вот беда в чем, о дорогая…» – в статье Р. Д. Тименчика и А. В. Лаврова «Материалы А. А. Ахматовой в рукописном отделе Пушкинского Дома». – в кн.: Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома, 1974, Л., 1976, с. 77. Печатается по автографу (РНБ).

Проза о поэме

Анна Ахматова. Сочинения, т. 2, М., 1986, с. 221–235. Печатается по автографам (РНБ).

Из письма к NN. – Это письмо, как и следующее, не имеет реального адресата, форма письма применена Ахматовой как литературный прием.

Глава могла бы называться Второе письмо – в статье Р. Д. Тименчика «Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой». – Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 43, № 1, 1984 с. 72–73. *Не дожить до конца столетья* – измененная Ахматовой цитата из стихотворения В. В. Чердынцева (1912–1971) «Кто ато́мные двинул турбины?» (автограф – РНБ); посвящено Ахматовой и написано строфой «Поэмы».

Что вставить во второе письмо – в кн.: Анатолий Найман. «Рассказы об Анне Ахматовой». М., 1989, с. 132–133.

Может быть из дневника – в статье Р. Д. Тименчика «Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой». – Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 43, № 1, 1984, с. 69–70. *Я думала, что она там и останется навсегда.* – К слову «навсегда» в автографах (РНБ) примечание А. Ахматовой: «Навсегда под рожденной ею музыкой (чьей?), как могила под горой цветов». *Я писала некое подобие балетного либретто…* – в автографе (РНБ) примечание Ахматовой: «См. экземпляр с портретом работы Тышлера. Это второй набросок балета (После предисловия). *Первый росток… это, конечно, запись Пушкина…* – У Пушкина эта запись звучит несколько иначе: «Первый несчастный воздыхатель возбуждает чувствительность женщины, прочие или едва замечены, или служат лишь… Так, в начале сражения первый раненый производит болезненное впечатление и истощает сострадание наше» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 т. Т. VII, изд. 3-е. М., «Наука», 1964, с. 513). *Это мы с Ольгой* – то есть с О. А. Глебовой-Судейкиной.

«Эта поэма – своеобразный бунт вещей…» – Анна Ахматова. Сочинения. Т. 2, с. 221 (напечатано не полностью). Печатается по автографу (РНБ). *Семейные рассказы Шереметевых со слов В. К. Шилейки.* – Владимир Казимирович Шилейко, второй муж Ахматовой, в 1917 г. был воспитателем графского сына и жил во флигеле Фонтанного Дома.

«Поэма опять двоится…» – Анна Ахматова. Сочинения. Т. 2, с. 229–230 (напечатано не полностью). Печатается по автографу (РНБ).

Еще о Поэме – в статье Р. Д. Тименчика «Неопубликованные

прозаические заметки Анны Ахматовой». – Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 43, № 1, 1984, с. 74–75. … *когда возникла одна элегия.* – Речь идет о «Предвесенней элегии» из цикла «Полночные стихи».

«Вообще все, что этот человек…» – в статье Р. Д. Тименчика «Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой». – Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 43, № 1, 1984, с. 72–73. *Ул. Мира.* – На проспекте Мира Ахматова бывала у Н. Л. Манухиной-Шенгели, вдовы поэта Г. А. Шенгели (1894–1956).

«Больше всего будут спрашивать…» – в статье Р. Д. Тименчика «Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой». – Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 43, № 1, 1984, с. 71. *Владыка Мрака* – здесь Ахматова намекает на то, что под этой маской спрятан М. А. Кузмин. *…виновник стольких бед…* – В автографе (РНБ) имеются к этим словам примечания А. Ахматовой: «Сознаюсь, что второй раз он попал в Поэму (III главка) прямо из балетного либретто, где он в собольей шубе и цилиндре, в своей карете провожал домой Коломбину, когда у него под перчаткой не оказалось руки».

«Кроме попытки увода Поэмы в предместья…» – в статье Р. Д. Тименчика «Неопубликованные прозаические заметки Анны Ахматовой». – Известия АН СССР, серия литературы и языка, т. 43, № 1, 1984, с. 74. *«Две тени милые»* – цитата из черновика стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день…»):

> Две тени милые, – два данные судьбой
> Мне ангела во дни былые.

Другая линия… вся восходила бы к сборнику его стихов (*Михаил Кузмин*). – Имеется в виду особая линия отношений Вс. Князева с М. А. Кузминым (вместе они готовили сборник стихов «Укол стрелы», который не вышел). *Художник* – возможно, С. Ю. Судейкин, муж О. А. Глебовой-Судейкиной. *La danse russe* – «Русская» – танец, который входил в репертуар О. Глебовой-Судейкиной.

«По слухам, в Америке очень смеялись…» – печатается по автографу (РНБ).

<ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК> – Большинство заметок из записных книжек Ахматовой (РГАЛИ) опубликовано в обзоре Е. И. Лямкиной «Вдохновение, мастерство, труд» – в кн.: «Встречи с прошлым», вып. 3, М., 1978, с. 394–403. *В Ташкенте у нее*

появилась еще одна попутчица… – Имеется в виду трагедия «Энума Элиш», сожженная в 1944 г. в Ленинграде и частично восстановленная в 60-х годах под названием «Пролог, или Сон во сне». *Рядом с этой идет «Другая»…* – Ахматова говорит здесь о неосуществленном замысле другой, трагической поэмы, которая зарождалась в недрах «Поэмы без героя», эпического полотна о судьбах ее поколения. О поэме. *Шкловский,* Виктор Борисович (1893–1984) – литературовед, *Берковский,* Наум Яковлевич (1901–1972) – литературовед. *Филиппов,* Борис Андреевич (1905–1991) – эмигрант, специалист по творчеству Ахматовой. *Чуковский,* Корней Иванович (1882–1969) – критик, литературовед, автор одной из первых статей о «Поэме без героя» («Москва», 1964, № 5, с. 200–203). *Шток*, Исидор Владимирович – драматург. *Зенкевич*, Михаил Александрович (1891–1973) – поэт, соратник Ахматовой по «Цеху поэтов». *«Мавра»* – опера И. Ф. Стравинского на сюжет «Домика в Коломне» А. С. Пушкина. *Бушен,* Дмитрий Дмитриевич (1893–1993) – русский художник, ныне живет в Париже, автор иллюстраций к «Поэме без героя». *Галкин,* Самуил Залманович (1897–1960) – поэт.

<**ИЗ НАБРОСКОВ ЛИБРЕТТО БАЛЕТА ПО «ПОЭМЕ БЕЗ ГЕРОЯ»**> – в статье Е. И. Лямкиной «Вдохновение, мастерство, труд» – в кн.: «Встречи с прошлым», вып. 3, М., 1978, с. 402–403. *«Пепел на левом плече»* – слова из эпиграммы на О. Э. Мандельштама, сочиненной коллективно в «Цехе поэтов»: «Куря, Осип всегда стряхивал пепел как бы за плечо», – писала Ахматова в «Листках из дневника» (РНБ). В очерке М. Цветаевой *«Нездешний вечер»* Ахматова, видимо, усмотрела какие-то неточности, особенно в пересказе Цветаевой о ее литературных отношениях с Ахматовой. *Доктор Дапертутто* – псевдоним В. Э. Мейерхольда, под которым он издавал журнал «Любовь к трем апельсинам». *Розанов,* Василий Васильевич (1856–1919) – эссеист, мыслитель, философ. *Нижинский,* Вацлав Федорович (1889–1950) – великий танцовщик. 26 сентября 1917 г., исполнив роли Петрушки в балете И. Стравинского и Призрака розы в балете «Видение розы», психически заболел и больше не выступал на сцене.

Мих. Кралин

Вклейка

Аня Горенко в 16 лет

Анна Горенко с младшим братом Виктором

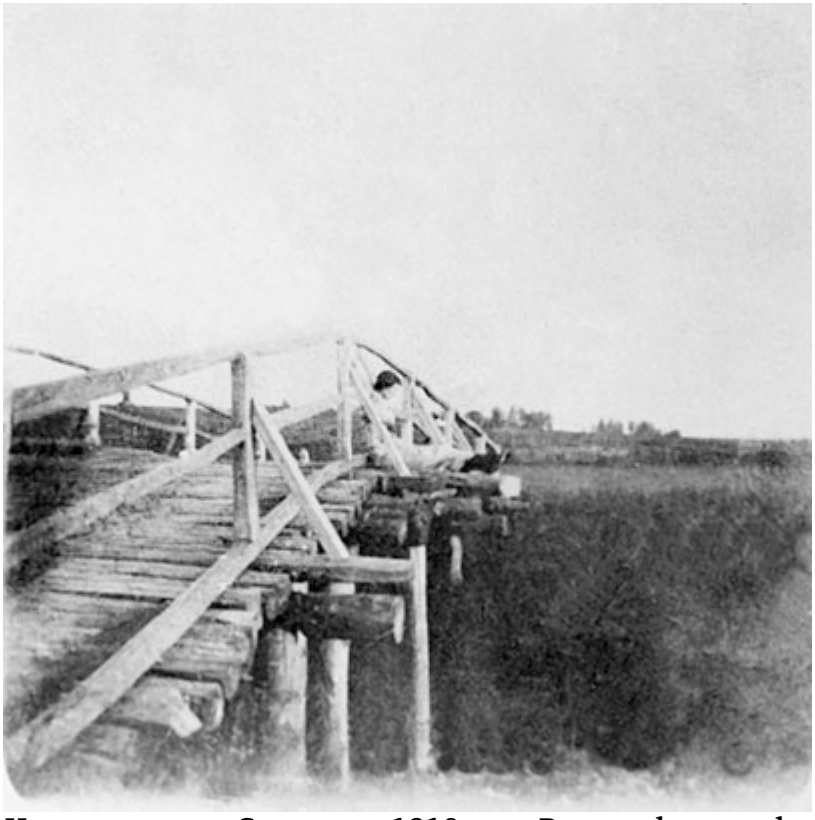
Семья Горенко: Инна Эразмовна и дети. Андрей, Виктор, Анна, Ия. Киев. 1909

Николай Гумилев. 1915

Анна Ахматова. 1910-е гг.

В имении Гумилевых в Слепневе. В центре – Анна Ахматова, слева от нее – Мария Кузьмина-Караваева, справа – Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева и художник Дмитрий Дмитриевич Бушен. 1911

Анна Ахматова и Николай Гумилев с сыном Львом. 1915

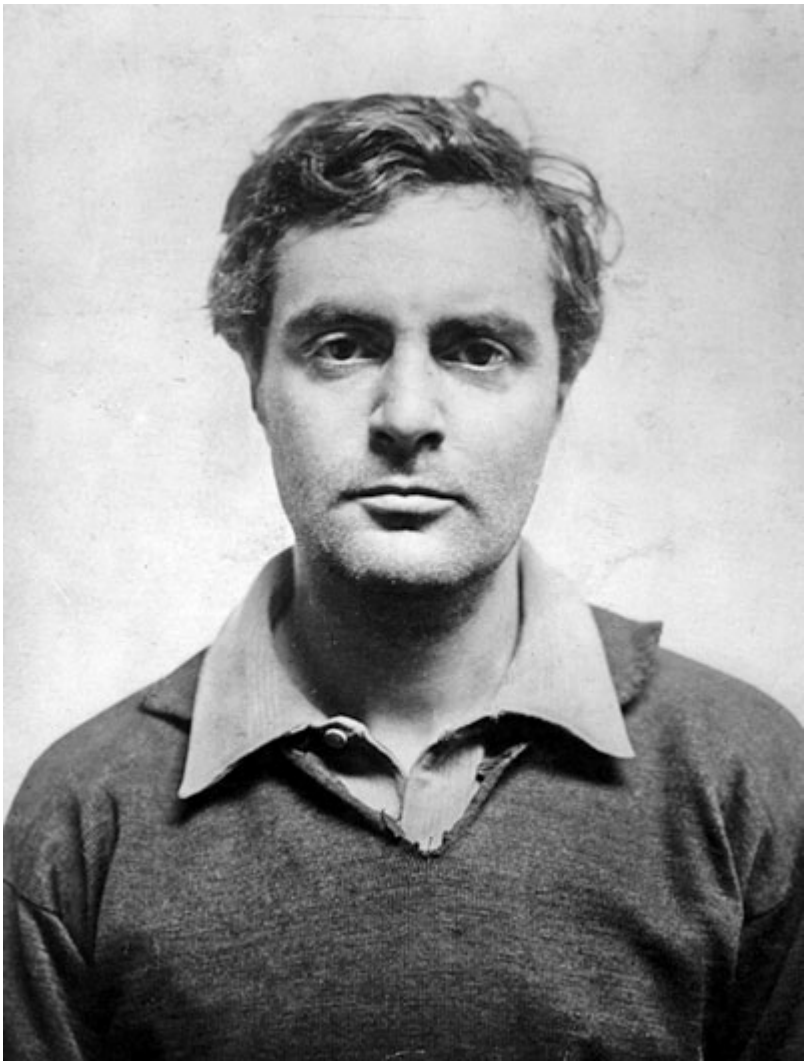


На мосту возле Слепнева. 1910-е гг. Редкая фотография

Анна Ахматова. Царское Село. 1916

Анна Ахматова на балконе у Кардовских. Царское Село. 1915

Анна Ахматова. 1920-е гг.



Амедео Модильяни. 1918

Осип Мандельштам. Фото М. Наппельбаума

Александр Блок и Корней Чуковский. Фото М. Наппельбаума

Борис Пастернак. Фото И. Наппельбаум

Анна Ахматова. Фото М. Наппельбаума. 1922

notes

Сноски

1

Впервые – в кн.: Анна Ахматова. «В то время я гостила на земле…»: Стихотворения. Поэмы. / Составление, статья и примечания М. М. Кралина. СПб.: Лениздат. 1995. С. 599–606. Более полный вариант в кн.: Анна Ахматова. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Цитадель. 1996. С. 3–16. Печатается с исправлениями.

2

Михаил Кралин. Возраст нежности. СПб., 1993. С. 83.

3

Жданов А. А. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград» // Правда. 1946. 21 сент.

4

Осинский Н. Побеги травы. (Заметки читателя) // Правда. 1922. 4 июля.

5

Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). Москва-Torino. 1996. Giulio Einaudi editore. 849 с.

6

РНБ. Ф. 1073. Оп. 1. Ед. хр. 218. Лукницкий П. Н. Письмо А. А. Ахматовой от 27 янв. 1962 г.

7

Э. Герштейн. Мандельштам в Воронеже. // Подъем. 1988. № 10. С. 106.

8

Сб.: Анна Ахматова «Стихотворения и поэмы» (Библиотека поэта). Л., 1976, с. 19–22.

9

Когда Пушкина попросили написать что-нибудь для детей, он пришел в столь свойственную ему ярость: «Батюшка, Ваше сиятельство! побойтесь Бога: я ни Львову, ни Очкину, ни детям – ни сват, ни брат. Зачем же мне sot-действовать «Детскому журналу»? Уж и так говорят, что я в детство впадаю…» (Из письма А. С. Пушкина к В. Ф. Одоевскому. Декабрь. 1836 г. – Полное собрание сочинений в десяти томах, т. X, М., «Наука», 1965, стр. 616; sot-действовать – каламбур: sot – дурак *(франц.)* – там же, стр. 757. – *Прим. Анны Ахматовой.*

10

«Конька-Горбунка» Ершова тоже все знают и любят. Однако я никогда не слышала «Дядя Ершов»! А вы? – *Прим. Анны Ахматовой.*

11

Поставленный в 1884 году в той части города, которая еще не существовала в пушкинское время. – *Прим. Анны Ахматовой.*

12

Здесь и в дальнейшем цитируется по изданию: Пушкин, Полное собрание сочинений, тт. I–XVI, Изд. Академии наук СССР, 1937–1949. – *Прим. Анны Ахматовой.*

13

В дневниковой записи Вяземский холодно перечисляет «Маленькие трагедии» как новости, привезенные Пушкиным из Болдина (П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. 9, СПб, 1884, стр. 152), а Жуковский в 1831 году пишет Пушкину: «Напрасно сердишься на Чуму: она едва ли не лучше Каменного гостя» (XIV, 203). Восторги Белинского относятся уже к 1841 году («… величайшее создание Пушкина – его «Каменный гость» – В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. IV, Изд. Академии наук СССР, М., 1954, стр. 424). – *Прим. Анны Ахматовой.*

14

«Сиди смирно, пиши, пиши стихи» (П. А. Вяземский – Пушкину, 10 мая 1826 года; XIII, 276); «Всего благоразумней для тебя остаться *покойно* в деревне» (В. А. Жуковский – Пушкину, 12 апреля 1826 года; XIII, 271). – *Прим. Анны Ахматовой*.

15

Если естественно, что вся речь Лепорелло и Лауры построена на просторечии, то выражения вдовы Командора – «Я страх как любопытна» и «Нет, отроду его я не видала» – объясняются много раз высказанным убеждением Пушкина, что просторечие – отсутствие жеманства и признак хорошего воспитания. Напомним, что в заметке «Изо всех родов сочинений» Пушкин отмечает в романтической трагедии «смешение родов комического и трагического – напряжение, изысканность необходимых иногда простонародных выражений» (XI, 39). – *Прим. Анны Ахматовой*.

16

Эскуриал – королевский дворец – едва ли подходящее место для дуэли. Пушкин, вероятно, намекает на то, что ссора произошла во дворце, чем еще раз подчеркивается близость Гуана ко двору. Ведь так же вскользь Гуан говорит про короля: «Меня он удалил, меня ж любя» (VII, 138). – *Прим. Анны Ахматовой*.

17

Уже обсуждавшийся вопрос о том, был ли Дон Карлос братом Командора, как мне кажется, надо решать положительно: трудно себе представить, чтобы Гуан имел две дуэли с двумя испанскими грандами и убил обоих, но почему-то боится мести семьи только одного из них и гнева короля только за одно из этих убийств. Здесь та же пушкинская лаконичность создает некоторую недоговоренность. Кроме того, всякое уточнение повело бы к дополнительной исповеди Дон Гуана в заключительной сцене с Доной Анной, которая в это время должна была бы оплакивать гибель своего деверя. – *Прим. Анны Ахматовой.*

18

Как ты пришел сюда, скажи мне, и каким путем?.. И это место для тебя – смерть, потому что это ты, Если кто-либо из моих родичей найдет тебя здесь.

(*«Ромео и Джульетта», акт II, сц. 2*).

19

См. у Дапонте: «Dell’empio che mi trasse al passo estremo. // Qui attend o la vendetta». («Здесь ожидаю отмщения нечестивцу, который убил меня».) Дон Жуан Дапонте (так же, как и Лепорелло) говорит статуе «вы». Пушкинский Гуан сразу обращается к статуе на «ты». Это не высокий стиль, а остаток их прижизненных добрых отношений. Также и с Карлосом Гуан сразу же на «ты». – *Прим. Анны Ахматовой*.

20

В черновике еще страшнее; «К жене твоей» (VII, 312). – *Прим. Анны Ахматовой.*

21

«Пьяный музыкант» потому, что музыкантов нанимали заказчики серенад, а затем было принято поить музыкантов (см. «Le Uiable boiteux» Лесажа). – *Прим. Анны Ахматовой.*

22

Несмотря на это, тема уязвленной совести возникает в лирике Пушкина в конце 20-х годов: грандиозное «Воспоминание» (1828) и написанная через несколько дней «Грузинская песня» («Не пой, красавица, при мне…»), где «роковой» образ «далекой бедной девы» напоминает бедную Инесу. – *Прим. Анны Ахматовой.*

23

Напомним, что это письмо Пушкин написал сразу после получения согласия родителей невесты на его брак с Н. Н. Гончаровой, когда эти слова звучали, по крайней мере, неожиданно. Ими Пушкин совершенно точно предсказал свою судьбу: он, действительно, умер из-за Наталии Николаевны и оставил ее молодой, блистательной вдовой, свободной выбирать нового мужа. – *Прим. Анны Ахматовой*.

24

В сущности, в «Каменном госте» трагедия начинается, когда падает занавес, так же как в «Моцарте и Сальери» с сомнений Сальери, имел ли он право убить Моцарта (гений и злодейство) или

не был
Убийцею создатель Ватикана?

До тех пор Сальери совершенно уверен в своей правоте, и никакой трагедии нет.

30 июля 1958

25

Авторский голос я слышу в данном случае скорее всего в реплике Лепорелло:

> О, вдовы, все вы таковы.

26

…И мнится…

Гробницу эту ангел посетил…

По этому поводу надо заметить следующее. Едва ли черноволосая женщина, с ног до головы укутанная в траурные вуали, похожа на ангела, который всегда должен быть белым, светлым, лучезарным. Предлагаю такую разгадку. В английском «Пире» (The City of the Plague) центральная героиня, отсутствующая в пушкинском «Пире» – Магдалена, – всегда в белом платье, о чем до назойливости часто говорит автор. И когда она на могиле – ее сравнивают с ангелом:

Ты на коленях, в белом, – вся как дух…
(*с. 44*)
Ты на коленях ангелу подобна.
Ты молишься – и даже я надеюсь…
(*с. 45*)

«Вы черные власы на мрамор бледный» – ср. «Дон Жуан» Байрона о султанше в V песне.

27

Кроме элегии «Безумных лет…», где счастливый жених пишет 8 сентября 1830 г.:

> Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
> Грядущего волнуемое море, –

и только в конце смеет надеяться, что

> И может быть – на мой закат печальный
> Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Кроме того, сравнительно недавно напечатанные письма кн. П. А. Вяземского к жене сообщают довольно неожиданные подробности пушкинского сватовства 1830 г. Князь очень долго не верит слухам об этом событии; наконец, уверившись, восклицает: «Как можно, любя одну женщину, свататься к другой». Княгиня Вера, вероятно, должна была понять, кого подразумевает ее муж под первой женщиной. Но мы очень далеки от этого понимания. Привожу эту (еще не вошедшую в обиход) цитату только для того, чтобы показать, как сложна была психологическая обстановка 1830 г. и как неизбежно Пушкин должен был, создавая своего Гуана, обращаться к собственной биографии.

1957, ноябрь

Москва

29

Отрывок «Участь моя решена. Я женюсь…» был напечатан только после смерти Пушкина.

Еще ужаснее сюжет «Марии Шонинг», который Пушкин до конца записывает по-французски (1834 г.). Там публичная смертная казнь героини, обвинившей себя в детоубийстве.

31

В венке олив, под белым покрывалом, Предстала женщина, облачена В зеленый плащ и в платье огне-алом.

Данте. Чистилище. XXX, 31–33.

Перевод М. Лозинского.

32

На этот вечер не пошел Блок (См. «Записные книжки»). – *Прим. Анны Ахматовой.*

33

Это те стихи, которые нынче никто не любит. Его и не любили. «Горный ключ» успеха не имел. – *Прим. Анны Ахматовой*.

34

Например, «Самотрасская победа – Самофракийская…». – *Прим. Анны Ахматовой.*

35

См. Бенвенуто Челлини. Пер. Лозинского. – *Прим. Анны Ахматовой.*

И даже устраивать гиперборейские пятницы в своем доме. См. «По пятницам в «Гиперборее». Расцвет акмеистичных роз…» – *Прим. Анны Ахматовой.*

37

А какие-то чудаки читали доклады: «Пунктуация Ахматовой». – *Прим. Анны Ахматовой.*

«Вечер» он не смотрел. – *Прим. Анны Ахматовой.*

39

Конечно, и сама писала, и даже неплохо. – *Прим. Анны Ахматовой.*

40

Он много и подолгу лежал в больницах. Я всегда его навещала. Раз он сказал мне: «У меня так болела нога, что когда я увидел первого человека с воли – я заплакал». А когда показал мне (в Мариинской больнице) фотоснимок разросшегося гипофиза, сказал: «Здесь мне скажут, когда я умру». Сказал это совершенно спокойно. – *Прим. Анны Ахматовой*.

41

Цитата из стихотворения М. Л. Лозинского «Тебе ль не петь пэан хвалебный…» (1919) – «Дракон: Альманах стихов». 1-й вып. Пб., 1921, с. 14–15.

42

Цитата из стихотворения М. Л. Лозинского «Так много милого, и сердцу не снести…» – «Альманах Цеха Поэтов», кн. 2. Пг., 1921, с. 25.

43

Я запомнила несколько фраз из его писем, одна из них «Vous êtes en moi comme une hantise». («Вы во мне, как наваждение»). – *Прим. Анны Ахматовой.*

О, передача мыслей (*франц.*).

О, это умеете только вы (*франц.*).

Вещь (*франц.*).

У Независимых (общество молодых художников) (*франц.*).

Негритянский период (*франц.*).

49

Драгоценности должны быть дикарскими (*франц.*).

Старый Париж за Пантеоном (*франц.*).

51

Я забыл, что посредине находится остров (Святого Людовика) (*франц.*).

52

Старый дворец в итальянском вкусе (*франц.*).

53

Цирковая наездница из Трансвааля (см. статью P. Guillaume «Les arts à Paris», 1920, № 6, с. 1–2). Подтекст, очевидно, такой: «Откуда же провинциальный еврейский мальчик мог быть всесторонне и глубоко образованным?» – *Прим. Анны Ахматовой*.

Жемчужина и поросенок (*франц.*).

А Гюго – это декламатор? (*франц.*)

«Старый Париж» или «Довоенный Париж» (*франц.*).

«Встреча кучеров» (*франц.*).

58

И добрая Жанна из Лотарингии, сожженная англичанами в Руане… (*старофранц.*)

Я забыл вам сказать, что я еврей (*франц.*).

См. у Гумилева:
На тяжелых и гулких машинах
Грозовые пронзать облака. – *Прим. Анны Ахматовой.*

61

Его не знали ни А. Экстер (художница, из школы которой вышли все «левые» художники Киева), ни Б. Анреп (известный мозаичист), ни Н. Альтман, который в эти годы (1914–1915) писал мой портрет. – *Прим. Анны Ахматовой*.

«Песни Мальдорора» (*франц.*).

63

Текст в настоящем виде опубликован В. Я. Виленкиным в журнале «Вопросы литературы», 1989, № 2. За основу публикатором принят наиболее полный по составу список «Листков из дневника», принадлежавший Л. Д. Болъшинцовой-Стенич. Недостающие в этом списке фрагменты взяты из других списков (ГПБ) и заключены в квадратные скобки. Подробнее об этом см. примечания.

64

Намек на Валерьяна Адольфовича Чудовского – верного рыцаря Радловой.

С досады (*франц.*).

Некрасива, но очаровательна (*франц.*).

67

В венке олив, под белым покрывалом, Предстала женщина, облачена В зеленый плащ, и в платье огне-алом. …… «Всю кровь мою Пронизывает трепет несказанный: Следы огня былого узнаю!» (*Пер. М. Лозинского*.)

68

Там фигурируют «саратовская деревня» Блока, рыжий Комаровский и я, собирающая подаяние. – *Прим. Анны Ахматовой.*

Свояченица (*франц.*)

Пишите (*франц.*)

Запугивающий, вызывающий робость (*франц.*).

Далее идет стихотворение «Я умею любить…».

73

Так проходит земная слава! (*лат.*)

В курсе (*франц.*).

75

Платоническое свидание (*франц.*).

Все та же сумасбродка (*франц.*).

Вот тебе мой прозаический перевод!

78

Так уже было один (а м. б. и не один) раз в 20-х годах, когда еще были живы мои читатели 10-х годов. Тогдашняя молодежь жадно ждала появления какой-то новой великой революционной поэзии и в честь ее топтала все кругом (всп. Гаспра, 1929). Тогда все ждали чудес от Джека Алтаузена. (*Ахм.*)

79

Все благополучно завтра едем в Рим Ахматова (*франц.*).

80

Дорогой Джанкарло, Ваше письмо, уведомляющее меня о том, что мне присуждена премия Таормины, доставило мне живейшую радость. Я не хочу ни блистать остроумием по этому случаю, ни прикрываться ложной скромностью, но это известие, пришедшее ко мне из страны, которую я нежно любила всю жизнь, пролило луч света на мою работу. Прошу Вас, дорогой Джанкарло, передать мою благодарность друзьям, остановившим свой выбор на мне, и помнить, что мне было особенно приятно получить это известие именно от Вас.

В последнее время мои мысли обращались к Италии, поскольку я задумала перевести на русский язык в полном объеме стихи Леопарди, и у меня большое желание побывать снова у Вас на родине, чтобы погрузиться в стихию итальянского языка и увидеть дом, в котором жил и творил великий поэт (*итал.*).

81

Все правы. Ларошфуко (*франц.*).

Бог хранит все (*лат.*).

83

А я отчетливо помню: это было в стылом декабре. Эдгар По. «Ворон» (*англ.*).

84

Смеяться перестанешь // Раньше, чем наступит заря. *Дон Жуан* (*итал.*).

85

В моей пылкой юности – когда Георг III был королем. *Дон Жуан* (*англ.*).

Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжет.

(«Новогодняя баллада»). – Прим. Анны Ахматовой.

См. Ювенал. Сатира VI. – *Прим. Анны Ахматовой.*

Музы. – *Прим. Анны Ахматовой.*

Китс. «Ода ко сну». – *Прим. Анны Ахматовой.*

«У цыган» Н. Гумилева. – *Прим. Анны Ахматовой.*

Романтическая поэма. – *Прим. Анны Ахматовой.*

Лорд Байрон. – *Прим. Анны Ахматовой.*

93

Я уверена, что с нами случится все самое ужасное. Хемингуэй (*англ.*). – *Перевод Анны Ахматовой.*

Бог хранит все (*лат.*). В окончательном варианте «Поэмы без героя» сноски, обозначенные цифрами, отсылают к ахматовским «Примечаниям редактора» в конце поэмы.

95

Траурный марш (*франц.*).

День царей (*франц.*).

97

Смеяться перестанешь // Раньше чем наступит заря. Дон Жуан (*итал.*).

Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжет?

(«Новогодняя баллада», 1923). – Прим. Анны Ахматовой.

99

Три «к» выражают замешательство автора. – *Прим. Анны Ахматовой.*

100

Чего хочет от меня мой принц Карнавал? (*франц.*)

101

Вариант: Чрез Неву за пятак на салазках. – *Прим. Анны Ахматовой.*

102

Вариант: Козлоногая кукла, актерка. – *Прим. Анны Ахматовой.*

Музы. – *Прим. Анны Ахматовой.*

104

В моем начале мой конец. Т. – С. Элиот (*англ.*).

Элегия. – *Прим. Анны Ахматовой.*

106

Не имея возможности опубликовать IX–XVI строфы, Анна Ахматова в рукописи «Бега времени» заменила их строчками точек.

107

Романтическая поэма. – *Прим. Анны Ахматовой.*

108

Место, где, по представлению читателей, рождаются все поэтические произведения. – *Прим. Анны Ахматовой.*

109

Марс летом 1941 г. – *Прим. Анны Ахматовой.*

110

Куда идешь? (*лат.*)

111

Раньше поэма кончалась так:

А за мною, тайной сверкая И назвавши себя «Седьмая», На неслыханный мчалась пир, Притворившись нотной тетрадкой, Знаменитая ленинградка Возвращалась в родной эфир. – *Прим. Анны Ахматовой.*

Все права сохранены (*англ.*)

113

По лучшую сторону сорокалетия (*франц.*)

Почему? (*англ.*)

115

Вещей? – Не только вещей – и знаменитый Белый Зал через площадку по той же лестнице (работы Кваренги) принял посильное в ней участие. Там, среди таинственных зеркал, за которыми когда-то прятался и подслушивал Павел I (семейные рассказы Шереметевых со слов В. К. Шилейки), оказались неприглашенными ряженые 1941 г., а Фонтанный Грот из Шереметевского Сада (уничтожен в … году), очевидно, не первый раз возникает в бреду, и оттуда фавн приносит (L'après midi и т. д.) козлоногую.

116

Эта книга может быть читаема как поэма или пьеса в стихах (*англ.*).

117

Питер Вирек («Дриада») (*англ.*).